

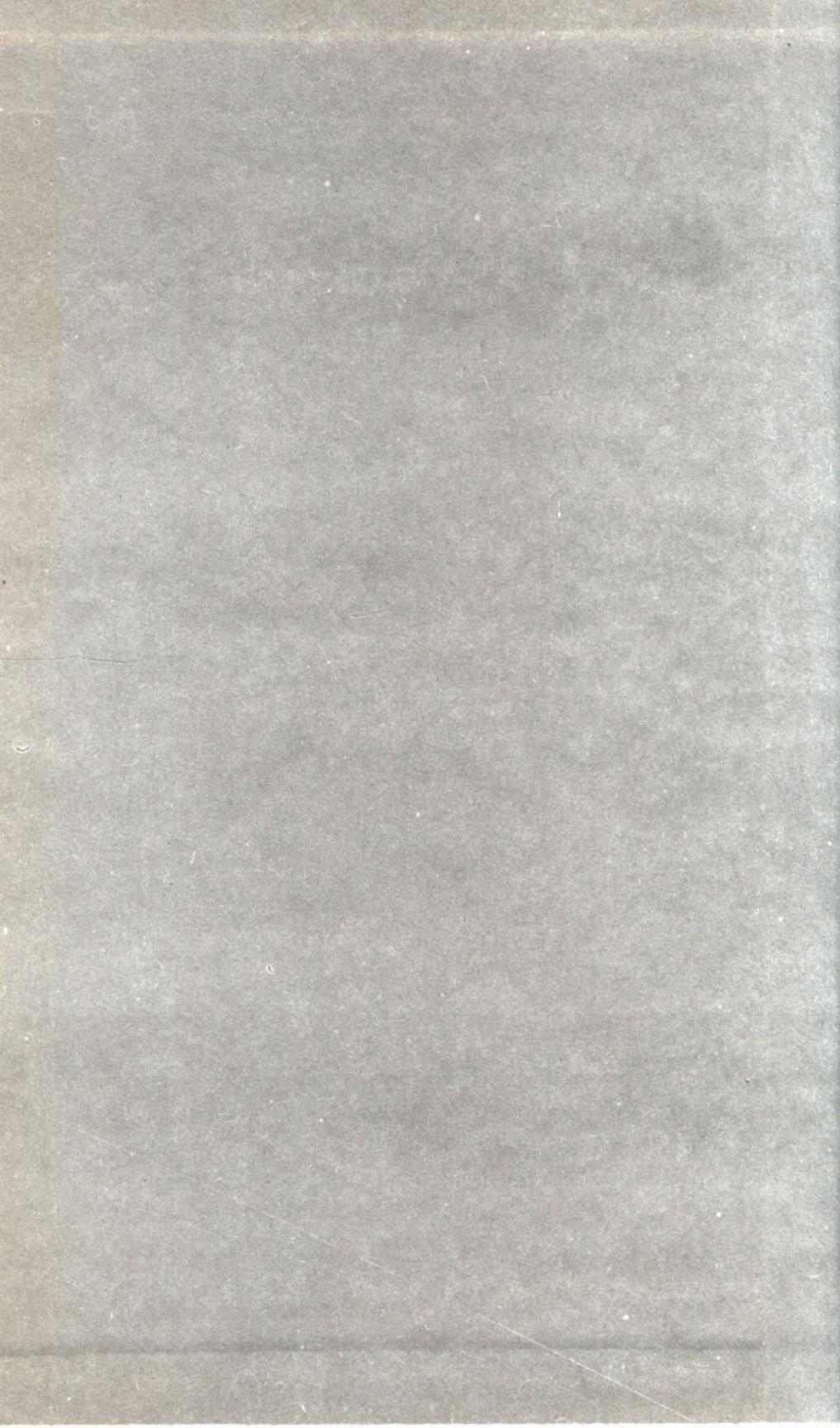
653 (2) 71

М.Д.Карпачев

ИСТОКИ
РОССИЙСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

*легенды
и реальность*





заср. фонд

Хазин, Михаил Григорьевич
Люблю рассвет : Стихи
растя] / Михаил Хазин;
Кишинев : Нурегион, 1990.

ISBN 5-368-00585-7 : 10 к.,

№ 29352
70 № 1040 № 8026 [90-45427]
НПО ВКП 12.09.90 Х152



М.Д.Карпачев

ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*легенды
и реальность*

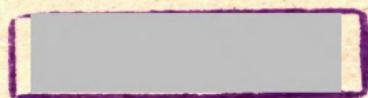


Москва «Мысль» 1991

ББК 63.3(2)71 > 26
К26

РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ИСТОРИИ СССР

42058-1



К 0503020000-090
004 (01)-91 16-90

ISBN 5-244-00408-5

© М.Д. Карпачев 1991

ВВЕДЕНИЕ

За пренебрежительное отношение к своей истории любой народ горько расплачивается. Забвение (преднамеренное или по невежеству) своего прошлого грозит деградацией духовной жизни, а бездуховность ведет к общему бескультурью, падению нравов, безответственности. Без всяких натяжек можно сказать, что забывший свою историю народ не способен ни работать, ни жить по-человечески.

Однако подлинное осмысление истории требует мужества, ведь она не забава, а прежде всего суровый учитель, которого никогда и никому не удавалось обманывать подолгу. За попытки приручить ее, сделать послушной служанкой, за насилие надней она мстит жестоко и неотвратимо. Больно карает история и за чванливый отказ усваивать ее уроки.

Уровень исторической образованности общества в огромной степени зависит от труда историков-профессионалов. Состояние исторической науки является, несомненно, одним из важнейших показателей цивилизованности общества. Но степень значимости отечественных исторических исследований невозможно определить, не сопоставив их с работами историков других стран. Надо признать, что советские историки до последнего времени не стремились к серьезному и самокритичному сравнению своих трудов с зарубежными, особенно с западными. Буржуазная историография по преимуществу «разоблачалась». Такой вульгарный подход вел к научной самоизоляции, не содержал в себе конструктивных начал и способствовал развитию собственных пороков.

Данное исследование представляет собой попытку объективного анализа англо-американской буржуазной* исторической литературы, посвященной общественному движению в России в течение трех пореформенных десятилетий. Предметом рассмотрения стали произведения, затрагивающие основные аспекты изучения оппозиционных выступлений русской интеллигенции, проходивших на разночинском этапе освободительной борьбы. Преимущественно внимание удалено литературе, раскрывающей общественно-политическую историю России в период между двумя революционными ситуациями: 1859–1861 и 1879–1880 гг. Обусловлено это повышенным интересом английских и американских историков к бурным событиям, происходившим в России со времени отмены крепостного права и до поражения «Народной воли».

* Необходимо подчеркнуть, что понятие «буржуазная» не содержит ничего унижающего или, напротив, возвышающего достоинства западной историографии. Под этим понятием автор объединил практически всю немарксистскую литературу.

В работе исследуется в основном английская и американская историческая литература. Подход к англо-американской историографии как к единому объекту изучения в данном случае вполне оправдан. Издающаяся в Великобритании и США литература о России издавна расценивается в этих странах как общее достояние. И хотя определенные различия между трудами английских и американских историков существовали всегда, принципиального значения они все же не имели. Английские и американские россисведы в гораздо большей степени расходятся по политическим и профессиональным признакам, чем по своей национальной принадлежности.

Выбор темы исследования определялся и тем, что англо-американской историографии принадлежит доминирующая роль в развитии западного буржуазного россисведения. И по количеству, и по степени своего идеологического воздействия издающаяся в США и Великобритании литература значительно превосходит французскую, западногерманскую, японскую и итальянскую. Изучение английской и американской исторической литературы имеет существенное значение для понимания общего состояния буржуазной историографии. Тем не менее в ряде случаев автор особо остановился на характеристике наиболее крупных англоязычных произведений, которые оказали заметное влияние на всю зарубежную литературу о нашей стране.

К сожалению, историки-марксисты в Великобритании и США пока не обратились к систематическому исследованию дореволюционной России. Прогрессивной общественности Запада известны произведения Г. Аптсекера, Ф. Фонера, А. Ротштейна и других авторов-марксистов, давших научную оценку исторической роли российского освободительного движения. Однако пореформенная эпоха в их трудах по существу не рассматривается, поэтому применительно к историографии данной темы понятия «западная» и «буржуазная» во многом тождественны.

Своими основными задачами автор считал: 1) определение основных этапов развития англо-американской буржуазной историографии темы; 2) раскрытие буржуазных интерпретаций социальных истоков и конкретных причин общественно-политического движения в пореформенной России; 3) выявление основных оценок деятельности революционной демократии 60-х годов XIX в., А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского в англо-американской литературе; 4) характеристику современных буржуазных интерпретаций революционного народничества 70-х – начала 80-х годов XIX в.; 5) критический анализ западных буржуазных концепций ранней истории российского либерализма. Особое внимание в работе уделено раскрытию классовых и гносеологических корней англо-американской историографии, определению ее теоретического и познавательного уровня, методам обоснования и аргументации основных выводов и оценок. Наряду с этим автор предпринял попытку уточнить насущные задачи советской исторической науки, «узкие места» и

перешедшие проблемы которой проявляются при сопоставлении с зарубежной вполне отчетливо.

Комплексное исследование англо-американской историографии темы представляется назревшей и злободневной задачей. Острота ее политической и научной актуальности определяется рядом причин.

Абсолютное большинство английских и американских авторов исходит из признания пореформенных десятилетий началом сложнейших процессов социально-политической «модернизации» России, следствием которых стало крушение самодержавия, а затем и буржуазного строя. Основным побудительным мотивом обращения буржуазных историков к дореволюционной России является поиск решений «загадки» Великой Октябрьской социалистической революции. «Немногие исторические события, — писал американский историк С. Бейрон, — имели такое огромное воздействие на мир, как большевистская революция. Чтобы понять это выдающееся событие, нужно обратить внимание на его предшественников, на всю вскую историю революционного движения в России, на идеи, которыми оно вдохновлялось и на интеллигенцию, которая создавала эти идеи и руководила движением»¹.

В буржуазной историографии прочно утвердилось мнение о том, что реформы 1860—1870-х годов, привели в конечном счете к созданию социально-политической ситуации в России, на почве которой разразилась величайшая революция в истории человечества. В последние годы, подчеркивал Ч. Адлер, царствование Александра II стало предметом все более детального изучения со стороны исследователей Запада. Со временем «великих реформ» прошло уже более столетия, а в западной историографии все шире распространяется убежденность в том, что «все последующее развитие России — экономическое, социальное, политическое и культурное — имело своей отправной точкой те действия и движения, которые возникли в конце 50-х, в 60-х и в 70-х гг. XIX в.»². Известный американский исследователь А. Адамс также утверждал, что коренная причина российских революций состояла в том, что царизму не удалось быстро и в полном объеме адаптироваться к переменам, начавшимся именно с 1861 г.³ Вот почему оценки причин, хода и последствий российского революционного движения по-реформенной поре западные историки признают не только объектом чисто исторического интереса, но и совершенно необходимым средством для понимания современной политической ситуации в мире⁴.

Англо-американские буржуазные историки оценивают освободительное движение в России как однородный в социальном отношении процесс, начатый и завершенный оппозиционной интеллигенцией. В связи с этим они рассматривают эпоху общественного движения разночинцев как время формирования основных программных установок, стратегических и тактических принципов, которые якобы без особых изменений вошли

в-арсенал более удачливого поколения борцов против самодержавия – большевиков. Ни в одной стране мира, подчеркивал американский исследователь М. Мална, подготовка революции не проходила так долго и так целесустрененно, как в России⁵. В письме к академику Н.М. Дружинину Ф. Вентури прямо заявил: «Изучая движение народников, я часто убеждался, что в нем лежали корни революции 1917 г. Тогда были созданы идеиные предпосылки, возникла та психология, сформировались те типы людей, которые обусловили перевороты того года»⁶.

Посреформенная эпоха, считали буржуазные исследователи, выдвинула центральную проблему всего российского освободительного движения – проблему взаимодействия революционной «элиты» и народных масс. Эта проблема, подчеркивал У. Верлин, была впервые со всей серьезностью поставлена тем поколением радикальной интеллигенции, во главе которого стоял Н.Г. Чернышевский⁷. Английский исследователь И. Берлин считал, что уже в народническую эпоху русские революционеры разделились на «демократов» и «якобинцев». И если первые, по его оценке, предвосхитили эсеров, меньшевиков и иных врагов пролетарской диктатуры, то вторые имели своими наследниками большевиков-ленинцев, «презиравших демократические методы» в революционной практике⁸.

Исторические экскурсы в «эпоху Александра II» часто используются буржуазными исследователями для того, чтобы истолковать освободительное движение в России как процесс непрерывной эволюции в сторону революционного насилия, экстремизма, террора. И. Берлин, А. Ярмолинский, М. Рэн, Э. Креншоу, Я. Уолкин и многие другие авторы стремились отыскать в посреформенных десятилетиях предпосылки будущего торжества революционеров над либералами. Буржуазные историки при этом не жалели черных красок для характеристики российского освободительного движения. Английский исследователь Р. Хингли, например, прямо заявил о своем стремлении снять революционеров с того пьедестала, на который их «незаслуженно» водрузили советские и некоторые несоветские историки⁹.

Поиски корней большевизма ведутся буржуазными историками с большим упорством и размахом. Стратегия и тактика ленинской партии, ее идеиные источники и организационные принципы объясняются как продолжение бакунизма и учения Н.П. Огарева, народовольчества и лавризма, бланкизма и нечаявщины. За внешней постройкой всевозможных аналогий скрывается вполне определенное стремление создать собственную модель революционного процесса в России, от его истоков до победоносного завершения.

Повышенный интерес современных буржуазных исследователей к вопросам общественного движения в капиталистической России объясняется еще одним немаловажным обстоятельством. Послереформенное развитие нашей страны, ее так называемую

модернизацию (или «всестернизацию») многие западные специалисты рассматривают как пример социально-политического преобразования относительно отсталого общества. История России в этом случае используется для объяснения процессов революционного обновления в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки. Многие англо-американские историки говорят о возрождении народничества в целом ряде государств «третьего мира».

С особой силой такой подход проявился на лондонской конференции буржуазных обществоведов в 1967 г., обсудившей проблемы современного народничества, или «популизма». «Призрак бродит по свetu, призрак популизма», — заявили организаторы симпозиума. Как подчеркивали буржуазные исследователи, руководители многих молодых государств «третьего мира» в поисках соответствующей идеологии все чаще обращаются к «популизму», или «народничеству»¹⁰.

Русские интеллигенты второй половины XIX в., писал Р. Пайпс, «постоянно экспериментировали с теориями и стратегиями революции, отыскивая эффективные средства свержения режима, основанного на незападной экономической и социальной структуре, отыскивая, иными словами, революционную технику, вполне соответствующую сегодняшним слаборазвитым странам»¹¹. Цель подобных сопоставлений заключается не только в том, чтобы доказать ограниченность революционного опыта России, но и в создании приспособленных для своего класса концепций национально-освободительных революций современного мира¹². Как полагал А. Мендель, пореформенная Россия впервые явила собою пример страны, в которой европейской образованной молодежи противостояло экономически отсталое общество, страдавшее от бедности и авторитатического правления. Такая ситуация, заявлял он, «может пролить свет на проблемы, стоящие сейчас перед образованным меньшинством в слаборазвитых регионах мира»¹³.

Последние два десятилетия отмечены резким усилившимся политизацией буржуазного россиведения. В общественно-политических традициях российской истории многие западные историки стремятся найти объяснение развитию современных анархистских, нигилистических, леворадикальных и даже террористических тенденций. На русских революционеров-демократов возлагается историческая ответственность за подъем политического насилия, поразившего ныне многие страны капиталистического мира. «Сага русского революционного движения», уверял А. Улам, удивляла читателя своей поразительной современностью¹⁴. Разделяя эту мысль, У. Верлин подчеркивал, что сходство ситуаций заключалось в атмосфере социального беспокойства, подогреваемой технологическими и экономическими переменами. Брошенный молодежью вызов политическому истеблишменту и традициям имел, по мнению автора, общие истоки и для царской России, и для современного Запада¹⁵. Такие же оценки встречаются в работах Дж. Глисона,

Л. Фойсра, А. Мастерса и других исследователей. Модернизация истории России – дело обычное для зарубежной (как, впрочем, и для отечественной) историографии.

Наконец, часть западных публицистов и историков рассматривает движение русской интеллигенции пореформенного времени как начало политического диссидентства, традиции которого сохраняются и в наши дни.

В своих исследованиях буржуазные авторы воюют против «нсумерского патриотизма» советских работ, против «партийного утилитаризма» и «марксистских догм». Советские историки, писал американский исследователь Дж. Биллингтон, стремятся расставить деятелей XIX в. таким образом, чтобы представить развитие русской общественной мысли как процесс подготовки к возникновению большевизма. Свою задачу он видел в освобождении истории от таких «оков». Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Лаврова или Плеханова, считал он, следует показывать объективно, как оригинальных мыслителей, а не как рыхлителей почвы для будущей победы русских марксистов.

Англо-американские историки обвиняли советских исследователей в несправданном «переписывании» истории, в противоречивости, в стремлении загнать изучаемый материал в прокрустово ложе марксистских концепций¹⁶. Но это не мешало им внимательно следить за проблематикой и состоянием советских исследований. Характерно, что активизация изучения той или иной проблемы на Западе часто идет вслед за повышением интереса к ней со стороны советских историков. Так обстоит дело, в частности, с народническим движением 70–80-х годов XIX в. Буржуазные историки, к сожалению, редко вступают в конструктивный диалог с советскими исследователями. Гораздо чаще практикуется простое отбрасывание советской историографии.

Следует подчеркнуть также, что реальные недочеты и проблемы в советской историографии оказывают стимулирующее воздействие на развитие современных буржуазных исследований. Скажем, очевидный недостаток марксистско-ленинских трудов по истории русской интеллигенции, по вопросам социально-психологического облика демократического разночинства, по истории российского либерализма и ряду других тем создает определенные возможности для построения всевозможных буржуазных концепций. Масштабы и направленность англо-американской историографии вызывают очевидную необходимость ее анализа и научной критики. И дело, конечно, заключается не только в том, чтобы своеобразно и достаточно эффективно парировать те или иные искажения общественного движения в пореформенной России. Гораздо важнее проследить становление буржуазных историографических концепций, выяснить природу и классовый смысл сложившихся на Западе оценок общественно-политической жизни в России. Существенное значение имеет также уточнение той проблематики, для освещения

которой необходимы энергичные усилия историков-марксистов.

Историк, поставивший перед собой задачи критического анализа западных исследований, располагает ныне весьма обширной литературой. Исследователями-марксистами создан ряд трудов, посвященных критическому разбору субъективно-идеалистических теоретических основ буржуазной исторической мысли. В работах И.С. Коня, Ю.Н. Семенова, Г.Д. Чеснокова, Г.А. Ашина, М.В. Нечкиной, В.Т. Пашуто, Е.Б. Черняка и др. раскрываются философские позиции современной буржуазной историографии¹⁷. Особо следует выделить исследования Н. Ирибаджакова, Л.В. Скворцова, В.И. Салова, О.В. Вайнштейна, характеризующие теоретические основы буржуазных исторических исследований новейшего времени¹⁸. С большой настойчивостью и продуктивностью ведется анализ методологических принципов буржуазной историографии группой сибирских исследователей, и прежде всего Б.Г. Могильницким¹⁹. В работе В.М. Далина содержится яркая характеристика ряда основоположников буржуазной исторической мысли. Для нашей работы особеннос значене имеет оценка трудов А. Токвиля, идеи которого и сегодня активно используются при объяснении причин русского освободительного движения²⁰.

Прямое отношение к нашей теме имеет и весьма ценная монография А.П. Мерцалова, обобщившего развитие советской критической литературы. Автор справедливо указал на необходимость систематического анализа буржуазной историографии с учетом ее развития и новейших тенденций. В книге правильно отмечены недостатки ряда советских исследований (отсутствие дифференцированного подхода к буржуазным историкам, игнорирование эволюции буржуазной исторической мысли)²¹.

Обстоятельностью и глубиной отличается коллективная монография, подготовленная сотрудниками ИИИОН АИ СССР и посвященная критике современных буржуазных концепций общественного развития²². Это исследование проясняет подход нынешних буржуазных идеологов к определению исторической роли революционных движений. Содержательную оценку методов и приемов современных буржуазных исторических исследований дал Е.Б. Черняк²³.

Основательно был проведен разбор буржуазной литературы об экономических взглядах русской революционной демократии в книге Е.М. Филатовой. Примущественно внимание автора было привлечено к истолкованиям социально-экономических воззрений А.Г. Герцена и Н.Г. Чернышевского в работах Р.Хейра, Ф.Бархурна, Д.Гехта и целого ряда других западных историков 40–50-х годов. Е.М. Филатова подробно осветила деятельность одной из первых послевоенных конференций западных специалистов по вопросам русской и советской общественной мысли, работавшей в США в 1954 г. В книге, кроме того, верно подмечена политическая подоплека растущего интереса западных историков к истории российского либерализма²⁴.

В последние годы существенно расширилась проблематика марксистской критической литературы.

Среди работ, посвященных разоблачению явно пристрастных оценок С.Г. Нечаева и П.Н. Ткачева как «духовных отцов» ленинизма и КПСС, стоит выделить содержательную статью Л.Е. Тарасевич²⁵.

Большой интерес вызывают работы Б.И. Марушкина, Г.З. Иоффе. Капитальный труд Б.И. Марушкина был посвящен американской буржуазной историографии советского общества, а исследование Г.З. Иоффе – анализу западной литературы о Февральской революции 1917 г.²⁶ Сильной стороной этих работ является стремление определить основные этапы в развитии западного буржуазного россиеведения. Авторов интересовали процесс складывания основных направлений и концепций буржуазной историографии, организация центров изучения российской истории в Великобритании и США, координация научных сил.

Ценным исследованием англо-американской историографии Великого Октября остается монография Ю.И. Игрицкого²⁷. Им был проведен глубокий анализ развития буржуазных концепций истории социалистической революции в России. Ю.И. Игрицкий подчеркивал, что мостом, который соединяет тезис о недемократичности Октября с освещением более ранней истории партии в работах буржуазных совстологов, служит концепция волюнтаристского характера ленинизма. К сожалению, в работе не нашлось достаточно места для характеристики освещения англо-американской историографией социальных истоков российской революции, проблемы преемственности революционных поколений и влияния на большевизм народнической традиции. Тем не менее книга Ю.И. Игрицкого – одна из лучших на данную тему²⁸.

Следует упомянуть также крупную работу Г.Л. Соболева, в которой анализировалось развитие американской исторической литературы о Великом Октябре. Вслед за Б.И. Марушкиным и Г.З. Иоффе автор сосредоточил свои усилия на оценке основных этапов в развитии буржуазного советоведения, сделал анализ теоретических источников современного западного россиеведения, влияния на него работ русских белоэмигрантов²⁹.

Заметным вкладом в историографию российских революций является книга «Три революции в России и буржуазная историография», написанная в плодотворном сотрудничестве Б.И. Марушкиным, Г.З. Иоффе и Н.В. Романовским. Авторы включили в сферу своего критического анализа все наиболее существенные аспекты западной литературы, посвященной российским революциям³⁰. Особое внимание в работе обращено на процесс политизации новейшей западной историографии.

Современным буржуазным трактовкам социальной природы большевизма посвящено исследование Н.В. Романовского. В книге с особой силой раскрыта несостоятельность измышлений о заговорщикском характере Октябрьской революции, о

якобинской природе ленинизма. Как справедливо подчеркивал Н.В. Романовский, «введение тактики большевиков к бланкизму или бакунизму, выведение ленинизма из особенностей русского национального характера «априорно исключают необходимость сколько-нибудь объективного анализа теоретических и программно-тактических установок большевизма»³¹.

Важнейшие проблемы критики буржуазных концепций российских революций затронуты в коллективной монографии, подготовленной (под редакцией академика И.И. Минца) сектором зарубежной историографии советского общества Института истории АН СССР. Наиболее содержательна, с нашей точки зрения, пятая глава книги, в которой дана оценка теоретических основ современного буржуазного источниковедения³².

Актуальным аспектам буржуазного российства посвятил свою работу А.Д. Петров. Он опроверг буржуазные концепции исторической роли крестьянской демократии в России, вскрыл субъективизм попыток отождествления ленинизма с непролетарскими течениями в русском освободительном движении³³.

Критический разбор англо-американских буржуазных концепций первой русской революции содержится в книге П.Н. Зырянова и В.В. Шлохасева. Особый интерес представляют предпринятый авторами анализ современных западных оценок российского либерализма, а также определение зависимости англо-американской литературы от воззрений П.Н. Милюкова, В.А. Маклакова, П.Б. Струве и других идеологов русской буржуазии³⁴.

Существенное значение для нашей темы имеют работы советских историков, в которых дана критическая оценка воззрений западных авторов на общее направление исторического развития России. Так, с содержательной критикой популярной на Западе теории «модернизации» и ее использования при освещении истории общественного движения в России выступила Т.Д. Крупина³⁵. Основательный разбор буржуазных трактовок проблемы «Россия и Запад» сделал Ю.И. Игрицкий³⁶. Томская исследовательница Л.Г. Сухотина проанализировала современные тенденции западной историографии в освещении исторического места России³⁷.

Пожалуй, с наибольшей основательностью советские историки проанализировали буржуазные интерпретации социальных истоков освободительного движения в России. Большой размах западных исследований происхождения, развития и общественно-политического облика русской демократической интеллигенции вызвал появление ряда содержательных обзоров в отечественной печати. На политические аспекты американских работ по этой действительно актуальной теме указала Г.И. Щетинина. Она справедливо подчеркнула, что основная цель буржуазных исследований русской интеллигенции заключается в том, чтобы «отвлечь внимание от социально-экономических предпосылок Октябрьской революции, доказать ее незакономерность»³⁸.

Глубиной анализа и убедительностью аргументации отличается работа известной исследовательницы русской дореволюционной интеллигенции В.Р. Лейкиной-Свирской. Особое внимание автора привлекли буржуазные трактовки социальных источников формирования интеллигенции и общественных корней различных идеологических течений пореформенного времени. В работе вскрыта зависимость большинства западных исследований от теоретических установок русской буржуазной историографии и публицистики. Вместе с тем В.Р. Лейкина-Свирская показала, что очевидная иссостоятельность старых, идеалистических оценок заставляет некоторых западных авторов искать новые социальные критерии для изучения русской интеллигенции³⁹.

Весьма продуктивную деятельность по критике современных буржуазных концепций русской пореформенной интеллигенции в течении ряда лет ведет уже упоминавшаяся исследовательница Л.Г. Сухотина. Этой теме она посвятила целый цикл работ, в которых вскрыла пристрастность суждений ряда буржуазных авторов об исключительно интеллигентской природе всех этапов революционного движения в России. Вполне обоснованной представляется ее критика методов «психологизма», в соответствии с которыми 60-90-е годы XIX в. изображаются как время окончательного формирования «психологического типа русского революционера», сыгравшего якобы решающую роль во время событий 1917 г. Буржуазные историки, подчеркивала Л.Г. Сухотина, стремятся доказать иссостоятельность метода классового анализа, а свои изыскания ограничивают понятиями «отщепенства», «исключительности», будто бы характерными для российской интеллигенции⁴⁰. Весьма обстоятельно Л.Г. Сухотина сделала и разбор буржуазных интерпретаций исторической роли П.И. Ткачева⁴¹.

Важной теме посвящена работа Е.Г. Плимака и В.Г. Хороса. Авторы дали энергичный отпор попыткам пристрастного истолкования исторического опыта «Народной воли»⁴². Они отметили, что муссирование темы «русского терроризма» распространялось очень широко и оказывает определяющее влияние на практическую политику капиталистических государств.

Ряд ценных публикаций был осуществлен в связи со 150-летним юбилеем И.Г. Чернышевского. В работах М.А. Маслина, Ю.С. Мелентьева, М.Г. Федорова⁴³ раскрыты характер и основные направления идейной борьбы вокруг философских позиций великого русского революционера-демократа. Авторы показали политические устремления современных буржуазных интерпретаторов идейного наследия И.Г. Чернышевского, их зависимость от концепций И. Бердяева, В. Зеньковского, И. Лосского. Вместе с тем были отмечены черты реалистического подхода к мировоззрению Чернышевского, обнаружившиеся у ряда современных западных исследователей (Ф. Рэндэлла, Дж. Скенлена, У. Верлина). А.И. Новиков и П.С. Шкуриков подвергли критике буржуазное отрицание исторического значения деятельности И.Г. Чернышевского⁴⁴. Как справедли-

во подчеркивал А.И. Новиков, распространное в буржуазной литературе искаженное представление об отношении В.И. Ленина к идеям Чернышевского призвано подкрепить несостоятельную концепцию локализации ленинизма, «трактовку его как не интернационального, а чисто российского явления»⁴⁵.

Опровергнуто буржуазных концепций общественного движения в капиталистической России посвящены и работы советских литератороведов А.Л. Григорьева и Б.И. Мейлаха⁴⁶. Особое внимание в них уделено раскрытию зависимости современного западного литературоведения от веховской традиции, от субъективно-идеалистических оценок Р.В. Иванова-Разумника, Д.И. Овсянникова-Куликовского и других дореволюционных историков русской литературы. В статье В.И. Этова показана субъективно-идеалистическая ограниченность «психоаналитических» исследований русской литературы. В работе П.Г. Пустовойта рассматриваются актуальные вопросы критики буржуазных интерпретаций творчества Ф.М. Достоевского. Автор выступил против узкого эмпиризма в подходе к оценкам деятельности русских литераторов, против отрыва от идейной атмосферы, в которой развивалось творчество Достоевского, против преисбрежения социологическим анализом и подмены его «чистой психологией»⁴⁷.

Отрадно заметить, что в последние годы советские исследователи общественно-политической истории России неизменно посвящают отдельные страницы своих трудов критике западной буржуазной историографии. Тем не менее потребность в работах, посвященных критическому анализу западной буржуазной историографии российского общественного движения, остается весьма острой. Очевиден недостаток комплексных исследований буржуазных историографических концепций. Преобладающее место в критике буржуазных историков пока занимает полемика по отдельным узловым проблемам общественно-политической истории России. Советские исследователи опровергают те или иные буржуазные концепции изучаемой ими проблемы, а между тем гораздо важнее проанализировать социально-политическую природу современных буржуазных интерпретаций, их теоретические источники и динамику развития.

Приходится, к сожалению, констатировать, что многие советские исследователи до сих пор весьма слабо ориентируются в зарубежной исторической литературе, плохо представляют ее проблемы и еще хуже — реальные достижения. Все еще крайне редко проводятся творческие дискуссии с зарубежными коллегами по узловым проблемам отечественной истории.

В данной работе учтена как новейшая английская и американская литература, так и литература прежних лет. Особое значение придается оценке новых явлений и тенденций в буржуазной историографии, поскольку исторические сочинения в наши дни имеют громадную читательскую аудиторию и способны оказывать сильное воздействие на мировоззрение людей. Автор убежден, что к данной теме могут и должны быть привлечены

значительные силы философов, филологов, экономистов, историков. Поток буржуазных исследований непрерывно нарастает, их проблематика усложняется. Задачи эффективной критики можно решить лишь коллективными усилиями исследователей-марксистов.

Естественно, что для аргументации своей позиции автор использовал широкий круг разнообразных источников: программные документы, революционную и либеральную публистику, мемуарную литературу, труды русских общественных деятелей и другие материалы.

Несколько слов о методологических ориентирах работы.

К. Маркс и Ф. Энгельс первыми определили классовый смысл и исторические перспективы освободительного процесса, развернувшегося в России со временем крестьянской реформы. Вместе с тем они решительно выступили против всевозможных произвольных истолкований российского общественного движения, настойчиво выступая против тенденциозных утверждений буржуазной прессы о характере русского «нигилизма».⁴⁸

Основополагающее значение для создания истории и историографии общественно-политических течений в преформенной России имеют труды В.И. Ленина. Ленинская концепция революционно-демократического движения складывалась в условиях ожесточенной борьбы с дворянской и буржуазной литературой. Она явила собой пример глубины анализа, строгой научности и партийности в оценках буржуазной исторической мысли. В классических работах, посвященных крестьянской реформе, А.И. Герцену, революционной борьбе разночинцев, народничеству, Н.К. Михайловскому и т.д., В.И. Ленин дал диалектико-материалистическое объяснение социальных корней и основных причин общественного движения, вскрыл его перспективы и объективную историческую роль. В ленинских работах определено историческое место русского либерализма, земства и земского движения, вскрыты объективные причины политического бессилия российской буржуазии, ее органической неспособности вести последовательную борьбу за буржуазно-демократическое преобразование страны.

Ленинские произведения — образец творческого анализа, базирующегося на принципе историзма. Для того чтобы действительно приобрести навык научного подхода к общественным явлениям и не затеряться «в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений», указывал В.И. Ленин, надо прежде всего «не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»⁴⁹.

Глава 1

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ И США

Англо-американская буржуазная историография общественно-го движения капиталистической России формировалась на протяжении многих десятилетий. Можно с полной определенностью сказать, что зарубежная историческая литература о политическом развитии нашей страны имеет более чем всkovую историю. За прошедшие десятилетия накопилось огромное количество разнохарактерных произведений, сложились определенные традиции в освещении исторического прошлого народов России, сформировались концепции и понятия, возникли исследовательские школы.

Однако имеют значение не только количественные накопления. Гораздо важнее то, что английское и американское освещение в своем развитии подвергалось крупным качественным изменениям, отражавшим, если говорить по большому счету, эволюции буржуазной исторической мысли в связи с важнейшими поворотами мировой истории. Словом, как объект изучения англо-американская литература об общественно-политическом развитии дореволюционной России имеет все компоненты историографического комплекса¹. И рассматривать этот комплекс следует не только как большую совокупность различных произведений, но и как процесс, в ходе которого отчетливо проявлялись тенденции развития зарубежной буржуазной историографии.

В развитии англо-американской историографии интересующей нас темы определенно выделяются три основных периода: с 60-х годов XIX в. до Октября 1917 г., с победы Великой Октябрьской революции до завершения второй мировой войны и с конца 40-х – начала 50-х годов до настоящего времени.

Сейчас можно говорить о намечающемся четвертом этапе, но его изучение – дело будущих историков.

1. Зарождение историографических концепций в литературе конца XIX – начала XX в.

В дооктябрьскую эпоху профессиональные историки Запада не проявляли большого интереса к внутриполитическому развитию России. Вплоть до середины XIX в. английская и американская общественность располагала весьма скучными сведениями о громадной северной стране. В сознании многих англич-

чан и американцев прочно держалось представление о России как о полуазиатской империи, населенной невежественным народом и управляемой деспотами-царями. Английский исследователь М. Андерсон отмечал, что даже в викторианской Британии у большинства людей слово «Россия» ассоциировалось со свирепыми морозами, варварскими манерами и безграничным политическим насилием. С годами многое изменилось в России, но английское общественное мнение по-прежнему относилось к стране Пушкина, Гоголя и Лобачевского с оценками, усвоенными еще во времена Лжедмитрия, Пикона или Стеньки Разина². Русофobia являлась характерной чертой английской буржуазной печати³. Значение важнейшего источника сведений о внутренней жизни России сохраняла известная книга французского путешественника маркиза де Кюстина. В своей книге «Россия в 1839» де Кюстин нарисовал самую мрачную картину жизни русского народа. Он не пожалел темных красок для характеристики царизма. В то же время де Кюстин убеждал, что произвол и беззаконие вполне соответствовали условиям России. Этот популярный на Западе труд, писал А.И. Герцен, отличался легкомыслием, огромными преувеличениями, несумением отличить качества народа от характера правительства⁴.

Более благоприятное мнение о России сложилось в США. У многих американцев долгое время сохранялась добрая память о дипломатической и военной поддержке, которую оказала Россия правительству А. Линкольна в годы Гражданской войны⁵. Однако и они весьма смутно представляли смысл происходивших в преобразованной России событий. Конгресс США, например, направил Александру II дружеский адрес с поздравлениями по случаю спасения от выстрела Д.В. Каракозова 4 апреля 1866 г. Акт покушения американские конгрессмены приписали «врагу освобождения»⁶.

Несколько возрос интерес к России и ее внутренним делам в связи с Крымской войной. Появились новые книги очеркового характера, содержащие самые общие и поверхностные сведения о географии и климате страны, об образе жизни ее народа⁷. Была переведена на английский язык и известная работа немецкого барона А. Гакстаузена о сельском строю России⁸. Тем не менее, отмечает современный исследователь Ф. Рэндл, европейцы продолжали смотреть на славян как на представителей низшей расы, примитивных и отсталых людей, неспособных к тому же контролировать собственные страсти и легко впадающих в «эмоциональные крайности»⁹.

Прогрессивные люди России резко осуждали высокомерное невежество иностранной буржуазной печати. Зарубежные исследователи, с горечью отмечали выдающийся русский историк С.М. Соловьев, укоренили предрассудок об исключительном господстве в новой истории германского племени; они не могут «спокойно и беспристрастно изучить Россию, ее настоящее и прошедшее». Отсюда весь гнев, «отсюда стремление умалить значение и славянского племени и русского народа»¹⁰.

Решительно протестовал против извращенных представлений о России и русском народе А.И. Герцен. «По правде говоря, — писал он, — восемнадцатый век уделял России более глубокое и более серьезное внимание, чем девятнадцатый, — быть может, потому, что он менее опасался этой державы. Тогда люди проявляли подлинный интерес к изучению нового государства, явившегося внезапно перед Европой в лице царя-плотника и потребовавшего своей доли в науке и европейской политике»¹¹.

А.И. Герцена поражали распространявшиеся в Западной Европе искаженные мнения о его родине. Стремясь рассеять искажения, он опубликовал серию произведений («Россия», «Русский народ и социализм», «О развитии революционных идей в России»), специально адресованных западному читателю. Своими работами Герцен фактически открывал глаза европейскому обществу, заставляя взглянуть на борьбу передовых сил России с самодержавно-деспотическим строем.

Переезд в 1852 г. в Англию позволил Герцену вести более целенаправленную разъяснительную работу в расчете на британскую общественность. Активное содействие распространению герценовских произведений в Англии оказал видный деятель чартистского движения У. Линтон¹².

Великий революционер-демократ основные усилия направлял на освещение развития освободительного движения в России. Контакты Герцена с английской общественностью были сначала очень затруднены в результате роста антирусских настроений, захвативших страну в годы Крымской войны¹³. Но, как установила английская исследовательница М. Партидж, у Герцена имелись достаточно устойчивые связи с прогрессивными общественными деятелями Великобритании, и он активно использовал их для разъяснения истинного положения дел в Российской империи¹⁴. Особенно дружественными были отношения Герцена с Дж. Коуэном, Э. Джонсом, Ч. Брэдлафом¹⁵. В 1853 г. прогрессивная газета «Лидер» опубликовала высказывания Герцена о русском крепостничестве. В английской печати он характеризовался как «руководитель русского республиканского движения за границей»¹⁶. Редактор «Колокола» всячески приветствовал появление сколько-нибудь объективных зарубежных книг о своей родине. Так, в письме к английскому публицисту Ч. Пирсону от 15 апреля 1859 г. он одобрил создание последним добросовестного труда о России¹⁷. В 1858 г. Герцен вступил в переписку с видным американским публицистом Ч. Лиландом, считавшимся тогда специалистом по русскому вопросу. Лиланд скоро стал горячим поклонником Герцена и популяризатором его произведений в США. Борьба, которую вел Герцен за уничтожение крепостного права в России, вдохновляла Лиланда в его борьбе за уничтожение рабства негров в Америке¹⁸.

Но все же в 60-е годы английская и американская буржуазная печать крайне скрупулезно освещала российскую общественно-

политическую жизнь. В немногочисленных публикациях преобладали крайне поверхностные, а то и просто искаженные оценки. «Сколько раз мы брали твердое и окончательное решение не поднимать вздору, который пишут здесь же журналы и французские о России, не поправлять их промахи, не заводить с ними полемики», — писал А.И. Герцен в 1864 г. С горечью и досадой великий русский демократ отмечал некомпетентность буржуазных публицистов Запада: «Истина этим людям равнодушна. Россию они ненавидят, и притом вовсе не правительство, а вообще все русское и всех русских. Разбирать, что мы прошлодумы, чего хотим, — им недосуг, скучно и при общем несуществовании не легко...»¹⁹

Буржуазная пресса не оставляла, конечно, без освещения наиболее значительные факты общественного протesta в России. Так, внимание английской газеты «Морнинг Пост» привлекло выступление тверских либералов в 1862 г. Газета даже сравнила обстановку в России с положением во Франции накануне 1789 г. и выразила общее сочувствие требованиям либералов²⁰.

С особым любопытством английское общество восприняло известия о попытках покушений Д.В. Каракозова (1866 г.) и А.И. Березовского (1867 г.) на жизнь императора Александра II. Вскоре после этих событий видный буржуазный журнал «Фортнайтли Ревью» опубликовал обширную статью русского писателя и журналиста П. Боборыкина «Нигилизм в России». В английской печати это была первая попытка более или менее основательного анализа начавшегося в России демократического движения разночинцев. Свою работу П.Д. Боборыкин писал по заказу редактора и известного писателя Джона Морлея, который «принадлежал к самой передовой и свободомыслящей группе тогдашних лондонских «интеллигентов», к последователям и почитателям Дж.-Ст. Милля»²¹. Под «нигилизмом», пояснял Боборыкин, обычно понимают широкое общественное течение, носители которого разделяли материалистические и радикально-социальные идеи. Автор, однако, считал, что было бы ошибкой именовать нигилистами всех сторонников социального прогресса, поскольку «это название как синоним упрека может быть применено только к тем молодым людям, которые впали в абсолютное отрицание всего, что составляет общественную жизнь России, и призывают к безграничному коммунизму и всему общему уравнению»²². В статье была отмечена выдающаяся роль А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского как основоположников демократической идеологии. Русские революционеры, подчеркивал Боборыкин, стремились к передаче всех земель, не исключая и помещичьих, бывшим крепостным. Это требование, писал автор, полностью соответствовало желаниям крестьян, «которые даже теперь верят, что помещичья земля будет передана им вторым императорским указом»²³. Это наблюдение П. Боборыкина оказалось, впрочем, скоро забытым буржуазными авторами.

Подъем революционно-народнического движения в 70-е годы XIX в. сопровождался возрастанием интереса к нему со стороны западноевропейской общественности. Особое внимание зарубежной прессы вызывали, в частности, участившиеся политические процессы над русскими революционерами²⁴. И все же в английской и американской буржуазной литературе о России особых изменений не произошло. Редкие общие работы по-прежнему отличались поверхностной описательностью и не содержали серьезного анализа внутриполитического положения в стране. Так, в середине десятилетия вышла книга О. Уола «Земля царя». Автор много лет прожил в России и дал в своем труде подробное описание ее географии, климата, политического строя. С видимым сочувствием он характеризовал внутриполитические мероприятия правительства Александра II. Введением либеральных учреждений, писал он, и особенно ликвидацией крепостного права этот император «завоевал не только любовь собственного народа, но также и симпатии и одобрение всего мира»²⁵. Взгляды Уола были весьма характерными для умеренного английского либерала. Россию, по его мнению, следовало реформировать, сближая ее порядки с нормами европейской цивилизации. Но делать это следовало только под руководством правительства.

Примерно с таких же позиций была написана и солидная книга Г. Эдвардса «Русские дома и русские за границей». Начало оппозиционного движения в России автор связывал с развитием образования, с усиленным проникновением в страну идей европейского просвещительства. Наряду с этим он отмечал, что в преобразовательное время в России наметилось противоборство двух взаимообусловленных крайностей: политический деспотизм самодержавия столкнулся с «разрушительным» революционным движением молодежи. Более всего повинен в этом был, по мнению автора, Николай I, слишком долго и слишком круто стеснявший всякое движение по пути прогресса²⁶. При всей исследовательской ограниченности книги она представляла определенный интерес, так как давала одно из первых систематических описаний фактической истории российского революционно-демократического движения.

По мере нарастания революционной борьбы в России западные публицисты начали все чаще обращать внимание на то, как фактор «нигилизма» влияет на изменение международной роли царизма. Термин «нигилизм» прочно вошел в буржуазную печать Европы и стал синонимом всяких революционных течений в России. Это понятие, отмечал американский историк А. Улам, так укоренилось на Западе, что даже в ноябре 1917 г. «некоторые вполне респектабельные британские и французские журналы сообщали своим читателям, что партия, которая только что захватила власть в России, представляла собой нигилистов, возглавляемых Лениным»²⁷.

Для британской буржуазии рост антицаристских настроений имел особое значение, поскольку Россия во второй половине

XIX в. оставалась главным противником Англии на Ближнем Востоке, в Средней Азии и других районах. Тема «нигилизма» стала вплетаться в антирусские мотивы, присущие английской литературе того времени. Так, в книге «Дикая и цивилизованная Россия» империя характеризовалась как страна, угрожавшая интересам Англии, и выражалось убеждение в скором военном столкновении с ней²⁸. Перед буржуазной печатью Британии возникла своеобразная дилемма: с одной стороны, русское революционное движение можно было расценить как фактор, благоприятствовавший ослаблению противника, а с другой – боевой демократизм и социальная окрашенность освободительной борьбы в России не могла не беспокоить «респектабельную» буржуазию одной из крупнейших стран Запада. Вплоть до начала XX в. влияние этой дилеммы на взгляды британских россисведов было весьма ощутимым.

Чем интенсивнее развивалось демократическое движение в России, тем оживленней становилась реакция на него английской и американской печати. Стоит отметить, что заинтересованность зарубежной общественности в русских делах сильно возросла в связи с переходом народников к непосредственной политической борьбе с самодержавием. Обширные комментарии английской прессы вызвало покушение В.И. Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова и оправдание революционерки судом присяжных. Европейская печать, писал современный исследователь Дж. Бергман, на двое суток «совершенно забыла о мире, о войне, Бисмарке, лорде Биконсфильде, князе Горчакове и не интересовалась никем, кроме Веры Засулич, благодаря странному юридическому приключению превратившейся из доселе неизвестной женщины в героиню»²⁹. Пространная информация об этом эпизоде появилась на страницах влиятельнейшей газеты «Таймс» 24 апреля 1878 г. в большой статье «Нигилизм в России». Комментируя дело В.И. Засулич, ее автор отмечал, что присяжные стремились защитить честь и справедливость, но при этом выступили против закона и правительства, «что означало отрицание всех идей политического и социального порядка, присущего цивилизованному обществу»³⁰. Английский читатель должен был заключить, что Россия страна необычная, что в ней возможны как факты грубого полицейского произвола, так и насилия, несоответствующего нормам цивилизованного общества, революционного протеста. Со страниц газеты весьма явственно прозвучала мысль о том, что русские люди вообще склонны к крайностям.

С началом деятельности «Народной воли» тема «русского нигилизма» стала постоянной в английской буржуазной прессе³¹. В 1879 г. видный журнал «Контемпорари Ревью» отмечал, что «русская революционная партия» и ее действия «полностью поглотили внимание общественности»³². Аналогичное мнение было высказано и на страницах американского журнала «Порс Америкэн Ревью». В нем была помещена статья «Империя недовольных» за подпись: «Русский нигилист». Ав-

тор резко осуждал царивший в России произвол властей, знакомил читателей с растущим в ней протестом и выражал уверенность, что возрождение страны произойдет в результате падения царизма³³.

Возрастание накала революционной борьбы в России вызвало беспокойство в среде реакционных публицистов. В английской прессе все громче зазвучали голоса тех, кто стремился опровергнуть русских революционеров и их методы борьбы с царизмом. Так, в конце 1880 г. в «Контемпорари Ревью» была напечатана большая статья М. Кауфмана «Нигилизм в России». Революционное движение, с тревогой писал автор, достигло в России слишком большой силы и грозит затопить всю страну. Кауфман призывал к всестороннему и тщательному изучению «нигилизма» с целью выработки «мирных» средств его нейтрализации³⁴. Аналогичной позиции придерживался Ф. Канлиф-Оуэн. Автор стремился доказать, что истинное лицо революционного народничества раскрылось в нечестивской истории³⁵. Это был, пожалуй, пример самого раннего использования нечестивского эпизода в целях очернения освободительного движения в России.

Надо особо отметить то впечатление, которое произвело на мировую общественность взрыв в Зимнем дворце, осуществленный 5(17) февраля 1880 г. народовольцем С.Н. Халтуриным. В английских и американских газетах замелькали высказывания о русских народниках как «апостолах кинжала и динамика», беспричинных поборниках всесобщего разрушения. Такие же оценки появились и в произведениях литературно-публицистического жанра. Так, в книге Дж. Гопкинса русские «нигилисты» изображались в гротескных тонах, как фанатики, охваченные самыми темными и разнужданными страстями³⁶. В своем письме Исполнительному комитету «Народной воли», написанном в марте 1882 г., С.М. Степняк-Кравчинский отмечал, что для Европы «нигилизм» остается чудищем «огромным, озорным и стозевным»³⁷.

С.М. Степняка-Кравчинского, конечно, сильно задевал развязный тон реакционной буржуазной прессы. Но было бы ошибочным думать, что реакция европейской общественности на народовольческую деятельность оставалась исключительно негативной. В Англии и США все заметнее становилось стремление дать более или менее объективную оценку потрясавших Россию событий, выяснить их причины и возможные перспективы. Среди такого рода попыток — статьи К. Блайнда, известного тогда специалиста по внутренней политической положению в России. Русский царизм, заявлял он, ведет агрессивную и деспотическую политику, поэтому и борьба против него должна быть признана справедливой и заслуживающей поддержки. Интересы Европы, подчеркивал автор, совпадают с устремлениями наиболее радикальных групп, активизировавшихся в России³⁸.

В 1877 г. в Англии вышло первое издание двухтомного исследования о России, автором которого был Д. Маккензи Уол-

лес, видный публицист, работавший ряд лет петербургским корреспондентом газеты «Таймс». Авторитет Уоллеса до сих пор достаточно высок в западном буржуазном россиведении, труды его получили репутацию классических³⁹. Его сочинение было написано главным образом по личным впечатлениям от путешествий по России. Со временем Петра I, отмечал Уоллес, российская интеллектуальная история была отражением интеллектуальной истории Западной Европы, но отражением искаженным, подчас даже утрированным, окрашенным специфическими чертами национального характера и местных условий. Революционных народников автор изображал как наивных романтиков, одержимых совершенно несбыточными мечтами. Идеи этих донкихотствующих людей, уверял Уоллес, были совершенно абсурдны, поэтому вполне естественно, что правительство начало их преследовать. С его точки зрения, достойна порицания лишь излишняя суворость правительственныех репрессий, «слишком восточных по своему характеру». Отвергая идеи русских революционеров, Уоллес счел нужным признать, что он не мог не уважать их как честных и прямодушных людей, «которые принесли большие жертвы за свои убеждения»⁴⁰. В предисловии к сокращенному изданию книги Уоллеса американский историк С. Блэк заметил, что ценность работы – в осуждении крайностей революционного движения, в доказательстве беспочвенности планов «радикальной молодежи»⁴¹.

Цареубийство 1 марта 1881 г. вызвало сильнейший международный резонанс⁴². В целом ряде английских журналов и газет появились статьи, авторы которых заговорили о грозном размахе борьбы русских революционеров. Нигилисты, писал в «Фортнайтили Ревью» Дж. Коллинз, стали невидимой армии, дезорганизующей правительство. «Революционный процесс, – заявлял он, – должен постепенно ослабить и разрушить те институты, которые являются основой русской системы»⁴³. Показательно, что особое внимание английская пресса уделила сообщениям о проникновении революционной пропаганды в царскую армию и флот. Так, в 1884 г. «Таймс» подробно освещала ход процесса «14-ти», на котором были осуждены видные деятели военной организации «Народной воли». Систематически печаталась информация об арестах среди офицерского корпуса. Отмечая особую значимость таких явлений, «Таймс» в мае 1884 г. сообщила об образовании в России специальной комиссии под председательством великого князя Владимира для расследования причин распространения «нигилизма» в армии и флоте⁴⁴. В очередном обозрении политической жизни России журнал «Контемпорари Ревью» писал, что совершенно невозможно даже приблизительно предположить результаты революционной пропаганды в армии и что «революционные интриги» в войсках являются, несомненно, следствием общей депрессии в русском обществе⁴⁵.

Наибольший интерес у зарубежных публицистов вызывал, естественно, вопрос о причинах революционного движения в Рос-

ции. И если фактическая история выступлений народников английскими и американскими журналистами излагалась, как правило, на основе той информации, которую давали официальные круги России, то в оценке истоков «нигилизма» печать Англии и США проявила гораздо большую самостоятельность.

В английских публикациях практически сразу утвердилось мнение о том, что активность «нигилистов» порождалась самим политическим строем России, нормами ее общественно-политической жизни. Корень зла, писала однажды «Таймс», лежит в практикуемых царизмом методах непрерывного подавления свободной мысли и слова. Причем газета считала, что в суровых репрессиях против самих революционеров нет ничего необычного, ибо всякое правительство имеет право на самозащиту. Но она осуждала неоправданные, с ее точки зрения, притеснения либералов, гонения на свободу слова, печати и на другие гражданские права⁴⁶.

Такие суждения распространились в английской печати весьма широко. Освещая в 1882 г. процесс над группой народовольцев, журнал «Сатэрдей Ревью» писал, что один из обвиняемых, морской офицер (речь, по-видимому, шла о Н.Е. Сухановс. — М.К.), нарисовал в процессе защиты такую поразительную картину притеснений и унижений, которая была вполне достаточной, чтобы привести к политическому преступлению. «Нигилисты», подчеркивал журнал, убили царя потому, что он олицетворял собой такой общественный строй, который они ненавидели и против которого восстали⁴⁷.

Несколько более конкретное объяснение причин революционного движения в России предложил К. Жубер. Русский царизм, писал он, пошел на освобождение крестьян, но продолжал сохранять «все формы автократического правления и не подготовил свой народ к получению справедливых прав свободного человека». Сторонники самодержавия, замечал Жубер, постоянно указывали на то, что Россия не готова к конституции, но никаких шагов для соответствующей подготовки народа не предприняли⁴⁸. Александр II, заявлял К. Блайнд, освободил крестьян, но продолжал держать в политическом беспривилегии просвещенные классы. Народовольчество виделось Блайнду естественной реакцией образованных русских людей, требовавших введения политических свобод и представительного правления⁴⁹.

Органы английской буржуазной печати не симпатизировали, конечно, методам борьбы русских «нигилистов», но полагали, что революционное «зло» вырастало на почве самодержавного произвола. Под революционное движение подводились не классовые, а только конкретно-политические, национально-особенные причины. История России и история Англии, заявлял, например, Д.М. Уоллес, являются собой резко различные типы развития. Если Англия представлялась Уоллесу образцом постепенного, реформистского прогресса, основанного на удачных и своевременных компромиссах, то Россия — печальным

примером импульсивного, искаженного развития, сопровождавшегося резким разрывом с традициями прошлого. В России, пояснял автор, общество всегда оставалось политически пассивным, а преобразования осуществлялись сверху, силой одной лишь государственной власти. В такой стране легко составлять проекты реформ, но очень трудно их осуществлять, поскольку задуманное не являлось внутренней потребностью широких слоев общества. Поэтому-то и возникали непредвиденные политические трудности и негативные явления, вроде тайных обществ революционеров⁵⁰. Нетрудно понять, почему идеи Уоллеса до сих пор популярны не только в английской, но и вообще в западной буржуазной историографии. Отказываясь от анализа глубоких классовых причин движения русской революционной демократии, буржуазные авторы охотно развивали мысли о противоположности исторических судеб России и Запада, о русской революционности как проявлении отсталости социального развития страны, о взаимной обусловленности реакции и революционных выступлений в России и об отсутствии такой обусловленности в «либеральных» режимах капиталистического мира.

В большинстве случаев зарубежные публицисты считали, что развитию революционного процесса в России можно было бы предотвратить. Самодержавию для этого рекомендовалось проводить более гибкую и умелую политику. Так, в труде Т. Оксли, посвященном императору Александру II, беды царствования последнего объяснялись засильем консерваторов в среде высшей бюрократии. Реакционеры, подчеркивал Оксли, стали «существенными вдохновителями нигилизма». Между тем революционных выступлений могло и не быть, стоило только царю проявить большую стойкость в политике реформ⁵¹. Непоследовательность реформаторского курса правительства стала, по мнению автора, главной причиной политической дестабилизации России.

С 80-х годов XIX в. в западной буржуазной литературе стали появляться попытки выявить «психологические корни» русского революционного движения. Они вполне соответствовали самому стилю изучения общественных явлений, характерному для буржуазной печати. Отрицая социально-классовую детерминированность революционных процессов, буржуазные авторы концентрировали свои усилия на поиске специфических истоков «радикализма». Вот почему в английской прессе появились рассуждения о том, что реформы вызвали слишком сильные потрясения в сознании русской молодежи. Начало преобразований, писал, например, У. Фулькс, вызвало бурный всплеск слишком оптимистических надежд. Поскольку же никакими реформами нельзя было сразу избавиться от всех пороков крепостнического времени, поскольку розовые мечты скоро сменились горькими разочарованиями. А отсюда — прямой путь к недовольству, протестам и заговорам⁵².

Примерно о том же писал и Е. Лоу, утверждавший, что

«глубокие реформы» Александра II не могли не вызвать психологическую дестабилизацию нетерпеливой русской молодежи⁵³ Развивая такую же мысль, Ф. Канлиф-Оуэн утверждал, что русский характер вообще отличает преобладание эмоций над разумом. Это, по его мнению, было особенно заметно у учащейся молодежи. Хотя, замечал автор, интеллект и быстрота восприятия у русского юноши замечательны, но он «не способен для серьезной работы из-за недостатка упорства и из-за склонности к пресусличествиям... В 13 лет он способен увлечься разработкой конституции для России, в 14 — он может написать очерк о психологическом и анатомическом строении человеческого тела, а в 15 способен изобрести новую религию. То, что в Англии подлежит наказанию как испомернос тщеславие и амбиции, в России может превозноситься как гениальность»⁵⁴.

Суждения о том, что «действительным англоязычным народам» трудно понять слишком эмоциональное русское общество, весьма широко распространялись в английской прессе конца прошлого века. Психологические интерпретации позднее прочно войдут в теоретический арсенал буржуазной историографии.

Важно отметить, что в английской публицистике того времени имели место попытки объяснить причины российского революционного движения социальной отсталостью страны, неразвитостью ее социальной структуры. Уже в литературе 80-х годов XIX в. появляется тезис о том, что все беды и социальные потрясения России вытекают из отсутствия в стране развитого «среднего класса», т. с. буржуазии, призванной цементировать общественный организм и направлять его на путь либерального развития. Так, М. Кауфман писал, что бурный рост «нигилизма» в России стал возможен из-за отсутствия в ней развитой буржуазии, «которая везде является наиболее прочным бастионом против развития социалистической и нигилистической агитации»⁵⁵.

Современная буржуазная историография, как известно, исходит из положения о сугубо «интеллигентской» природе русского освободительного движения. Здесь уместно подчеркнуть, что уже в публицистике 80—90-х годов XIX в. многие западные обозреватели указывали на интеллигентские корни российского «нигилизма». Ч. Джонстон, например, писал, что русское революционное движение тем и отличалось от европейского анархизма, что оно являлось течением «интеллигентов», а не народных масс. Развитию «нигилизма», заявлял автор, способствовало слишком бурное развитие просвещения в пореформенные годы. Стремительный рост образования привел якобы к дезорганизации русского общества, так как вызвал быстрое развитие прослойки интеллигентов, воспринявших модные материалистические теории и к тому же убежденных, что для них нет соответствующего места в российской государственной системе⁵⁶.

Естественно, что утверждения об интеллигентской природе

русского революционного движения лишь подкрепляли тезис о противоположности исторического развития Англии и России. Британцам, писал Дж. Фрэзер, трудно понять ситуацию в России, так как они не знакомы с таким искусственно возникшим социальным слоем, каким в России оказались студенты и выпускники учебных заведений⁵⁷.

Как видим, по мере накопления информации об общественной жизни в России усложнялась и проблематика англоязычной буржуазной литературы. В ряде случаев публикации 80-90-х годов XIX в. предвосхищали теоретические изыскания историков позднейшего времени.

Важнейшее значение для развития английской и американской литературы о русском освободительном движении имела деятельность народнической эмиграции.

Надо заметить, что среди других зарубежных стран Англия и США отличались сравнительно свободными условиями для жизни эмигрантов. Русские революционеры и сами отмечали, что в Англии существовали более благоприятные условия для их деятельности, чем, скажем, во Франции, правительство которой частенько заискивало перед царизмом. А о Германии и Австрии мнение эмигрантов вообще было весьма отрицательным. Как подчеркивал А. Кимбалл, никакое другое место не казалось эмигрантам более безопасным, чем Англия, «колыбель европейских гражданских свобод»⁵⁸. На протяжении 70-90-х годов прошлого века поток русской эмиграции в Великобританию и США непрерывно возрастал. По данным переписей, число русских в Англии и Уэльсе в 1871 г. составляло 2513, в 1881 г. — 3789, в 1891 г. — 23 622⁵⁹. И в дальнейшем поток эмигрантов из России продолжал нарастать, хотя далеко не все русские люди эмигрировали по политическим причинам. Число осевших в Великобритании русских революционеров быстро увеличивалось.

Русские революционеры всегда стремились привлечь на свою сторону общественное мнение западных стран. Выше отмечалось, как резко реагировал на высказывания буржуазной прессы А.И. Герцен. Внимательно следил за английскими газетами и журналами и Н.Г. Чернышевский. Даже в ссылке он получал популярные в то время британские журналы «Вестминстер Ревью» и «Атенсум»⁶⁰. Определенные усилия по разъяснению своих целей зарубежной общественности русские революционеры предпринимали и в 60-70-е годы XIX в. Интенсивной была деятельность членов Русской секции I Интернационала, П.Л. Лаврова и других участников народнического движения. Систематический характер разъяснительной работе за рубежом сумели придать народовольцы. В разработанной весной 1880 г. инструкции «Подготовительная работа партии» выдвигалось требование завоевания общественного мнения Европы⁶¹. Тогда же руководители «Народной воли» писали Карлу Марксу: «Наша задача была бы значительно облегчена, если бы искренние симпатии свободных народов были на нашей стороне, для чего

требуется только знание действительного положения дел в России»⁶².

Активную пропагандистскую работу вел в Англии П.А. Кропоткин. Участник народнического движения начала 1870-х годов XIX в., он после бегства за границу (1876 г.) продолжал общественную деятельность, не входя в какую-либо организацию русских революционеров. В 1881–1882 гг. П.А. Кропоткин жил в Англии, где сразу же сблизился с деятелями британского социалистического движения Дж. Коуэном и У. Моррисом. Последний предложил ему сотрудничество в газете «Коммонуил», а с помощью первого он начал публиковать свои статьи в ряде других британских изданий⁶³. Среди первых английских публикаций Кропоткина следует выделить статью «Революционная партия России», напечатанную сначала в «Ньюкасл Дейли Кроникл», а затем – в увеличенном объеме – в солидном журнале «Фортнайти Ревью»⁶⁴. В статье разъяснялись демократические цели русских революционеров и вместе с тем отмечалось, что обострение политической ситуации в России было спровоцировано жестокими правительственными гонениями на передовую молодежь. Свои суждения П.А. Кропоткин подкреплял цитированием программных документов революционного народничества.

Статьи Кропоткина в дальнейшем печатались в разных английских изданиях. Журнал «Найтинг Сенчури» в 1883–1885 гг. опубликовал целую серию его работ, посвященных положению политзаключенных в России и репрессивным методам внутренней политики царизма.

Выступления столь влиятельного русского эмигранта встревожили официальный Петербург. Из российского посольства в Лондоне в адрес министерства внутренних дел весной 1882 г. направлялась информация о статьях Кропоткина⁶⁵. Русская заграничная агентура сообщала о «недружественном» поведении газеты «Ньюкасл Дейли Кроникл» и журнала «Фортнайти Ревью», предоставивших свои страницы Кропоткину. А в феврале 1882 г. управлявший министерством иностранных дел Н.К. Гирс извещал министра внутренних дел Н.П. Игнатьева о приезде в Россию сотрудника «Ньюкасл Дейли Кроникл» Ч. Мервина и просил установить за ним негласное наблюдение⁶⁶. Руководители департамента полиции были хорошо информированы о дружеских связях П.А. Кропоткина с Дж. Коуэном и Ч. Мервином⁶⁷.

Между тем выступления П.А. Кропоткина встретили понимание и сочувствие в среде английского пролетариата. Когда в 1901 г. русский рабочий-социал-демократ А.Фишер оказался в Ньюкасле, он с удивлением обнаружил, что тамошние рабочие были недурно осведомлены о положении вещей в России. «Свои сведения о России, – отмечал Фишер, – они почерпнули из той агитации, которую в свое время проводил Петр Кропоткин по всей Англии»⁶⁸. Об успехе своих выступлений в Ньюкасле, Глазго и Эдинбурге писал и Кропоткин: «Толпы работников

восторженно кричали на улице после лекции ура в честь нигилистов»⁶⁹.

Пропагандистская деятельность П.А. Кропоткина в Англии возобновилась в 1886 г. и продолжалась около 30 лет. За эти годы он опубликовал большое число статей и книг, прочел множество лекций, посвященных русскому освободительному движению. Испытывая отмстить, что и его знаменитые мемуары предназначались поначалу западному читателю. Они впервые были опубликованы на английском языке в журнале «Атлантик Мансли» (сентябрь 1898 – сентябрь 1899 гг.).

Наиболее яркий след в распространении на Западе демократической концепции истории российского общественного движения оставила деятельность С.М. Степняка-Кравчинского. В своих многочисленных статьях, публицистических и художественных произведениях он пламенно отстаивал правое дело русских революционеров, разоблачал ложь и клевету реакционных писаний. «...Кравчинский, – писал И.М. Майский, – был продолжателем традиций Герцена и в конце прошлого века сделал в Лондоне, конечно с неизбежными поправками на время и условия, то самое дело, которое Герцен сделал здесь тридцатью годами раньше»⁷⁰. Вышедшие на английском языке книги С.М. Степняка «Подпольная Россия», «Россия под властью царей», «Русское крестьянство» и др. имели большой общественный резонанс на Западе. Первые же работы С.М. Степняка оживленно обсуждали английская печать.

Как отмечала Е.А. Таратута, консервативная пресса Англии отнеслась к работам русского революционера враждебно⁷¹. Зато с явным сочувствием они были встречены прогрессивной английской и американской общественностью. Произведения русского революционера систематически печатались в «Форт-нейтли Ревью», «Таймс», «Контемпорари Ревью», «Лайбор Лидер» и других газетах и журналах. В многочисленных рецензиях на его произведения явственно зазвучали голоса солидарных со справедливой борьбой против самодержавного деспотизма. П. Кропоткин и С. Кравчинский, подчеркивал Дж. Хульц, «нашли англоязычный мир исключительно воспримчивым к их выступлениям»⁷².

Однако пропагандистская деятельность русских революционеров встречала не только сочувствие, но и ощущение противодействия. С резкими нападками на «недружественность» повседневное британской прессы выступила русская реакционная печать. М.И. Катков, например, с негодованием обрушился на «считавшийся до сих пор в числе солидных ежемесячных обозрений» «Вестминстер Ревью» за публикацию, на его страницах материалов, опиравшихся на «бесстыдное вранье» С.М. Степняка-Кравчинского⁷³.

К середине 80-х годов XIX в. расширилась деятельность заграничной агентуры российского департамента полиции, во главе которой был поставлен известный мастер провокаций П. Рачковский⁷⁴. Проявила активность и проживавшая в

Англии реакционная русская публицистка О.А. Новикова, располагавшая солидными связями в ее правящих кругах. В 1885 г. в «Пэл Мэл Газетт» она опубликовала злобную статью «Русификация Англии», в которой содержались клеветнические выпады против деятелей русской революционной эмиграции. Но более всего Новикова возмущалась некоторыми органами английской прессы, слишком легкомысленно, по ее мнению, предоставившими свои страницы русским «террористам». На клеветнический характер выступления Новиковой указал Ф. Энгельс. Он решительно отверг инсинуации реакционерки, утверждавшей, что русские эмигранты ответственны за распространение терроризма в самой Англии. «Способ борьбы русских революционеров, — заявил Ф. Энгельс, — продиктован им вынужденными обстоятельствами, действиями самих их противников. За применимые ими средства эти революционеры ответственны перед своим народом и историей». Русские революционеры, подчеркивал Энгельс, не имеют ничего общего с английскими или иными поклонниками провокационных авантюров. Эти последние «ни в каком случае не последователи и не союзники русской революции, а ее злейшие врачи»⁷⁵.

О.А. Новикова и в дальнейшем осталась свято верующей «в православие, самодержавие и национализм». Ее биограф У. Стэд подчеркивал, что она «всегда была в более или менее остром антагонизме с революционной партией и с революционными изгнанниками в Лондоне»⁷⁶.

С середины 1880-х годов поляризация оценок внутриполитического положения России в английской и американской печати продолжала увеличиваться. Публиковались и так называемые антинигилистические работы⁷⁷. Им противостояли труды, в которых отчетливо выражалось стремление к объективной оценке прогрессивных сил русского общества. Среди них книга американского общественного деятеля Э. Нобля «Русский мятеж» — одна из наиболее добросовестных работ того времени. Она не представляла собой специального исторического исследования, скорее это очерк общественной жизни России, написанный автором под впечатлением от путешествий в нашу страну. Э. Нобль с явной симпатией относился к революционному движению, характеризовал его как естественную и закономерную реакцию против деспотической системы самодержавия. Революционеров, подчеркивал автор, воодушевляла пламенная любовь к своей стране и страдающему народу, ненависть к тирании и угнетению⁷⁸. В книге, правда, есть немало ошибочных суждений, очевидных для современного читателя. Автор, с одной стороны, явно преувеличивал роль влияния Запада на развитие духовной жизни России, а с другой — считал, что «крайности» русского общественного движения обусловлены исключительно спецификой страны, в том числе ее географией, климатом и т.п. Тем не менее можно согласиться со С.М. Степняком-Кравчинским, отметившим, что Э. Нобль — автор одной из самых серьезных и содержательных книг о Рос-

сии⁷⁹. Впоследствии Э. Нобль активно участвовал в движении солидарности с русскими революционерами. По сообщению Е. Лазарсса, он был тем корреспондентом английского «Таймс», который первым «интервьюировал Чернышевского в Астраханской губернии по его возвращении из Сибири»⁸⁰.

К концу 80-х годов XIX в. английский и американский читатель познакомился с книгой датского прогрессивного общественного деятеля Георга Брандеса, в которой тот, весьма сочувствуя революционерам, давал оценку общественной жизни России. Брандес характеризовал русских демократов как людей, воодушевленных самыми благородными устремлениями, хотя и оторванных от своего народа⁸¹. Попытка объективного анализа требований русских революционеров содержалась в литературно-публицистическом произведении Э. Ходжсона⁸².

Огромное значение в борьбе за объективное освещение истории русского освободительного движения имели публикации видного американского общественного деятеля Джорджа Кеннана. Талантливый журналист и страстный путешественник, он неоднократно бывал в России и считался в Америке знатоком русских дел. Поначалу Кеннан вполне разделял официальную точку зрения русских властей на причины волнений «нигилистов» и даже выступал с публичной защитой карательных мер самодержавия. В апреле 1884 г. он вступил в открытую полемику с американским коммессаром У. Армстронгом, прочитавшим в Вашингтоне лекцию в защиту русских революционеров⁸³. В ходе выступления Армстронг ссылался не только на свои личные впечатления от пребывания в России, но и на свидетельства американцев, уже совершивших экспедиции в Сибирь и видевших своими глазами положение русских политзаключенных. Он назвал, в частности, интересную книгу Дж. У. Бозла, в 1882–1883 гг. обследовавшего места сибирской ссылки⁸⁴. Поскольку Армстронг ссылался на свидетельства очевидцев, отрицать их достоверность оснований не было. В этой ситуации Кеннан решился на вполне естественный для него предпримчивой натуры шаг. Он сделал вывод, что лучший способ отыскать истину и выиграть спор – это съездить еще раз в Россию и обстоятельно изучить на месте действительное положение дел. В основе такого решения лежал глубокий и давний интерес к огромной стране и ее людям. Замысел решила поддержать и материально обеспечить редакция американского журнала «Сенчури Мэгзин». Свои путешествия Дж. Кеннан совершил вместе с художником Д. Фростом в 1885–1886 гг.⁸⁵

Гуманист по убеждениям и вдумчивый исследователь, Дж. Кеннан собрал огромный материал, отразивший особенности революционного движения в России, и прежде всего жизнь и деятельность политических ссыльных в Сибири. По возвращении в Америку Кеннан опубликовал большой цикл статей, а затем свою знаменитую книгу «Сибирь и система ссылки»⁸⁶.

Полностью отказавшись от своих прежних взглядов, автор привнес достоверные данные, свидетельствовавшие о варварстве

и произволе царской политической системы. Русских революционеров-народников Кеннан обрисовал как лучших людей своей родины. Придет время, писал он, когда имена революционеров, а не имя царя «будут отмечены на страницах истории и когда память об их страданиях и жизни будет служить источником героических впечатлений для всех русских, любящих свободу и свою страну»⁸⁷. Книга Кеннана имела большой успех и была переведена на многие европейские языки. Ее весьма высоко оценил Ф. Энгельс. «В настоящий момент, — писал он В.И. Засулич, — вера либералов в освободительный пыл царя сильно поколеблена ветвями из Сибири, книгой Кеннана и последними университетскими волнениями в России»⁸⁸. Положительную оценку книге дал и Г.В. Плеханов. Сравнивая ее с известной работой либерального немецкого профессора А. Туна «История революционных движений в России», Плеханов подчеркивал, что последний «был очень далек от того безусловного сочувствия к русским революционерам, которым проникнута знаменитая книга американца Кеннана»⁸⁹.

Выступления Кеннана вызвали большой общественный резонанс в Англии и США. «Статьи Кеннана должны были прочесть каждый, кто интересуется социальным и политическим движением в России», — отмечала, например, английская газета «Брэдфорд Обсервер». А «Ассошиэйтед Пресс Диспетчиз» заявляла: «Этой огромной работой Кеннан оказал важную услугу делу гуманизма»⁹⁰. Воодушевленные примером Кеннана, активизировали работу по разъяснению целей революционной борьбы с царизмом русские эмигранты и сочувствовавшие им прогрессивные деятели Англии и США. Как сообщало российское консульство в Ньюкасле, публичные лекции о русских порядках «составляют заурядное явление Англии. Лектором обыкновенно выступает какой-нибудь нигилист или беглый каторжник; чтение происходит под патронатом местного туга, альдермана, бывшего министра и т.п. ...». В донесении признавалось, что Кеннан и другие авторы «только поставляют товар, на который существует спрос, поэтому не удивительно, что они имеют успех»⁹¹. Российский департамент полиции был вынужден в конце концов признать «громадный вред», причиненный работами Кеннана интересам царского правительства. По сообщению сыскной службы, «агитаторская деятельность этого иностранца, сумевшего произвести целый переворот в мыслях и взглядах на «дело русской свободы» всего говорящего по-английски человечества, дала могучий толчок русскому революционному движению за границей»⁹². Это обстоятельство вызывает немалое раздражение и у нынешних противников революции и социального прогресса. С нескрываемой досадой американский исследователь Дж. Гуд отмечал успехи антицаристской пропаганды Дж. Кеннана. Сегодни американцы, писал он, могут с удивлением узнать, что их предшественники оказывали помощь и поддержку русским революционерам и внесли таким образом косвенный вклад в успех большевистского переворота. С точки

зрения Гуда, деятельность Кеннана характеризуется как исторический курьез⁹³. Позицию Кеннана и его сторонников, полагал Дж. Гуд, можно отчасти оправдать тем, что русские революционеры якобы скрыли от них свои террористические замыслы.

Царское правительство всячески пыталосьнейтрализовать усилия Кеннана. В 90-е годы XIX в. была предпринята целая серия контрпропагандистских манифестов. Особое значение вновь придавалось деятельности О.А. Новиковой. Она увеличила число публикаций клеветнических статей о русских революционерах, а также организовала поездку в Сибирь своему единомышленнику Гарри де Виндту. В 1892 г. он издал книгу сибирских очерков, призванную по сути дела реабилитировать царское правительство⁹⁴. О.А. Новикова лично отредактировала рукопись, но книга успеха не имела. Английского читателя было уже трудно убедить в благочестивых помыслах царских властей.

И все же в английской и американской печати продолжала доминировать оценка революционеров и самодержавия как однаково отрицательных сил. Действия русских властей характеризовались как деспотические, в деятельности революционеров усматривался по преимуществу один терроризм. Пресса часто писала о разvившемся в русском обществе неуважении к закону, о революционных насилиях т.п. Такая оценка была характерна и для немногочисленных тогда работ историков. Среди них исследования У. Морфилла, английского слависта, положившего начало изучению русской истории, языка и литературы в Оксфордском университете. Проповедуя умеренно либеральные взгляды, он в целом отрицательно оценивал деятельность русских революционеров. Об истории революционно-демократического движения Морфилл писал как о процессе нараставшего экстремизма, очень сожалел, что «мягкая» и разумная оппозиция герценовского «Колокола» была в конце концов вытеснена воинствующим анархизмом и нигилизмом. Цепь революционных преступлений, писал У. Морфилл, достигла кульминации в убийстве Александра II, «одного из наиболее благожелательных правителей из всех, занимавших российский трон»⁹⁵.

Показателем возраставшего в Британии интереса к русской истории было издание на английском языке известного труда французского либерального историка А. Леруа-Болье. В буржуазных кругах Британии эта работа встретила одобрение, поскольку в ней настойчиво проводилась мысль об исключительности исторических путей развития России. Россию, писал Леруа-Болье, нельзя считать ни европейской, ни азиатской страной. «Если же она и принадлежит к Европе, то только к Европе другого времени», примерно трех-, четырехвековой давности. Русское общество, подчеркивал автор, не знало ни Ренессанса, ни Реформации, ни революции⁹⁶. Именно поэтому возникшая под воздействием культурных влияний Запада немногочисленная российская интеллигенция оказалась как бы в

чужеродной среде. Отсюда повышенный радикализм ее представителей, которые никак не могли преодолеть стесны отчуждения, отделявшей их от собственного народа⁹⁷.

А. Леруа-Болье принадлежала большая роль в становлении буржуазно-либеральной концепции освободительного движения в России. Многие его оценки воспроизводятся в новейших буржуазных исследованиях. Под влиянием воззрений Леруа-Болье оказались и многие английские авторы 90-х годов XIX в. Так, Ч. Лоу в жизнеописании Александра III высказывал сожаление по поводу уклонения последнего с пути либеральных реформ его отца. «Это был его великий шанс, и он упустил его», — заявлял Лоу⁹⁸.

Между тем русские революционеры-эмигранты в содружестве с прогрессивными силами Англии и США принимали все более энергичные меры по разъяснению истинного смысла и значения общественно-политической борьбы в России. Замечательным примером солидарности с российским освободительным движением явилась деятельность английского и американского обществ «друзей русской свободы». Создание таких обществ было вполне в традициях прогрессивной общественности этих стран. В одном из писем видному деятелю рабочего движения в Англии Э. Пизу С.М. Степняк-Кравчинский писал: «Английская демократия всегда оказывала помощь всем борцам за свободу в Европе, начиная с Гарибальди, Мадзини и их друзей до Кошута и его венгров, не говоря уже о наших братьях славянах»⁹⁹.

Первую попытку создать в Англии организацию «друзей русской свободы» С.М. Степняк-Кравчинский предпринял в 1885 г. Это начинание поддержали Э. Пиз и прогрессивная английская писательница, участница Фабианского общества А. Бэзант. Однако широкой поддержки инициатива Степняка в то время еще не получила. Потребовались годы упорной пропагандистской работы, прежде чем дело организации Общества солидарности удалось поставить на практические рельсы.

Начало созданию Общества было положено в 1889 г., вскоре после очередной лекционной поездки С.М. Степняка-Кравчинского в Ньюкасл, где его лекции посетил видный общественный деятель Англии, председатель Национально-либеральной федерации страны Р. Спенс-Уотсон. Лекции Степняка, а затем и его книги произвели на Спенс-Уотсона большое впечатление. 22 марта 1889 г. он обратился к Степняку с ободряющим письмом и предложил ему материальную помощь¹⁰⁰.

Вскоре Р. Спенс-Уотсон решил, что сочувствие прогрессивных англичан российскому освободительному движению должно принять более действенные формы. Такая решимость сформировалась у него под влиянием углубленного изучения внутреннего положения России, публикаций Дж. Кеннана и деятелей русской эмиграции. Хорошо знавший его Э. Пиз в августе 1889 г. сообщал Степняку, что у Спенс-Уотсона возникло желание начать антицаристскую агитацию¹⁰¹.

На успех дела сказалась широкая публикация в английской

прессе сведений о страшных трагедиях, разыгравшихся в 1889 г. в Якутске и на Каре¹⁰². Особенно интенсивно сообщения о неоправданных жестокостях царскихластей печатались в «Таймс» в январе – марте 1890 г. Выступления газеты произвели большое впечатление на передовые слои английского общества. 25 февраля «Таймс» сообщала, что несколько рабочих клубов и социалистических организаций Лондона образовали комитет протеста против политики русского царизма. Комитет решил провести 9 марта демонстрацию в Гайд-парке. К участию в ней приглашались русские эмигранты, по возможности «в своих национальных костюмах, для того, чтобы собравшиеся могли узнать их и выразить им чувства симпатии за их страдания». Этот же номер извещал, что в Ньюкасле образовалось Общество «друзей русской свободы» во главе с Р. Спенс-Уотсоном, Т. Бертом и С. Степняком. Газета, очевидно, имела в виду инициативную группу, так как формальное образование Общества состоялось позднее¹⁰³. 10 марта «Таймс» дала подробную информацию о состоявшейся демонстрации, об энергичном выражении тысячами рабочих протesta против жестоких репрессий самодержавия. «Русские люди, – заявили демонстранты, – будут знать, что британская демократия выражает симпатию им в их борьбе за свободу»¹⁰⁴. В 1890 г. сочувствие передовой британской общественности к борцам за свободу России стало быстро возрастать. Во всяком случае российское посольство в Лондоне в одном из своих донесений вынуждено было констатировать факт явного нерасположения британского общественного мнения к внутриполитическому курсу самодержавия¹⁰⁵.

Все эти события, несомненно, ускорили процесс организации Общества «друзей русской свободы». Официальное объявление о его создании состоялось 31 марта 1890 г. в Лондоне. Вскоре инициаторы общества объявили о решимости начать издание журнала под названием «Фри Раша» («Свободная Россия»). Наконец, 30 апреля 1890 г. на собрании 28 сторонников Общества было объявлено о создании Генерального комитета, в состав которого вошли преподаватели, священники, журналисты и даже 9 членов парламента. Для руководства текущей работой Общества был создан Исполнительный комитет. Его председателем и казначеем стал Р. Спенс-Уотсон, а членами – У. Байлс, Э. Пиз, Т. Фишер Анвин. Последний взял на себя функции издателя Общества¹⁰⁶. Руководство Обществом принадлежало англичанам, хотя, разумеется, работали они в тесном контакте с революционными эмигрантами из России – С. М. Степняком-Кравчинским, Ф. В. Волховским, Н. В. Чайковским, Е. Е. Лазаревым, Л. Б. Гольденбергом и др.

Руководящая роль в разработке структуры Общества, его идейной платформы и задач принадлежала С. М. Степняку-Кравчинскому и Р. Спенс-Уотсону¹⁰⁷. По своим политическим убеждениям Спенс-Уотсон был либералом, его инициатива в создании Общества не была случайной. Он происходил из

семьи, традиционно близкой к пацифистскому Обществу друзей (квакеров). С юности Р. Спенс-Уотсон усвоил чувства симпатии к Кошуту, Гарибальди, Орсини и другим деятелям европейского освободительного движения. В годы франко-пруссской войны он собирал средства для оказания помощи французским крестьянам, а во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. был сторонником освобождения Болгарии от иноземного ига¹⁰⁸. Именно гуманистические убеждения Р. Спенс-Уотсона предопределили его отношение к борьбе русских революционеров.

Перу Р. Спенс-Уотсона принадлежали основные программные заявления Общества. В первом номере «Фри Раша» (июнь 1890 г.) была опубликована его передовая статья «Движенис в Англии». Наша основная задача, заявлял Спенс-Уотсон, заключается в распространении правды о России. Он обещал принять все возможные меры, чтобы гарантировать достоверность публикуемой информации¹⁰⁹. Правда, по его мнению, станет самым действенным средством поддержки тех, кто борется за справедливое дело освобождения России от самодержавного произвола.

Р. Спенс-Уотсон, как и большинство других участников Общества, не видел особого различия между идеиними течениями в русском освободительном движении. Он считал, что у всех русских революционеров есть только одна действительно разумная и справедливая цель – устранение самодержавия. Спенс-Уотсон в сущности полагал, что задачей освободительной борьбы в России является введение в стране порядков, близких к тем, какие уже давно существуют в Великобритании. Социалистические же идеи русских революционеров он не принимал всерьез, да и вообще о социально-экономических требованиях своих новых друзей предпочитал не высказываться. Отрицательно оценивал Спенс-Уотсон и насилиственные методы борьбы революционных народников. Он прежде всего не одобрял практиковавшийся народовольцами террор. В личных бумагах Спенс-Уотсона сохранились записи, в которых он отождествлял народовольческую тактику с приемами ирландских фениев – мелкобуржуазных революционеров-республиканцев, в 80-е годы XIX в. исоднократно прибегавших к проведению террористических актов¹¹⁰. Зато с большим сочувствием он отметил публикацию известного письма писательницы М.К. Цебриковой Александру III, в котором осуждались репрессивные методы внутренней политики царизма. В большой статье, появившейся в журнале «Вестминстер Ревью», Спенс-Уотсон высказал наивную, но очень характерную для английского квакера мысль о том, что пятьсот Цебриковых могли бы преобразовать Россию¹¹¹. Его позицию можно охарактеризовать как позицию добропорядочного умеренного либерала, гуманиста и пацифиста, более всего желавшего устранения как реакционных, так и революционных крайностей. Такие взгляды войдут впоследствии в теоретическую платформу

буржуазных историков либерально-объективистского толка.

Между тем британское Общество «друзей русской свободы» начало успешно функционировать. Его большим успехом следует признать выпуск собственного органа. Журнал «Фри Раша» просуществовал с лета 1890 до января 1915 г., когда вышел его последний номер, ознаменовавший завершение деятельности Общества в условиях начавшейся мировой войны. В течении 1890–1891 гг. росло число участников Общества и подписчиков его журнала. Во втором годичном отчете Исполнительного комитета Общества сообщалось о создании четырех филиалов – в Ньюкасле, Лейестере, Эдинбурге и Перте¹¹². Летом 1890 г., по сообщению «Таймс», Р. Спенс-Уотсон принял энергичные меры по созданию филиала Общества и в Оксфорде. На собрании местной общественности он заявил, в частности, что политические преобразования в России «не так далеки, как склонны верить некоторые люди»¹¹³. «Фри Раша» в 1891 г. извещал о том, что идти Общества получили поддержку в Германии, где о сочувствии ему заявили А. Бебель, К. Либкнехт и В. Адлер¹¹⁴.

Таким образом, начало деятельности Общества имело ощущимый резонанс. Статьи из «Фри Раша» часто перепечатывались английскими и другими европейскими газетами, а сам журнал приобрел репутацию одного из лучших источников достоверной информации о внутренних делах Российской империи¹¹⁵.

Публикации «Фри Раша» вызвали острое беспокойство в правящих кругах России. Императорское генеральное консульство в Лондоне информировало департамент полиции о выходе в свет опасного журнала. Оно скупало его номера и переправляло в Россию. В одном из сообщений консульство указало даже перечень английских газет, в которых были перепечатаны статьи из этого журнала¹¹⁶.

Резким нападкам Общество «друзей русской свободы» и лично Р. Спенс-Уотсон подверглись в реакционной русской прессе, в частности в таких органах, как «Новое время» и «Московские ведомости»¹¹⁷.

Создание общества в Англии способствовало усилению движения солидарности с русскими революционерами и в США. В этой стране почва для создания аналогичного общества была в значительной мере подготовлена публикациями и лекциями Дж. Кеннана. Интересу американской общественности к России содействовали и другие причины. Существенное значение имел рост авторитета русской художественной литературы, романов И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и других писателей. Еще в 1883 г. в США был издан в переводе на английский язык роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Его издатель Б. Такер подчеркивал, что эта книга еще больше, чем «Отцы и дети», дает подлинную характеристику русских радикалов¹¹⁸. За поддержкой к американскому общественному мнению обращалась и стоявшая на демократических позициях М.К. Цебрикова. В 1889 г., как уже говорилось, она опубликовала в Женеве

«Письмо к Александру III», в котором гневно обличала самодержавный произвол. М.К. Цебрикова попросила Дж. Кеннана довести содержание ее протеста до сведения американского общества¹¹⁹.

Американская пресса живо отреагировала на известия о жестокостях царских властей по отношению к отправленным в Сибирь политическимсылым. В феврале 1890 г. в Филадельфии прошли митинги солидарности с русскими революционерами. Была подготовлена петиция на имя царя с протестом против насилий над заключенными. По сообщению российского посланника, эта петиция была перепечатана во всех нью-йоркских и филадельфийских газетах¹²⁰.

Идея создания американского Общества «друзей русской свободы» воплотилась в жизнь в апреле 1891 г. В Бостоне состоялись совещания инициативной группы, результатом которых стало образование Общества и публикация обращения «К друзьям русской свободы». В нем содержался призыв к американцам, ценящим право народа на самоуправление и независимость, «помочь тем, кто стремится последовать их примеру». Обращение подписали Т. Хиггинсон, Дж. Хоу, Дж. Кеннан, Марк Твен, Л. Уаймс и др.¹²¹ Предполагалось, что новое Общество установит тесные связи со своим старшим партнером в Англии. Было решено также, что органом Общества станет английский журнал «Фри Раша», некоторые номера которого перепечатывались в Америке.

Таким образом, движение солидарности с русскими революционерами и в Америке вызвало заметный общественный резонанс. В одном из своих памфлетов Степняк сообщал о создании еще одной организации сторонников Общества, в г. Денвере, на западе США, во главе которого встала г-жа Сэкстон, «энтузиаст русского дела»¹²². Значительную общественную поддержку получило в США движение за отказ от подписания договора с Россией о взаимной выдаче политических преступников¹²³.

Все эти события вызывали большую озабоченность царских властей. Департамент полиции стремился собрать все возможные сведения о контактах и перемещениях С.М. Степняка-Кравчинского в США, о реакции американской общественности на его выступления¹²⁴. О своей готовности дать бой лидеру «нигилистов» сообщал российский посланник в США К. Струве¹²⁵. Секретарь русской миссии в Вашингтоне П. Боткин выступил в американской печати со статьями, в которых доказывал, что самодержавие — единственная форма политического строя для России¹²⁶.

Деятельность обществ «друзей русской свободы» оказывала ощутимое влияние на распространение в англо-американской литературе объективных оценок общественно-политической жизни России. В январе 1891 г. Р. Спенс-Уотсон имел основания писать о существенном сдвиге в сознании англичан. «Десять лет назад, — замечал он, — одних слов «русские революцион-

нос движенис» было достаточно, чтобы людей охватил «ужас», теперь же даже влиятельные и популярные английские священники заговорили о необходимости заменить русское правительство¹²⁷.

В 90-е годы XIX в. число «друзей русской свободы» в Англии неуклонно росло. Деятельное участие в жизни Общества приняли многие известные общественные деятели страны: историк Дж. Перрис, писательница Э.Л. Войнич (Буль), Эдуард и Констанция Гарнетт, драматург Б. Шоу и др. Работа Общества становилась все более разнообразной. С 1892 г. оно приступило к изданию памфлетов, посвященных различным вопросам социальной жизни России.

Нельзя думать, конечно, что в те годы в англо-американской литературе возобладали справедливые оценки российского общественного движения. И в прессе, и в книгах все еще было множество явно враждебных характеристик русских революционеров.

По инициативе заграничного сыска в начале 1894 г. в Англии был распространен «Русский меморандум». Его автор, скрывшийся под псевдонимом «Иванов», обвинял Общество «друзей русской свободы» в том, что оно способствует организации «динамитных заговоров» в России. В качестве ответного шага на инсинации русской и британской реакции руководители Общества решили издать книгу «Нигилизм как он есть». В подготовке этого издания приняли участие как русские революционеры-эмигранты, так и их английские друзья. Автором вступительной статьи был Р. Спенс-Уотсон. «Я надеюсь, — писал он, — что эта книга получит широкую и внимательную читательскую аудиторию. Она ясно и просто раскрывает перед читателем состоянис оппозиции в России и дает убедительный ответ диким и смешным извращениям, с которыми постоянно выступают апологеты русского правительства»¹²⁸.

Основу книги составили памфлеты С.М. Степняка-Кравчинского, издававшиеся в периоде Э.Л. Войнич, а также публикации Ф. Волховского «Цепи на русских либералах». Кроме того, в сборнике было помещено письмо Исполнительного комитета «Народной воли» Александру III от 10 марта 1881 г., а также коллективное заявление русских либералов С.М. Муромцева, А.И. Чупрова и В.Ю. Скалона («Записка о внутреннем состоянии России», март 1880 г.), за предоставление текста которого составители выразили благодарность Дж. Кеннану.

Книга была замечена большой прессой Британии. Рецензируя ее, журнал «Сэттердей Ревью» отмечал добросовестность Р. Спенс-Уотсона и его товарищей по Обществу. Автор рецензии, однако, выражал сомнение в том, что такие сочинения могут способствовать развитию «либерализма» в России. Русский народ, писал он, еще не созрел ни для представительного правления, ни для всеобщего избирательного права. Выражая мнение консервативно-либеральных слоев английской буржуазии, журнал подчеркивал, что «истинные друзья России»

хотели бы видеть ее конституционной страной, но только без кровавой революции»¹²⁹.

Изложенная в рецензии оценка революционной деятельности как объективно отрицательного фактора в жизни России была характерна и для основной массы буржуазной литературы того времени, и для правящих кругов Великобритании. С этим пришлось столкнуться и Дж. Кеннану, когда в 1894 г. он предпринял лекционную поездку по Англии. Комментируя его путешествие, русское консульство не без удовольствия сообщало о появлении в газете «Ньюкасл Дейли Кроникл» от 7 февраля 1894 г. статьи под названием «Царь и его народ». Автор, некий Аддисон, фактически оправдывал репрессивную политику царизма и писал: «Напрасно Кеннан обвиняет русские власти в насилии. Если молодые девушки открывают без надлежащего разрешения школы, понятно, они должны подвергнуться ответственности. Что делать с горячими студенческими головами, почти все из которых мечтают стать Кромвеллями?». А если бы, заключал Аддисон, Кеннан был на месте царя, «разве он не поколебался бы дать полную свободу полуобразованному народу, столь зверски умертвившему его отца за то, что тот освободил рабов? Нет, политическое воспитание русского народа должно совершаться постепенно, тем более что мы знаем слишком много примеров злоупотребления свободой в других, более образованных странах»¹³⁰.

И все же, несмотря на консерватизм буржуазной прессы, 90-е годы XIX в. можно считать временем, когда демократические и справедливые оценки российского освободительного движения получили в Англии и США широкое распространение. Ни прежде, ни впоследствии это движение не собирало столько сочувственных откликов и не получало такой нравственной поддержки, как это было в последнее десятилетие прошлого века. Собственно, уже со второй половины 90-х годов наметилось сокращение публикаций с доброжелательной информацией о выступлениях прогрессивных сил в России. Сказалось, конечно, снижение активности Общества «друзей русской свободы», последовавшее после трагической гибели в 1895 г. С.М. Степняка-Кравчинского. Но основная причина заключалась, несомненно, в активизировавшемся к концу века процессе сближения правящих кругов России и Великобритании, где соответственно осложнялись условия деятельности русской революционной эмиграции. Наиболее показательным свидетельством этого стало дело В.Л. Бурцева, издававшего журнал «Народоволец» и осужденного английским судом в феврале 1898 г.

Царское правительство учло благоприятные для себя перемены в политике британских властей. В сентябре 1897 г. российское посольство обратилось в Форин офис с запросом возбудить судебное преследование против издателя «Народовольца», обвиняя последнего в подстрекательстве к убийству царя и царской семьи. При этом посольство напоминало, что в 1881 г. английский суд приговорил к полутора годам каторж-

ных работ редактора И. Моста, приветствовавшего в своей газете царсубийство 1 марта и призывающего повторить подобные акты против других тиранов¹³¹. Изменившуюся политическую конъюнктуру хорошо прочувствовали британские политические чины. Именно они дали понять П.И. Рачковскому, что английские власти готовы пойти навстречу царскому правительству¹³².

Руководители внешнеполитического ведомства Великобритании поддержали инициативу полиции. В октябре 1897 г. Форин оффис обратился с запросом в соответствующие судебные инстанции. Однако судебные власти поначалу сочли, что одного факта публикации журнала еще недостаточно для привлечения Бурцева к ответственности. Но Форин оффис проявил завидное упорство. И после новых запросов британские юристы в конце концов сочли возможным начать судебное преследование. Причем судебные органы извещали дипломатов, что для обеспечения успеха процесса необходимо пригласить из России специалистов, способных представить убедительные доказательства преступной деятельности народовольцев. В случае получения необходимых материалов судебные власти были готовы начать процесс¹³³.

Архивные источники свидетельствуют, что русское правительство немедленно предоставило требуемые материалы¹³⁴. 16 декабря 1897 г. Бурцов был арестован. На следующий день «Таймс» сообщила, что этот тридцатирехлетний эмигрант был обвинен в стремлении воодушевить и убедить своих товарищей пойти на убийство императора России¹³⁵.

Суд состоялся 11 февраля 1898 г. Примечательно, что под предлогом недостатка мест русских в зал заседания не пустили. Приговором суда Бурцов был признан виновным. Но ввиду того что дело было чисто литературное, а редактор «Народовольца» не был замешан в каком-либо покушении, вместо возможных десяти лет, он был осужден на 18 месяцев каторжных работ¹³⁶.

Ухудшение обстановки еще не означало конца деятельности Общества «друзей русской свободы». К участию в нем привлекались новые силы. В «Фри Раша» начали сотрудничать поэтессы А. Сайдук, публицист Э. Нобль, появились первые публикации русских эмигрантов Ф.А. Ротштейна и Д. Соскиса, ряда других общественных деятелей. В журнале печатались разнообразные материалы о русском народе, о его истории и литературе. Можно сказать, что «Фри Раша» оставил определенный след в развитии историографии русского общественного движения. На его страницах систематически печатались библиографические обзоры и рецензии на книги о России.

Острой критике подверглись в «Фри Раша» либерально-консервативные взгляды Д.М. Уоллеса, который, по мнению журнала, слишком пресу величива возможность земской деятельности в рамках царского режима¹³⁷. Критическую оценку получили исторические взгляды Б. Пейрса, ставшего впоследст-

вии крупнейшим буржуазным авторитетом в вопросах российства. В 1910 г. Пейрс заявил, что англичане не желают вмешиваться в отношения России с Финляндией. Резко возражая ему, Дж. Перрис писал: «Но он не имел никакого права говорить от имени большинства англичан, он, вероятно, хуже знает общественное мнение Англии, чем мнение Петербурга»¹³⁸.

Продолжалась и пропагандистская деятельность Общества. В восьмом отчете Исполнительного комитета сообщалось об успехе лекций Ф. В. Волховского и Дж. Грина. Отмечая десятилетие Общества, отчет указывал, что его история свидетельствует о глубокой справедливости и гуманизме начатого дела, о его вдохновляющем воздействии на русских борцов за прогресс и освобождение своей страны¹³⁹.

Определенное значение в распространении объективных сведений об общественной жизни России имела русская библиотека, существовавшая в рабочем районе Лондона Уайтчепеле. Библиотека возникла в июле 1898 г.; ее организаторами были А. Теплов, Л. Гольденберг и А. Дембский. Имеются сведения, что в библиотеку присыпали свои книги Л. Н. Толстой и В. Г. Короленко. В то же время воодушевленное успехом в деле Бурцева российское консульство обратилось в лондонскую сыскную полицию с просьбой оказать содействие в установлении круга лиц — организаторов читальни. Просьба эта была удовлетворена¹⁴⁰.

Английское Общество «друзей русской свободы» стремилось сохранить традиции справедливого освещения внутренней жизни России, и в первые годы XX в. «Фри Раша» продолжал публиковать разнообразные материалы и статьи, преследовавшие неизменную цель — вызвать сочувствие к бурным революционным событиям, потрясшим Российское государство. Члены Общества «друзей русской свободы» приняли участие в движении протеста против визита в Англию в 1909 г. Николая II, их деятельность оказала заметное влияние на создание в 1908 г. парламентского «русского комитета», в который вошли депутаты обеих палат британского парламента. Цель этой организации заключалась «в сборе и распространении достоверной и объективной информации о событиях в России, и особенно о прогрессе русского конституционного движения, а также в развитии дружеских связей со всеми русскими людьми, работающими для улучшения социального и политического положения своей страны»¹⁴¹.

Летом 1907 г. члены Общества «друзей русской свободы» энергично протестовали против нападок реакционной английской прессы на состоявшийся в Лондоне V съезд РСДРП. Один из членов ОДРС, Г. Брейлсфорд, организовал заседание, который Джозеф Фэлс предоставил социал-демократам в связи с провлением съезда¹⁴².

Задачи и позиция Общества «друзей русской свободы» остались неизменными до самого конца его деятельности, хотя

по мере приближения мировой войны работать ему становилось все труднее. Тяжелой утратой для Общества стала смерть в 1911 г. его подлинного лидера Р. Спенс-Уотсона. Тем не менее даже в своем предпоследнем номере «Фри Раша» продолжал энергично протестовать против преследований политических заключенных в России. Журнал напоминал, что описанные Дж. Кеннаном четверть века назад условия сибирской ссылки вызвали бурю возмущения в Западной Европе. Однако мир сталкивается с еще более жестокими репрессиями русских властей, поэтому необходимо усиливать давление на царизм со стороны общественного мнения Европы¹⁴³.

Общества «друзей русской свободы» сыграли, несомненно, большую положительную роль в развитии прогрессивной литературы об освободительном движении в России; их история достойна уважения и доброй памяти¹⁴⁴. Придет день торжества, писал «Фри Раша», и свободная Россия запомнит, что Англия и Америка были странами, деятели которых поддержали ее в дни испытаний¹⁴⁵.

Участие в деятельности Общества стимулировало у его членов рост стремлений к борьбе с несправедливостью в собственных странах. Благотворное воздействие связей с русскими революционерами испытали на себе У. Моррис, Э.Л. Войнич и другие общественные деятели Англии. В Америке вступившие в Общество Дж. Уиттер и Дж. Лоузл писали также о собственных «грехах», «творящихся поближе, чем в России»¹⁴⁶. А близкий к реакционным кругам публицист У. Стэд с горечью отмечал, что пример русских борцов оказывает свое влияние на британских рабочих. «Угрозы «дайте им понюхать Петербург», — замечал он, — то и дело слышны на митингах безработных»¹⁴⁷.

К началу XX столетия деятельность революционно-народнической эмиграции в Англии и США стала постепенно угасать. В самой России в авангард освободительной борьбы выходил пролетариат, руководимый социал-демократией. Английская и американская публицистика начала уделять преимущественное внимание новым явлениям в общественной жизни России, о событиях 60–80-х годов буржуазная пресса вспоминала все реже. Только первая русская революция на некоторое время оживила интерес буржуазных авторов к ранним этапам освободительной борьбы против царизма. Появилось несколько исторических сочинений, среди которых особый интерес вызывает книга английского публициста, участника Общества «друзей русской свободы» Дж. Перриса «Пионеры русской революции». Книга представляет собой очерк истории русского революционного движения 70-х – начала 80-х годов XIX в. Автор подчеркивал прогрессивность революционно-народнического движения, именовал его «великим пробуждением русского народа». Однако понимание причин российского общественного движения имело у Перриса искоменный налст либерализма, близкого тому, идеи которого отстаивал

русский историк В.Я. Богучарский. Перрис утверждал, например, что только репрессии правительства привели к переходу народников от «невинной просветительской деятельности» к политической борьбе¹⁴⁸. Автор не сумел понять классового содержания революционного демократизма, однако высказывал безусловную убежденность в его закономерности и исторической справедливости.

С более консервативных позиций написаны работы Дж. Фрэйзера. С одной стороны, в его сочинениях заметно влияние трудов Дж. Кеннана. Фрэйзер даже считал необходимым подтвердить правоту наблюдений американского исследователя Сибири¹⁴⁹, но в целом он был далек от сочувствия русским революционерам. Фрэйзер всячески стремился доказать специфичность исторического развития России. Русские, заявлял он, не похожи на британцев и, несмотря на некоторый налет цивилизации, представляют по существу восточный тип общества. Рассадниками оппозиционности в России стали, по мнению Фрэйзера, университеты, в которых сосредоточились носители совершенно чуждой стране и ее народу прозападной культуры. Сентиментальные, эмоциональные и вообще психологически неустойчивые русские юноши, писал он, принялись жадно поглощать учения К. Маркса и других знаменитых социалистов. «Создав такой класс, правительство слишком поздно обнаружило, что оно породило критикующее и недовольное чудовище», — утверждал Д. Фрэйзер¹⁵⁰.

По мере приближения первой мировой войны буржуазная печать Англии и США стала реже публиковать критические материалы о внутреннем строе России. Напротив, все настойчивее зазвучали голоса сторонников сближения с царизмом. Английские и американские публицисты заговорили о «гуманизации» самодержавия, о либерализации политических порядков в России. Резко сократилось число позитивных высказываний о революционных и даже либеральных противниках царизма. Так, Дж. Хьюм, английский коммерсант, долгое время проживший в России, в своей книге всех революционеров безоговорочно именовал «террористами» и «нигилистами», готовыми пойти на любое насилие, лишь бы свергнуть существовавшее правительство. Самодержавие, по мнению автора, все больше попадало под влияние либералов и дело шло к мирному преобразованию авторитарской системы¹⁵¹. Подобные оценки содержали своего рода моральное оправдание союза респектабельной британской буржуазии с военно-полицейским режимом русского царизма.

Прямыми ответом на позицию правящих кругов Англии и США стало появление откровенно панегирических трудов об общественно-политическом строе России. В 1916 г. была опубликована обширная книга Ч. Сароли «Европейский долг России». Автор доказывал, что долгое время в Англии многие люди отрицательно относились к царизму. К сожалению, замечал он, историки и публицисты больше внимания обращали на сенсацион-

ные процессы, а не на последовательное развитие русской истории. По его мнению, отчасти виноваты в этом и русские революционеры, сделавшие Лондон местом постоянных политических заговоров. Англичанам, заявлял Сароли, слишком много наговорили о сибирских ужасах, но слишком мало рассказали о прогрессе цивилизации в России, о просветительской миссии царизма и в своей стране, и за ее пределами. Русское правительство, уверял автор, давно перестало быть деспотическим. Борьбу же «нигилистов» Сароли характеризовал как исключительно наносное явление, ни в коем случае не отвечавшее действительным потребностям русского народа¹⁵². Аналогичные высказывания были характерны для Ст. Грэхема, автора известных впоследствии работ о России пореформенного времени. В общественном строе России, по мнению Грэхема, не было почвы для развития социальных противоречий. Царизм, считал он, базируется на коллективизме русской крестьянской жизни. Нравственные характеристики такого строя оценивались Грэхемом выше индивидуализма коммерческого Запада¹⁵³.

Сходные суждения высказывали и крупнейшие американские российеведы начала XX в. С. Харпер и Ч. Крайн. Оба исследователя исходили из признания царизма специфической формой государственного правления, опиравшейся на традиции патриархальной жизни народа. Революционное движение они оценивали резко отрицательно, считая, что оно шло вразрез с подлинными потребностями развития страны¹⁵⁴.

В целом же количество англо-американских публикаций, посвященных общественно-политической жизни России, в начале XX в. было невелико, а качество их осталось на крайне низком уровне. К числу серьезных в научном отношении работ можно отнести, пожалуй, лишь вышедшую в 1915 г. в Нью-Йорке книгу Дж. Геккера, посвященную развитию социально-политической мысли в России. В своем исследовании автор широко использовал произведения русских общественных деятелей, в том числе и теоретиков народничества – П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского и др. Русская социология, подчеркивал он, являлась «истинно русской, поскольку она была в основе своей вызвана к жизни проблемами, определявшими общественно-политическую жизнь этой нации». В книге есть заслуживающие внимания наблюдения о причинах развития субъективной социологии народниками 1870-х годов, освещены важнейшие этапы в развитии русской общественной мысли. И все же работа Геккера не вышла за рамки буржуазно-либеральной историографии того времени. Автор подчеркивал зависимость русской социологии от теоретических достижений западной мысли и вместе с тем исходил из признания исключительно интеллигентской природы оппозиционных движений в России¹⁵⁵.

Недостаток собственных исследований частично покрывался публикацией переводных работ. До Октябрьской революции в США были изданы на английском языке исторические сочинения П.И. Милюкова, В.О. Ключевского, А.А. Корнилова¹⁵⁶. Выбор

этих авторов был, разумеется, не случайным. Умеренно-либеральные труды русских историков становились важнейшим теоретическим источником зарождавшегося на Западе буржуазного российства.

Таким образом, в дооктябрьский период в Англии и США накопилась весьма обширная и чрезвычайно пестрая литература, посвященная общественно-политическому движению в пореформенной России. Правда, специальных исторических исследований было написано мало, преобладали работы очеркового характера или публицистические выступления. Тем не менее значение этой литературы нельзя недооценивать. Уже в конце XIX – начале XX в. выявился различный подход буржуазных исследователей к оценке русского освободительного движения, стали формироваться их общие идеинные позиции по этой проблематике, началась борьба реакционных и прогрессивных концепций, хотя до попыток их научной аргументации было еще весьма далеко.

2. Общественное движение в капиталистической России в английской и американской литературе с 1917 г. до конца 1940-х годов

После победы Великого Октября резко усилилась политическая заостренность работ западных буржуазных авторов, затрагивавших различные вопросы общественно-политической истории России.

Оценка революционного прошлого нашей страны реакционной западной литературой определялась непримиримо враждебным отношением буржуазных авторов к социалистическим преобразованиям. На книжный рынок Англии и США хлынул поток литературы, авторы которой стремились очернить характер и значение происходивших в России событий. О второй половине XIX в. заговорили как о времени зарождения тех «зловещих» бурь, которые потрясли мир в 1917 г. В то же время многие буржуазные авторы утверждали, что в 60–70-х годах XIX в. царское правительство имело возможность предотвратить развитие революционного движения, но не воспользовалось ею. Так, английский дипломат Дж. Бэдли в своей книге заявил, что в эпоху Александра II правительство легко могло справиться с революционным брожением с помощью крутых и решительных мер¹⁵⁷.

В те годы в политический лексикон западных «специалистов по русскому вопросу» вновь вошел термин «нигилизм». Так, Р. Лонг, бывший в 1917 г. корреспондентом агентства Ассошиэйтед Пресс в России, в одной из своих работ отмечал, что в русской революции проявилось глубоко укоренившееся пред-

убеждение народа против дисциплины и устоявшихся порядков. Ход событий с марта 1917 г. автор характеризовал как нараставшее торжество «нигилизма». Отождествляя нигилизм с политическим насилием, Р. Лонг видел прямую преемственность между событиями 1 марта 1881 г. и Октября 1917 г.¹⁵⁸ Буржуазная пресса западных стран широко культивировала такие оценки. Спустя десятки лет после Великого Октября во Франции, например, многие люди продолжали именовать русских революционеров «нигилистами». «Ко всему, — вспоминал И.Г. Эренбург, — француз узнавал, что «нигилисты» имеются даже среди «бояр»; это его окончательно убеждало в существовании какой-то особой «славянской души», этой душой он объяснял все последующие исторические события»¹⁵⁹.

Важно отметить, что с самого начала суждениям буржуазной прессы противостояли оценки прогрессивных зарубежных деятелей, не скрывавших своих симпатий к Советской России¹⁶⁰. Блестящим примером объективного освещения революционных событий в России остается знаменитая книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». «В борьбе, — писал ее автор, — мои симпатии были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину»¹⁶¹. Но именно для борьбы против истины реакционные круги США и Англии мобилизовали весь свой громадный пропагандистский аппарат. Сочувствующие русской революции подвергались жесточайшим гонениям.

В таких политических условиях начинало складываться в самостоятельный историографический комплекс буржуазное российеведение, в состав которого вошло и описание социально-политических процессов в России второй половины XIX в. Одним из признанных в буржуазных кругах авторитетов в этой области стал уже упоминавшийся английский историк Б. Пейрс, в годы гражданской войны находившийся в Сибири при армии Колчака. Его труды по истории дореволюционной России, появившиеся в 20-е годы нашего века, многократно переиздавались в Англии и США.

История русского революционного движения освещалась Б. Пейрсом с позиций правобуржуазного либерализма. Восхваляя политический строй буржуазной Англии, он не скрывал своего осуждения самодержавного деспотизма и признавал необходимость социально-политической и культурной трансформации России. Однако революционный путь Б. Пейрс безоговорочно отвергал. По его мнению, реформы 60-80-х годов XIX в. продвигали Россию по пути подлинного прогресса, а законопроект М.Т. Лорис-Меликова обещал стать «огромным шагом» к триумфу принципов представительства, и только действия народовольцев 1 марта 1881 г. испортили все дело¹⁶².

Работы Б. Пейрса (как и других либеральных историков) носили весьма умозрительный характер и должным образом не учитывали конкретно-исторических условий России. В то же

время они оказали заметное воздействие на позднейшую буржуазную историографию общественно-политической жизни России. Значение идей Пейрса, писал в предисловии к изданию его книги «Россия между реформой и революцией» американский историк Ф. Рэнделл, состоит в обосновании альтернативности русской революции, в доказательстве ее исключительного вреда прогрессу России, в убежденности, что единственно разумный путь развития страны отстаивали либералы¹⁶³. Концепция Б. Пейрса сложилась под сильным влиянием воззрений русских кадетов, и в частности П.Н. Милюкова, с которым английский историк был дружен во время своей дипломатической службы в царской России. Можно сказать, что Пейрс продолжал развивать либерально-консервативные взгляды, отчетливо выраженные еще в трудах Д. Мекензи Уоллеса или А. Леруа-Болье. К сочинениям Пейрса был близок по духу и широко известный на Западе труд Т. Масарика «Дух России», английское издание которого вышло в свет в 1919 г.¹⁶⁴

Упрочение Советской власти и начало социалистического строительства в СССР имели громадное международное значение. Среди буржуазных историков Англии и США нарастало стремление перейти к систематическим исследованиям предыстории русской революции. О начале координации научных сил свидетельствовало создание англо-американского периодического издания, посвященного комплексному изучению России и славянского мира, — журнала «Славоник Ревью», первый номер которого вышел в 1922 г. В нем была опубликована обзорная статья английского историка Г. Чесира, посвященная русской демократии 1860-х годов. Автор в общем сочувственно, хотя и очень поверхностно, писал о прогрессивных деятелях эпохи реформ. Он осуждал неумеренные гонения царизма на передовую молодежь и подчеркивал, что выдвижение на арену борьбы разночинцев с их настойчивыми требованиями социальных преобразований ознаменовало начало нового периода русской истории¹⁶⁵. Публикация такой работы свидетельствовала о сохранении не только либерально-консервативного, но и либерально-объективистского подхода к событиям в России.

Сильный толчок развитию западного буржуазного российеведения дали белоэмигранты, ставшие в 20—30-е годы в Англии и особенно в США наиболее многочисленным отрядом «экспертов по России»¹⁶⁶. Работы белоэмигрантов стали органической частью англо-американской русистики и советологии, на многие годы определили развитие основных направлений западной историографии. Среди таких работ статьи Ф. Родичева, оказавшие заметное влияние на англо-американскую историографию российского либерализма. Автор ставил знак равенства между понятиями «либерализм» и «демократизм» и рассматривал земства как лучшую школу политического воспитания масс. Беды России Родичев усматривал в тупости царизма и в «безответственном экстремизме» радикальных элементов общества¹⁶⁷.

Особую роль в развитии на Западе исследований российско-

го общественного движения сыграли работы близкого в свое время к кадетам М.М. Карповича, с 1927 г. возглавившего изучение истории России в Гарвардском университете США¹⁶⁸. Его перу принадлежит немало работ, но его значение в западной буржуазной историографии определялось ролью инициатора и организатора многих исследований, а также руководителя подготовкой специалистов по истории капиталистической России.

М.М. Карпович был апологетом либерального пути общественного развития и считал, что революционное движение помешало естественному прогрессу России в сторону буржуазного строя. О революционной демократии 60–70-х годов XIX в. он писал как о первом этапе в становлении специфически русской интеллигентской революционности. Повышенную политическую активность русских интеллигентов Карпович объяснял неразвитостью социальной структуры России, отсутствием в ней сильного «среднего класса», т.е. буржуазии. Вместе с тем ответственность за нарастание революционного движения он возлагал на правящие круги России, оказавшиеся неспособными «оценить мудрость политики, которая сумела бы путем реформ предотвратить революцию»¹⁶⁹.

М. Карпович был одним из первых на Западе историков, стремившихся отыскать идейные источники большевизма в учении П.Н. Ткачева, в так называемом якобинском направлении русского революционного движения¹⁷⁰. В оценке общественно-политических явлений, писал американский историк М. Малиа, он умел отличать «благородные устремления» от «разрушительных средств» достижения целей. Эти либерально-буржуазные идеи русского профессора-эмигранта нашли весьма благоприятную почву в академических кругах США.

Благодаря активной деятельности эмигрантов (кроме М. Карповича следует назвать М. Флоринского, Г. Вернадского, С. Пушкарева) в довоенные годы существенно выросло число опубликованных в Англии и США работ по истории до-революционной России. Появились весьма влиятельные авторитеты, группировавшиеся вокруг себя целые коллективы единомышленников. В США, например, к 1936 г. историю нашей страны уже изучали в 33 университетах. Заметной фигурой американского буржуазного россииеведения стал У. Чемберлин, автор многочисленных работ по истории Октябрьской революции. В своих трудах он уделял особое внимание эволюции российского либерализма и в значительной мере определил характер оценок его слабости. Работы У. Чемберлина буржуазными историками до сих пор считаются образцом «беспристрастного» исторического исследования русской революции¹⁷¹.

В Англии крупным авторитетом в области россииеведения стал Э. Карр. Основные исследования этого историка были посвящены Октябрьской революции, но были и работы по другим вопросам общественного движения в преобразованной России. Исследования Э. Карра отличало стремление к беспристрастно-

му, объективному освещению фактической стороны изучаемых событий. Революционно-демократическое движение он считал в целом положительным фактором в борьбе за социальный прогресс России¹⁷². В довоенное время Э. Карр стал, несомненно, лидером исследователей либерально-объективистского толка. Смысл революционного движения он видел в столкновении радикальной интеллигенции с правительством, а начало его выводил из ее разочарования в реформах Александра II. Ставшие неизбежными после Крымской войны преобразования, подчеркивал Карр, раскололи русское общество. Одна его часть вполне удовлетворилась, зато у других только разгорелись аппетиты. Радикалы почувствовали, что самодержавие начало колебаться и, следовательно, «подошло время потребовать далеко идущих уступок»¹⁷³. В работах Э. Карра не проводился анализ классового содержания и конкретно-исторической определенности различных общественно-политических течений.

На близких Э. Карру позициях стоял и известный английский историк Б. Самнер, автор обобщающих работ по истории нашей страны. С его точки зрения, решающее значение в развитии России имел вопрос о ее взаимоотношениях с Западом. Автор призывал отказаться от одностороннего освещения этих взаимоотношений. Россия, подчеркивал он, не только испытывала воздействие западных влияний, но в свою очередь и оказывала большое влияние на европейские страны. Однако при объяснении особенностей русской общественной мысли Самнер допускал явное упрощение. Самое существенное в ней он усматривал в том или ином отношении к западной модели развития. Классовый подход подменялся абстрактными рассуждениями о западничестве или самобытности той или иной доктрины¹⁷⁴.

В США до второй мировой войны крупные работы по истории дореволюционной России появлялись редко. Кроме эмигрантских историков наиболее продуктивно работал, пожалуй, лишь Г. Робинсон, автор основательных исследований по истории аграрных отношений в России во второй половине XIX в.¹⁷⁵ Элементы исторического анализа, имеющие отношение к нашей теме, содержались в ряде литературоведческих работ Р. Мэтьюсона, Д. Мирского, М. Слонима.

В целом же исследовательский уровень довоенных работ зарубежных авторов значительно не поднялся. Сюжетно разноплановые сочинения отличались описательностью и одновременно слабым знанием фактической стороны событий, бедностью источниковой основы. Выводы зачастую носили безапелляционный, но совершенно бездоказательный характер. Так, С. Грэхем убеждал читателя, что революционное движение в России есть проявление какой-то аномалии в ее общественном развитии. 60-70-е годы XIX в. автор назвал периодом «нигилизма» и от этого последнего повел линию прямой интеллигентской связи с революционным марксизмом. «Если бы, — писал Грэхем, — ин-

теллектуала того времени спросили, чего же он в конце концов хочет, то он бы ответил: видеть Россию свободной от предрассудков, сытую, с хорошими жилищами, просвещенную, со справедливыми отношениями между людьми, мирную и счастливую»¹⁷⁶. Но эти наивные мечтатели-утописты, отмечал автор, не задавались вопросом о возможности всего этого и, следовательно, только мешали правительенным усилиям преобразовать страну.

Положение дел несколько изменилось в годы войны. Улучшение отношений Англии и США с СССР привело к сокращению недоброжелательных публикаций о русской общественно-политической истории. Напротив, заметно усилилось стремление к объективному исследованию освободительного движения в России. «Сейчас, — писал в 1944 г. английский историк Д. Футмен, — когда Западная Европа готова признать значение русской революции как фактора в истории человечества, пришло время для изучения «Народной воли»...»¹⁷⁷ Его книга «Красная прелюдия» (о жизни и деятельности А.И. Желябова) свидетельствует о неплохом знании опубликованных источников и о сочувственном понимании борьбы революционеров. И хотя в своих выводах он не пошел дальше либерально-буржуазной концепции, его труд выгодно отличается от многих реакционных публикаций довоенного времени.

Революционному движению в пореформенной России была посвящена и одна из первых работ Ф. Бархуна, известного впоследствии реакционного буржуазного советолога. Но в годы войны он писал о русских революционерах сдержанно, избегая предвзятых оценок. Проблему формирования народнического социализма он связывал с развитием капитализма в России, с усилением среди русской интеллигенции стремлений предотвратить утверждение в стране буржуазных отношений¹⁷⁸. Однако объективного смысла общественно-политических идей автор не выявил, принципиального различия между народническим и научным социализмом, с его точки зрения, нет.

Конечно, откровенно реакционные труды печатались в Англии и США и во время войны. Переиздавались и работы некоторых белоэмигрантских историков, в том числе тех, кто остался открытым противником Советской власти. И все же за первые тридцать лет существования Советской власти английская и американская буржуазная историография еще не проявляла устойчивого и, главное, систематического интереса к истории общественно-политических движений в России второй половины XIX в. Освещение отдельных вопросов темы либо носило случайный, спорадический характер, либо целиком подчинялось задачам обоснования буржуазных концепций истории Великого Октября. И в выборе темы, и в методах ее решения очень многое зависело от личной инициативы и склонностей отдельных исследователей. Всестороннего охвата изучаемой проблематики еще не существовало.

3. Современная англо-американская литература. Ее основные направления и методология исследований

Укрепление авторитета и могущества СССР в результате победы в Великой Отечественной войне, последующие изменения на мировой арене привели к несбыточному преследованию интереса западных историков к России вообще и к традициям ее общественно-политической жизни в частности. Россия, писал, например, видный английский историк, бывший руководитель лондонской школы славянских и восточноевропейских исследований Х. Ситон-Уотсон, «интересует меня как страна революционных традиций», оказывающая все более мощное воздействие на современный мир¹⁷⁹.

В послевоенные десятилетия в Великобритании и США (как и в ряде других западных стран) возникли многочисленные исследовательские центры и институты, специально занимающиеся изучением истории нашей страны. Неизмеримо выросли и продолжают расти масштабы публикаций, щедро субсидируемых частными и правительственные фондами¹⁸⁰. Быстро росли темпы профессиональной подготовки кадров историков. В США, например, в конце 50-х годов курсы по истории СССР были в планах 50% исторических факультетов, в 1980 г. — 77%. 228 факультетов к середине 80-х годов имели специализацию по истории России до 1917 г. и 230 факультетов — по истории СССР после 1917 г.¹⁸¹ Усилия многих специалистов были направлены на обоснование и развитие буржуазных концепций предыстории Великого Октября. «После второй мировой войны, — отмечал Ф. Рэнделл, — английские и американские исследователи приняли значительно более широкую, чем прежде, программу изучения СССР и значительно больше внимания стали уделять идеологии и идеям истокам коммунизма...»¹⁸² Американский историк Ф. Помпер также подчеркивал, что «значительный момент в развитии на Западе исторических исследований русского революционного движения наступил в 1950-х годах»¹⁸³.

Свой отпечаток на развитие буржуазного россиведения наложила «холодная война». В литературе конца 40-х — 50-х годов возобладали работы, в которых Россия характеризовалась извечно деспотической страной. В русском обществе, уверял, например, Я. Кухаржевский, всегда существовала благоприятная почва для развития экстремистских и мессианских-агрессивных идей¹⁸⁴. Понятно, что для таких выводов не требовалось ни глубоких знаний предмета, ни внимательный анализ источников.

Книжный рынок западных стран захлестнуло половодье анти-советской литературы, в том числе и исторического жанра. О русском революционном движении писали как о зловещем феномене, таившем угрозу для всей буржуазной цивилизации.

В буржуазной литературе тех лет настойчиво звучал мотив о принципиальной противоположности исторических судеб России и Запада, о всякого рода «загадочных путях» русской истории, предопределивших ее особую революционность¹⁸⁵. Широчайшее распространение получили поиски и «открытия» теоретических и идейных корней большевизма. В показательной для того времени книге Р. Пейна утверждалось, что склонность к экстремизму и террору – это качество, присущее русским политическим деятелям. «Без понимания террористического движения, – уверял автор, – нельзя понять подъема русского коммунизма»¹⁸⁶. Наибольшее распространение получили попытки отождествить ленинизм с бланкизмом, смоделировать особую «антидемократическую линию» в русском революционном движении¹⁸⁷.

В годы «холодной войны» тон в буржуазном российседении задавали американские авторы. Число работ, публиковавшихся в Англии, заметно уступало числу американских. И на характере английской историографии «холодная война» сказалась в несколько меньшей степени, чем на американской, хотя и в ней не было недостатка в работах с явным привкусом антисоветизма. Советским исследователям известны, например, труды Л. Шапиро, немало позаимствовавшего из теоретического багажа русских меньшевиков. Однако и в условиях безусловного преобладания сочинений открыто реакционного толка в западной историографии и в 50-е годы появлялись работы, в которых содержались элементы объективного, реалистического подхода к изучению русской истории. К числу таких работ следует отнести исследования Е. Лампера о революционно-демократическом движении 60–70-х годов XIX в. Интересен труд Дж. Майера «Знание и революция», раскрывающий историю цюрихской колонии русской народнической эмиграции¹⁸⁸. Благоприятное впечатление оставляет солидное исследование Дж. Блюма, посвященное социально-экономическому положению русской пореформенной деревни. Слабость западной историографии, замечал Блюм, в фактическом игнорировании глубокой связи философских и политических учений с условиями экономического развития России¹⁸⁹.

Большой популярностью пользуется на Западе капитальное исследование о русском народничестве, написанное итальянским историком Ф. Вентури и впервые опубликованное в Италии в 1952 г. Объем привлеченного материала, весьма скрупулезный анализ идейной жизни и практической деятельности русского народничества выгодно отличают этот труд от многих других работ. Работа Вентури оказала несомненное воздействие на англо-американскую историографию. В 1960 г. она была переведена на английский язык. Широкому распространению книги Вентури способствовала не только высокая исследовательская культура автора, но и достаточно умелое отстаивание позиций буржуазного либерализма. Свои методологические принципы Вентури открыто противопоставлял марксистско-ленинским

нинской исторической концепции. Он отрицал классовую обусловленность освободительного движения в России. Революционная демократия в его трактовке — это прежде всего интеллигентское движение¹⁹⁰. Тем не менее работа Ф. Вентури до сих пор сохраняет значение фундаментального труда высокого профессионального уровня, одного из лучших исследований российской истории XIX в.

Объектом систематических исследований англо-американских историков общественно-политическая история дореволюционной России стала в последнюю четверть нынешнего века. Буржуазное россиведение за рубежом приобрело большие масштабы. Помимо американского специалиста Дж. Доссика, число докторских диссертаций, посвященных России и защищенных в американских, канадских и британских университетах за 1960–1975 гг., втройне превосходило количество таких работ, подготовленных за первые шестьдесят лет нынешнего столетия. Причем около половины диссертаций (или почти 1300) в указанное время посвящалось истории нашей страны, ее политике и международным отношениям¹⁹¹.

В настоящее время современные западные исследователи обращаются практически ко всем сколько-нибудь значительным периодам дореволюционной российской истории, начиная от Киевской Руси. В самостоятельную область выделилась так называемая советология, объектом которой стали история, политика, экономика и культура СССР. В разнообразной тематике современных буржуазных исследований крупное место занимают и вопросы истории общественного движения в России первых пореформенных десятилетий.

Устойчивый интерес к эпохе 60–80-х годов XIX в. объясняется рядом причин. Прежде всего указанные десятилетия привлекают внимание буржуазных авторов, занятых поисками истоков и смысла русской революции. Абсолютное большинство английских и американских авторов полагает, что именно в пореформенную эпоху начались сложнейшие социальные и политические процессы «модернизации» России, следствием которых стало крушение самодержавия, а затем и буржуазного строя. Коренная причина русских революций, заключал А. Адамс, состояла в том, что царизму не удалось быстро и в полном объеме адаптироваться к переменам, начавшимся с 1861 г.¹⁹²

Западные исследователи много пишут о переломном характере преобразований 60–70-х годов XIX в. Однако отмена крепостного права и связанные с этим актом реформы оцениваются ими не как рубеж между феодальной и капиталистической Россией, а как начало широкой и лишенной классового смысла «трансформации» страны в сторону «динамичного» типа общественного развития. «Значение 1861 г. для социальной истории России, — писал С. Блэк, — состоит в том, что он означал удобную точку разграничения между по преимуществу аграрной и по преимуществу индустриальной эпохами в России»¹⁹³. Революции 1917 г., индустриализация и колони-

тивизация, осуществление пятилетних планов рассматривались зарубежными советологами только как звенья в проведении такой «трансформации». В социально-экономических и политических процессах пореформенной России буржуазные авторы часто усматривали ключ к пониманию советской действительности. Как полагал Дж. Блюм, специфика сельского строя Советского Союза не может быть понята без анализа аграрных отношений в России второй половины XIX в. Колхозное крестьянство, заявлял он, продолжает выполнять по отношению к государству ту же функцию, какую выполняли сельские общины после «освобождения» 1861 г.¹⁹⁴

Современные историки Запада проявляют повышенный интерес к особенностям общественно-политической жизни капиталистической России. В буржуазной историографии прочно утвердилось мнение о том, что характер любых оппозиционных выступлений в нашей стране определялся противоборством интеллигентии с самодержавием, а начало такого противоборства относится, как правило, ко времени падения крепостного права. Россия XIX в., считал Я. Уолкин, представляла собой государство без «общества» (в свойственном «либеральным» странам Запада смысле слова). Крохотный слой «интеллигентии», занявший промежуточное положение между бюрократическим аппаратом и массой народа, стал единственным носителем российской оппозиционности. Возникшая, по мнению автора, в пореформенной России расстановка социальных сил предопределила развитие революционных и либеральных выступлений вплоть до Октябрьской революции¹⁹⁵. Подобный подход характерен для абсолютного большинства современных западных российевдов. Царизм характеризуется ими как режим, вынужденный начать «модернизацию» страны, но не сумевший справиться со всеми ее последствиями. Своими мерами, утверждал Дж. Биллингтон, Александр II навсегда покончил со статичным аграрным прошлым России. Но ни он, ни его последователи оказались не способны определить, какие общественные формы вызовет процесс модернизации¹⁹⁶.

Западные буржуазные историки, таким образом, рассматривают прошлое нашей страны сквозь призму негативных оценок Великой Октябрьской социалистической революции. Причем это не мешает большинству из них оценивать результаты революции как не отвечающие надеждам революционеров, как нечто противоположное их мечтаниям. Данное обстоятельство, заявил американский историк А. Глисон, наложило печать неизбежной иронии на его понимание российских революционных деятелей XIX в. Неблагоприятные оценки исхода революции, подчеркивал он, предопределили скепсис буржуазных исследователей по отношению к «щедрому утопизму русских интеллектуалов»¹⁹⁷.

Логике диалектико-материалистического анализа современная буржуазная историография противопоставляет методологическую пестроту, так сказать, теоретический плюрализм. Среди западных авторов очень распространено стремление к так

называемой свободе от «диктата методологии». Упрекая советских исследователей в пристрастии к материалистическому теоретизированию, многие буржуазные историки демонстрируют откровенный эмпиризм, бесстрастное описательство. «Я изучаю период 1881–1892 гг., — писал, например, И. Наймарк, — и делаю это только в контексте самого этого периода, отвлкся от оценок 1917 г. или еще более далских перспектив»¹⁹⁸. Как справедливо указывали советские авторы, такой подход ведет к фактическому отказу от признания исторического детерминизма и «открывает буржуазным историкам удобный путь излюбленного ими «поиска ошибок», альтернатив действительному ходу событий»¹⁹⁹. На деле же призывы к свободному от методологии описанию сводятся в итоге к целеустремленному доказательству случайного или локального характера русского революционного движения. С. Пушкарев, например, решительно отказывался искать в нем какие-либо исторические закономерности. «В своем изложении, — писал он, — я стремлюсь быть совершенно объективным «докладчиком», но не прокурором и не адвокатом нашего исторического прошлого; я не окрашиваю его ни в черный, ни в нежно-розовый цвет; я не стараюсь втянуть факты нашей истории в рамки какой-либо историографической или социологической схемы, — я даю лишь фактическое изложение исторических событий и описание политического и социального строя в каждом периоде»²⁰⁰. Точно так же Х. Ситон-Уотсон объявил, что его цель заключается в рассмотрении фактов без всякого морализирования и без раздачи «плохих и хороших оценок персонажам драмы», без отнесения их к «прогрессивному» или «реакционному» лагерям²⁰¹. Однако было бы наивно полагать, что названные авторы действительно открывают перед читателем полные возможности для собственных объективных выводов. Все свое изложение Пушкарев строил так, чтобы показать неизбежность перерождения русского революционного движения в беспричинное насилие и терроризм, а Х. Ситон-Уотсон всячески стремился показать «неограниченность» общественного развития России. Американский историк М. Белов заметил, что в основе отношения Ситон-Уотсона к России и русским людям лежит глубокое чувство антипатии²⁰².

Политические симпатии и антипатии буржуазных авторов отчетливо просматриваются даже в самых «беспричастных» исследованиях. Но методологический арсенал англо-американского россисведения не ограничивается позитивизмом и голым эмпиризмом. Во многих работах предпринимаются весьма настойчивые усилия повлиять на мировоззренческие позиции читателей. Усилия эти весьма разнохарактерны, что, кстати сказать, выдается за большое достоинство буржуазной исторической науки.

В данной книге нет необходимости давать исчерпывающую оценку философских основ англо-американской историографии. Однако рассматриваемый далее материал убеждает, что теоре-

тический плюрализм современных буржуазных исследований своим острием направлен против диалектико-материалистической методологии познания социальных явлений. Зарубежные буржуазные авторы с редкостным единодушием восстают против классовых критерии в оценках общественно-политической жизни России. В основной своей массе они освещают историю нашей страны, исходя из политических потребностей сегодняшнего дня. Отвлекаясь от классового содержания объектов изучения, буржуазные исследователи произвольно модернизируют историю освободительной борьбы в России, ведут бесконечное конструирование параллелей и сопоставлений, направленных в конечном счете на реализацию собственных классовых задач.

Противопоставляя марксистско-ленинской историографии субъективно-идеалистическую методологию, буржуазные авторы демонстрируют весьма широкий спектр исследовательских методов и приемов. В последние годы, в частности, резко усилилось применение психоанализа в исторических исследованиях²⁰³. Опираясь на бихевиоризм, фрейдизм и им подобные школы, многие англо-американские историки подчеркивают иррациональные начала в действиях оппозиционных сил дореволюционной России, и в частности интеллигентской молодежи. Усилился поиск стереотипов поведения тех или иных социальных слоев в разные эпохи и в разных странах. Появились броские сопоставления (например, Боб Дилон — «Добролюбов нашего времени»). При этом такие категории, как «молодежь», «интеллигенция», «радикализм», «нигилизм» и т.п., понимаются абстрактно, вне связи с конкретной исторической средой. Систематические нарушения принципа историзма являются неизменным спутником современных буржуазных исследований.

Усиленная психологизация англо-американского россиведения вызвала появление значительного числа биографических работ, посвященных деятелям общественного движения 60–80-х годов XIX в. В Великобритании и США опубликованы целые серии книг о Н.Г. Чернышевском, А.И. Герцене, П.Н. Ткачеве, П.Л. Лаврове, М.А. Бакунине, Н.А. Милутине, К.П. Победоносцеве, Александре II и о многих других персонажах русской истории. Их авторы претендуют на то, чтобы «очеловечить» историю нашей страны, избавить ее от якобы ненужных социологических схем. При этом подробно описываются интимная жизнь и внутренний мир героев, их семейные драмы, круг чтения, различные житейские коллизии. Надо признать, что многие зарубежные исследования читаются с большим интересом. Своебразие буржуазной историографии проявляется и в отборе изучаемых фактов, в выборе предмета исследования. Ф. Гросс, например, темой своей монографии избрал отношение русских революционеров разных поколений к одной проблеме — проблеме захвата власти. Всех противников старого строя автор поделил на два принципиально различных лагеря: на «демократов», под которыми он понимал противников революционного насилия,

и «якобинцев». К последним он отнес С.Г. Нечаева, П.Н. Ткачева, народовольцев, большевиков²⁰⁴. Произвольно комбинируя и сопоставляя внешние признаки разнородных в классовом отношении явлений, автор получил схему, отвечавшую его политическим симпатиям.

Пример Ф. Гросса далеко не единичен. В 1966 г. в Лондоне была опубликована книга Р. Сета «Русские террористы». Автор считал себя последователем меньшевистской концепции Ф. Дана, объяснявшего происхождение русской революции особенностями возникновения и социального облика радикальной интеллигенции. Предметом своего исследования, Р. Сет избрал террористическое направление интеллигентской революционности, включая в него деятелей разных эпох – от Д.В. Каракозова до Марии Спириidonовой²⁰⁵. Объединяя всех русских террористов в единое политическое течение, автор абстрагировался от исторической обусловленности и социальной значимости изучаемых явлений. Такой поиск «оригинальных» сюжетов преследовал весьма прозаическую цель – изобразить историю России не такой, какой она была в действительности, а такой, какой ее хотелось бы видеть идеологам современной буржуазии. Англо-американское россисведение – сложный историографический комплекс. Неоднородность буржуазных интерпретаций проявлялась всегда, ныне же различные тенденции и направления существенно укрепились и приобрели устойчивый характер. Правда, открытая полемика между различными группами исследователей ведется в Англии и США нечасто. Тем не менее в зависимости от политических убеждений того или иного автора, от понимания им сущности общественного прогресса и задач истории как науки, от профессионального уровня проводимого исследования в советологии выделяются три основных направления, которым следуют современные буржуазные историки.

Одно из них можно охарактеризовать как реакционно-консервативное. Работы этого направления отличаются воинствующей антиреволюционностью и антикоммунизмом. Борьба прогрессивных сил России оценивается в них как фактор сугубо отрицательный, как главная помеха преобразующим усилиям самодержавной власти. Деятели демократического лагеря изображаются невежественными фанатиками, лишенными элеменстарных представлений о подлинных нуждах народа и страны в целом. Н. Чировский, Р. Хингли, А. Улам и др. писали об общественном движении в России как об эскалации революционного насилия и беспринципного терроризма. Позицию этого направления отстаивает и известный советолог Р. Пайпс. Свою основную задачу он видит в поиске корней современного тоталитаризма, а ответственность за утверждение деспотизма в России он возлагает на революционную интеллигенцию.

Как правило, авторы этого направления оценивают историю нашей страны с позиций «теории преемственности», согласно которой политический строй в СССР объявляется естественным

продолжением внутренних порядков старой России. Всем работам реакционно-консервативного направления свойственно вольное отношение к источникам, явная тенденциозность и охотное использование произвольных аналогий.

Нельзя, конечно, сказать, что все авторы данного направления плохо знают факты. Некоторые из них проявляют достаточно широкую осведомленность о предмете своих изысканий. Но политическая предвзятость, открытая враждебность к идее революции и социализма приводят к тому, что эти историки теряют даже видимость объективности и путем подбора фактов создают произвольную картину. Примером тому является пронизанная духом антисоциализма книга Т. Самуэли «Русская традиция». Главное место в этой работе заняла откровенно тенденциозная характеристика русской интеллигенции, на которую автор возложил ответственность за «элитарный», «антидемократический» исход освободительного движения в России²⁰⁶.

Взгляды современных реакционеров во многом совпадают с воззрениями русских историков официально-охранительного толка. Однако о полном совпадении позиций говорить нельзя. Зарубежные исследователи даже самых правых позиций не могут встать на платформу безусловной защиты внутриполитического курса русского царизма. В отличие от Н.Н. Голицына или С.С. Татищева А. Улам, Р. Пайпс, Э. Кренкшоу не считают самодержавие типом правления, соответствовавшим интересам развития России. Однако, декларативно отрицая политический деспотизм, эти авторы делают все, чтобы опорочить самых последовательных борцов против такого деспотизма.

Явная тенденциозность работ реакционных авторов отмечается в самой зарубежной печати. Рецензируя книгу Т. Самуэли, американский историк Р. Постибридж с сожалением отмечал «излишнее» старание автора представить русских революционеров фанатиками, одержимыми социальными утопиями и жаждой полного разрушения современного им общества²⁰⁷. На откровенные предубеждения Р. Пайпса и Э. Кренкшоу против России и русского общества указывал и М. Шефтель²⁰⁸. Вполне естественно, что в современных условиях творческая непродуктивность реакционно-консервативного направления становится все более очевидной. Поэтому в англо-американской историографии последних десятилетий значительно шире представлено направление, сторонники которого признают историческую необходимость ликвидации в России феодально-монархического режима и его пережитков, но только не путем революционно-демократической ломки, а посредством либеральной «модернизации» страны. Этой группе авторов революционные программы и методы борьбы также представляются неприемлемыми. Но в отличие от откровенных реакционеров они не склонны акцентировать внимание на минимуме экстремизме русских революционеров. Последние изображаются скорее наивными романтиками, мечтателями-утопистами, только поневоле взявшимися за оружие. Как идеалистов, не понимавших реальных

задач своего времени, характеризуют демократов Б. Самнер, Ф. Помпер, Р. Хейр и многие другие. В работах этих авторов настойчиво проводится мысль об объективно отрицательном значении революционного движения в России, и, напротив, подлинными борцами за прогресс страны являются либералы. Учитывая, что на специфику отмеченного направления решающее воздействие оказывают революционные процессы современности, его можно определить как либерально-консервативное. Сравнительная популярность этого направления обусловлена его определенным идеологическим удобством. Его последователи осуждают примитивизм откровенных антисоветчиков. Беспersпективность реакционной позиции заставляет буржуазных авторов пересматривать свои историографические оценки, делать их более гибкими.

Историки либерально-консервативного направления любят говорить о своей научной нейтральности. Х. Ситон-Уотсон, например, неоднократно заявлял о своем уважительном отношении к русскому народу, к его языку и великой литературе²⁰⁹. Однако за внешней объективностью скрывается вполне очевидная цель, сближающая оба отмеченных направления, — доказать безусловный вред революционного движения для общественно-политического развития России. Не случайно в работах либерально-консервативного направления сплошь и рядом встречаются рассуждения о «чудовищности» средств революционеров, о том, что они погубили первые ростки русского конституционализма и т.д.

Теоретическая платформа либерально-консервативного направления сложилась под влиянием так называемой кадетской концепции общественного движения в дореволюционной России. У его истоков стояли Б. Пейрс в Англии и М.М. Карпович в США. Как подчеркивал М. Малин, умеренное западничество кадетов не оказалось решающего влияния на развитие русского общества, но оно тем не менее дало «отличные средства» для понимания его истории²¹⁰.

В истории России либерально-консервативные историки видят прежде всего массу упущеных возможностей, которые должны были бы вывести страну на путь умеренно-реформистского развития. Так, по мнению Н. Рязановского, ход российского общественного развития значительно более соответствовал логике либералов, а не революционеров²¹¹, и лишь случайные факторы помешали естественному ходу событий. Вслед за русскими либералами историки этого направления обычно делят царствование Александра II на «прогрессивный» и «реакционный» периоды, возлагая ответственность за переход от одного к другому на «бесответственные» действия революционных сил. Вместе с тем они охотно рассуждают о неподготовленности русского народа к гражданским свободам, к представительному типу государственного правления и иным формам демократического общественного устройства. Таким образом, либерально-консервативные историки Запада предлагают оцен-

ки, давно уже высказанные в трудах Г.А. Джаншиева, Б.Б. Глинского, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского и других русских авторов умеренно-либерального толка. Однако победа социалистической революции в России наложила свой отпечаток на работы праволиберальных авторов. Перед нынешними буржуазными историками со всей остротой стоит проблема слабости российского либерализма. Поэтому современные западные авторы значительно более сдержаны в оценке общности исторических путей развития России и Европы.

Третье направление также весьма условно, может быть определено как либерально-объективистское. Оно включает в себя немалую и, что очень важно, растущую группу серьезных и квалифицированных исследователей. Историки этого направления отказываются от произвольных схем и оценок, а также от недобросовестного и тенденциозного отношения к источникам. Исходные положения их концепции — осуждение самодержавного строя России и признание за оппозиционной интеллигенцией силы, способствовавшей прогрессу страны. Продолжая традиции Дж. Кеннана, Р. Спенс-Уотсона, Дж. Перриса, некоторые современные историки Запада предпринимают попытки реалистического освещения освободительного движения в России.

Ряд работ авторов данного направления (Ф. Вентури, Е. Лампerta, Э. Карра и др.) написан на весьма высоком профессиональном уровне и оказывает заметное влияние на развитие современного буржуазного российства. Так, Е. Ламперт в своих исследованиях справедливо утверждал, что половинчатый реформизм не мог избавить Россию от коренных пороков ее политического и экономического строя, «так как в конечном счете совершенно невозможно либерализовать или модернизировать самодержавие, не разрушая его основ». Развитие классовой борьбы в капиталистической России было, по мнению автора, исторически обусловлено действительным положением народных масс. Их программы революционеров, а правительственночная политика, отмечал Е. Ламперт, носила иллюзорный характер²¹².

Историки либерально-объективистского направления обычно хорошо знакомы с советской историографией и признают ее иссомненные достижения в разработке истории общественного движения России. Однако это не означает их согласия с методологическими принципами марксистского анализа. И тем не менее стремление к объективному осмыслению источников, часто возникающее под влиянием советских исследований, заставляет западных авторов отказываться от наиболее одиозных традиций буржуазной историографии. Примером тому служит интересное исследование о П.А. Кропоткине, созданное М. Миллером. Автор изучил обширный документальный материал, в том числе и хранящийся в архивах, и на его основе обстоятельно изложил историю участия П.А. Кропоткина в движении революционного народничества, раскрыл его деятельность как одного

из руководителей Большого общества пропаганды («чайковцев»). Миллер подчеркнул, что активность оппозиционной молодежи опиралась на широко распространившееся после реформы 1861 г. недовольство крестьян, выступавших против грабительских условий «освобождения»²¹³.

В трудах историков либерально-объективистского толка обычно содержатся справедливые оценки грабительского характера крестьянской реформы 1861 г., отмечается продворянский курс самодержавия, излагается фактическая история революционных или либеральных выступлений. Многие наблюдения и выводы вызывают несомненный научный интерес. Так, Д. Броуэр дал достоверную оценку влиянию системы просвещения на формирование революционной молодежи²¹⁴. Ф. Вентури провел тщательный анализ теоретических источников русского крестьянского социализма, У. Верлин предложил своеобразную интерпретацию развития революционно-публицистической деятельности Н.Г. Чернышевского²¹⁵. В работе Д. Оффорда проведено основательное исследование русского революционного движения 80-х годов XIX в.²¹⁶

Нельзя не отметить, однако, что либерально-объективистскому направлению присущи те же методологические пороки, что и другим направлениям буржуазной историографии. Даже в самых добросовестных исследованиях зарубежных авторов не раскрывается классовый смысл и, следовательно, не устанавливаются конкретные социальные характеристики революционных или либеральных программ. Общественное движение в России они понимают только как оппозиционную активность интеллигенции, не связывая ее устремления с интересами определенных классов. Русская интеллигентия чаще всего рассматривается как носитель западных идей, и, следовательно, содержание оппозиционного движения сводится к борьбе за «вестернизацию» России.

Историков либерально-объективистского направления можно назвать прогрессивными, имея в виду общее состояние современной буржуазной историографии. Но их прогрессивность относительна и весьма ограничена. Буржуазный ученый в силу своей классовой позиции не может признать решающего значения революционной борьбы в общественном развитии, в прогрессе антагонистического общества. В принципиальных вопросах познания, в самом подходе к определению задач исследования последователи данного направления открыто противостоят марксистской науке. Не случайно тот же Д. Броуэр с пренебрежением заметил, что советские исследователи пытаются найти объяснение развитию радикального движения... в учении К. Маркса, тогда как он своей задачей ставил поиск «уникальных социальных сил в самой России»²¹⁷.

Разграничение направлений в современной буржуазной историографии носит, конечно, условный характер. Во многих исследованиях зарубежных авторов нередки причудливые переплетения откровенно консервативных и относительно прогресс-

сивных взглядов. Так, одни историки рассматривают революционных демократов как предшественников Великого Октября, а другие, напротив, как его антиподов. Интересные наблюдения, касающиеся портфельной России, могут вполне сочетаться с неприкрытым антисоветизмом. Передка эволюция отдельных историков в ту или иную сторону. Ориентация буржуазных авторов на определенное направление не сопровождается строгостью методологического выбора. В полемике с академиком Н.М. Дружининым Ф. Вентури настаивал на необходимости освобождения исследователя от «методологических оков», на своем праве «беспристрастного» наблюдателя²¹⁸. Как видим, жесткой границы между буржуазным объективизмом и антисоветизмом нет. Разнообразие буржуазных исторических исследований отнюдь не снимает коренного противоречия между идеализмом и материализмом. «...Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология, — писал В.И. Ленин.— Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда всенародной или надклассовой идеологии)»²¹⁹.

Быстрый прогресс англо-американского россисведения, к сожалению, не сопровождается соответствующим развитием источниковской базы исследований. Документальная аргументация многих работ остается весьма ограниченной. Правда, в разные годы на Западе были опубликованы мемуары ряда деятелей российского общественного движения — П.А. Кропоткина, С.М. Степняка-Кравчинского, Е.К. Брешко-Брешковской, В.К. Дебогория-Мокриевича, И.И. Петрункевича и некоторых других. Кроме того, в ряде западноевропейских библиотек и архивов отложились материалы русской эмиграции. Часть из них была введена в научный оборот зарубежными авторами. Так, Б. Сапир подготовил к публикации материалы по истории журнала «Вперед!»²²⁰ и весьма ценное двухтомное собрание архивных документов о П.Л. Лаврове, выявленные в амстердамском Международном институте социальной истории²²¹. Голландскими и французскими специалистами осуществлялись издания архивных материалов, посвященных М.А. Бакунину²²².

Немало англо-американских историков (Ф. Помпер, Р. Уортман, М. Миллер, Д. Сондерс и др.) получили возможность работать в советских архивохранилищах. И все же вопросы источниковедческого характера мало интересуют буржуазных россисевдов. Многие авторы пытаются говорить «от себя», редко ссылаясь на первоисточники и часто прибегая к бездоказательным генерализациям. В качестве источников буржуазным исследователям до сих пор продолжают служить труды русских дореволюционных историков и публицистов. Кроме того, на английском языке был издан ряд документальных сборников, в которых содержатся определенные материалы по истории общественно-политического движения в России. Но составленные эти сборники были весьма тенденциозно. Основная цель соста-

вительской заключалась в попытке проиллюстрировать некоторые буржуазные концепции: о полной противоположности исторического развития России и Запада, об «экстремизме» русской общественной мысли и т.д.²²³

Таким образом, современное англо-американское россиееведение представляет собой сложный и быстро развивающийся комплекс. Обширная литература по истории общественного движения в капиталистической России занимает в нем крупное место. Растет число общих курсов русской истории. В трудах Г. Эллисона, Дж. Кларксона, Н. Рязановского, М. Флоринского, Х. Ситон-Уотсона и других дается сжатая характеристика политической жизни России в 60–80-х годах XIX в.

Быстро увеличивается число монографий и других специальных исследований по истории российской демократии и либерализма. Проблемам общественно-политической истории России был посвящен ряд представительных конференций западных славистов и советологов.

Буржуазные исследования оказывают существенное влияние не только на воспитание кадров историков-россиеведов, но и на общественное мнение зарубежных стран. Они играют важную роль в политической и идеологической деятельности современных капиталистических государств.

Глава 2

АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ИСТОКАХ И ПРИЧИНАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

Пореформенные десятилетия — время крутого перелома в историческом развитии России. Главным деятелем освободительного движения стала разночинная интеллигенция. Революционная демократия подняла знамя борьбы за коренные интересы трудящихся масс, и в первую очередь многомиллионного крестьянства.

Важным компонентом политической ситуации явилось формирование и начало деятельности лагеря российского либерализма, представлявшего реформистское, соглашательское крыло антифеодальной оппозиции. Именно с этого времени завязалось противоборство революционной и либеральной тенденций в общественной жизни России, а его развязка наступила в октябрьские дни 1917 г.

Поступательный характер и преемственность российского общественного движения обуславливают особую значимость изучения его истоков.

Красногольным камнем буржуазной историографии является тезис об исключительно интеллигентском характере освободительного процесса в России. «История русского революционного движения, — заявил Т. Самуэли, — есть история русской интеллигенции. Эти два явления были неразделимы»¹. По мнению известного в США исследователя русской политической мысли М. Малиа, революционное движение в России «на его различных этапах не было ни «буржуазным», ни «пролетарским», ни тем более крестьянским; по существу оно было только интеллигентским»².

Проблема происхождения и социальной роли русской интеллигенции остается для буржуазных авторов ключевой при истолковании истоков общественного движения в России.

1. Буржуазные концепции формирования и развития русской интеллигенции

Подавляющее большинство английских и американских исследователей сходится на том, что интеллигенция — явление уникальное, либо специфически русское, либо характерное для отставших в своем развитии стран. Чаще всего она объявляется продуктом так называемой вестернизации России, т.е. при-

общения страны к западноевропейской, с точки зрения буржуазных идеологов, более высокой цивилизации.

Руководствуясь такой «теорией», современные буржуазные авторы стремятся представить нашу страну и ее революции вне европейской цивилизации, а Запад — в качестве безусловного лидера мировой истории. Зачастую они пишут о том, что для России исторически предопределена была только самодержавная форма правления. У русских людей, заявлял Я. Уолкин, понятия о государстве и царе всегда сливались воедино. В социально-политическом развитии России, писал он, самодержавной власти неизменно принадлежала доминирующая роль, общество же, напротив, оставалось равнодушным к политической жизни. И даже экономическая модернизация проходила не благодаря деятельности «живых сил» общества, а только «по инициативе и в интересах государства». В России, подчеркивал буржуазный исследователь, не было ни феодализма, ни капитализма в «классическом» смысле этих понятий. Направление ее общественного развития вообще было противоположным западному и знаменовалось гипертрофированной экономической и политической ролью правительственной власти³. Русский народ, отмечал академик И.И. Минц, обычно изображался не способным к самостоятельному историческому развитию, не имевшим ни привычек, ни склонностей к подлинной демократии, готовым либо беспрекословно повиноваться, либо безудержно бунтовать⁴. Соседство с Западом, его воздействие объявляются основными факторами русской истории, предопределившими характер ее главных поворотов⁵.

С особой настойчивостью о неспособности русского народа к историческому творчеству пишут историки реакционно-консервативного направления. Игнорируя археологические данные, Р. Пайпс, например, в духе самых крайних норманистов заявлял, что первое государство восточных славян — Киевская Русь — было лишь «побочным продуктом заморской торговли между двумя чужими народами, варягами и греками»⁶.

В политическом смысле, утверждал Пайпс, «Россия принадлежит к excellence к той категории государств, которые политическая и социологическая литература обычно определяет как «вотчинные» (patrimonial). В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и правитель (государь) является одновременно и сувереном государства и его собственником». Сложившийся в России «вотчинный» порядок управления возник, по мнению Пайпса, в первую очередь под влиянием монгольского завоевания. В результате его в правящих сферах страны появилось «вотчинное умонастроение», составившее «интеллектуальную и психологическую основу авторитаризма», присущего русским правителям и сводившегося по сути дела к нежеланию дать «земле» — вотчине — право существовать отдельно от ее владельца. «Термином «вотчинный строй», — писал Пайпс, — лучше всего определяется тип режима, сложившегося в России

между XII и XVII вв. и сохраняющегося – с перерывами и коскакими видоизменениями – до сего времени».

Поскольку основополагающей чертой российской политической жизни являлось, по Пайпсу, отождествление суверенитета и собственности, постольку в России, по его мнению, не было феодализма. Понимая под феодализмом не определенную социально-экономическую формацию, а лишь систему отношений вассалитета, Пайпс заявлял: «Хроническое российское беззаконие, особенно в отношениях между стоящими у власти и их подчиненными, проистекает в немалой степени из отсутствия какой-либо договорной традиции, вроде той, что была заложена в Западной Европе вассалитетом»⁷. Это, по мысли буржуазного историка, и обусловило отклонение политического развития России от столбовой дороги Запада, где правовое государство якобы органически выросло из феодальной иерархии прав и обязанностей.

По концепции Пайпса внутренняя жизнь России исключала развитие в ней какой-либо оппозиционности самодержавному строю. В неблагоприятных хозяйственных условиях страны, писал он, любая группа населения, «стремившаяся подняться над уровнем экономического прозябания», располагала для этого единственным средством – сотрудничеством с государством. А это, естественно, вело к отказу от всяких политических амбиций. Пищая мужицкая масса также предпочитала абсолютизм любой другой форме правления. «Ни одна из социальных групп в России, – считал Пайпс, – не была заинтересована в либерализации, она означала бы утрату привилегий для элиты и разбила бы надежды крестьянской массы на всероссийский «черный передел»⁸. Таким образом, в России, заключал историк, все располагало к консерватизму и оцепенению. Если на Западе к началу нового времени большая часть богатства «постепенно сосредоточилась в руках общества, что сильно придало ему весомости в отношениях с короной», то в России «корона, так сказать, экспроприировала общество». В Европе носителем либеральных идей стала могущественная в экономическом отношении буржуазия, в России же, подчеркивал Пайпс, для формирования «третьего сословия» не было никаких условий. Только благодаря внедрению иностранного капитала были достигнуты кое-какие успехи в хозяйственном развитии страны в конце XIX – начале XX в. Таким образом, по Пайпсу, при подобных обстоятельствах только влияние Запада (т.с. «ввестернизация») могло породить антисамодержавные силы в русском обществе.

Развивавшиеся Пайпсом идеи широко распространены в англо-американской историографии. О поглощении русским государством материальной и духовной жизни общества писал и Р. Уортман. Лишь в конце XVIII в. в среде русского дворянства появились ростки правосознания, но и они были «результатом усилий самой власти по копированию западных политических порядков», считал он⁹. На принципиальное различие

исторических путей развития России и Запада указывал и Х. Ситон-Уотсон. Отличительной чертой развития западных обществ, писал он, являлась непрерывная борьба монархической власти с социальной элитой, «история возникновения европейской (а в конечном счете и американской) демократии была историей распространения привилегий... до тех пор, пока политическая свобода не стала достоянием всего народа»¹⁰. По Х. Ситон-Уотсону, именно аристократии, а не классовой борьбе обязаны западные народы развитием демократических принципов в своих странах. Россия же, утверждает он, не имела ни подлинной аристократии, ни Реформации, ни феодализма. Ни одна социальная группа не имела в ней политических прав, которые были безусловной монополией самодержавного государства. Указывая на внесение российского самодержавия, Я. Уолкин писал, что оно держалось пассивностью безграмотного крестьянства, а также необходимостью мобилизации сил для решения внешнеполитических задач. Лишь в XIX в. наметилась, по его мнению, некоторая «демилитаризация» страны, что и проявилось в нарастании конфликта между государством и обществом.

Однако «демобилизация» общества вела к росту его оппозиционности не сама по себе. Еще более важное значение имело, по Уолкину, развитие «европеизации». Без практического восприятия идей западных идеологов русское общество осталось бы пассивным, не сознающим собственных прав или безразличным к ним, не имеющим гражданского сознания.

Давно доказана научная несостоятельность утверждений о решающей роли влияния Запада или о «вотчинном» характере общественно-политического строя средневековой Руси. Как в русской дореволюционной, так и в советской историографии убедительно показано, что понятие «вотчинный тип» абсолютно не пригодно для раскрытия исторического своеобразия государственного и общественного строя России¹¹. Демонстрируя пренебрежение к совокупности фактов, Р. Пайпс и его коллеги попросту умалчивали о развитии классовой борьбы русского народа, о существовании Новгородской или Псковской феодальных республик, игнорировали фундаментальные исследования Б.Д. Грекова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина, М.Н. Тихомирова и многих других советских историков. И конечно, не потому, что эти труды и их авторы неизвестны в Великобритании или в США: политические интересы реакционных историков заставляли их «забывать» очевидное и строить концепции, суть которых в конечном счете сводилась к произвольной трактовке исторического смысла российских революций. В основе рассуждений Р. Пайпса, Х. Ситон-Уотсона и других лежит стремление подменить социально-классовый анализ истоков российского освободительного движения рассуждениями о якобы извечной противоположности развития Запада и Востока. Само происхождение общественно-политической оппозиции в России, ее характер и направленность выводились ими

не из закономерностей внутреннего развития страны, а из особенностей воздействия на нее более «высокой» и «развитой» западной цивилизации. По оценке современных буржуазных исследователей, русская история не вписывается в привычные для Европы рамки феодального и буржуазного развития. Ее путь – это путь восточной, полуазиатской деспотии, так и не сумевшей вырваться из рамок развития «тоталитарного» типа. В западной буржуазной историографии доминируют подходы, в соответствии с которыми роль центра мировой истории безоговорочно отводится Западу. История России в лучшем случае рассматривается как образец развития «периферийной» страны¹².

Версии о локальном значении российского исторического опыта легко сплетаются с теориями «американской исключительности», прочно укоренившимися в исторической мысли США. И те и другие призваны убедить читателя, что революция – не лучший путь решения социальных проблем¹³.

В англо-американской литературе доминирует настойчивое стремление разделить историю России на периоды внешних влияний. Чрезвычайное значение придается петровским преобразованиям, которые характеризуются как начало интенсивной «востернизации» страны.

Еще в дореволюционную эпоху русские буржуазные историки выступали с апологией политики Петра I. Например, С.М. Соловьев и многие его последователи исходили из убежденности в исключительной прогрессивности и благодатности для России Петровских реформ.

Для современной буржуазной историографии характерна гораздо более сложная оценка начатой Петром I «востернизации». Учитывая грандиозный масштаб российского революционного движения, многие английские и американские авторы склонны усматривать в преобразованиях начала XVIII в. источник будущих потрясений. Пробивая окно в Европу, писал М. Карпович, русское самодержавие руководствовалось главным образом практическими соображениями: хотело укрепить оборону и улучшить систему управления. «Но, следуя этим курсом, – считал он, – оно с неизбежностью стимулировало развитие новых тенденций, которые в конце концов привели к подрыву его основ». Такую подрывную роль сыграли общественно-политические идеи западных мыслителей, проникавшие в страну одновременно с новой техникой и культурой. По оценке М. Карповича, самодержавию принадлежала поистине всеобъемлющая роль: оно стало создателем даже собственного врага, так как именно с Запада заносились представления о конституционном правлении, гражданском равенстве и личных свободах¹⁴.

Представления о прозападном происхождении основ общественно-политической жизни в России и, следовательно, о «самоподрыве» царизма чрезвычайно широко распространены среди англо-американских историков. Именно Петра I, считал

Я. Грэй, следует назвать инициатором «великого раскола», постигшего русское общество вследствие интенсивного внедрения западноевропейской культуры¹⁵. Об искусственном происхождении причин социального раскола в России писал еще Т. Масарик. После Петровских реформ, утверждал он, смысл русской истории заключался в столкновении разнотипных цивилизаций¹⁶. Такой же взгляд высказывал и современный американский историк А. Глисон. Разделение послепетровской России на «образованное общество» и «народ» стало, писал он, важнейшей чертой, определявшей весь строй русской жизни, а после 1861 г. это разделение «быстро превратилось в основную проблему для активных русских радикалов». Ни в Великобритании, ни во Франции, подчеркивал Глисон, трудящиеся массы не были в культурном отношении столь резко отделены от социальных верхов^{17*}.

То, что подобные воззрения не отличаются новизной, признают и сами буржуазные авторы. Ф. Бархурн, например, напоминал, что еще Н. Бердяев писал об общественном расколе в России как о следствии усилившейся «евестернизации»¹⁸. Бросается в глаза и сходство суждений современных западных исследователей со стародавними суждениями славянофилов на якобы пагубные последствия начатой Петром I пересадки чужеземных традиций на российскую почву. Такое совпадение обусловлено общим желанием противников революционного движения лишить его экономической социальной базы и какой-либо связи с народными интересами.

Вполне понятно, что русская интеллигенция характеризуется буржуазными историками прежде всего как продукт развернувшейся европеизации. Интеллигент, писал Ф. Рэнделл, — это европейски образованный человек в России, «которая в основе своей оставалась все еще неевестернизированной»¹⁹. Рэнделл в данном случае целиком следовал определению, данному еще Б. Пейрсом. Здесь нужно отметить, что важнейшей предпосылкой появления интеллигентии буржуазные авторы считают формирование европеизированной элиты, носительницы совершенно незнакомого народу мировоззрения и одновременно враждебных самодержавию общественно-политических идей. Так, В. Бродо утверждала, что образованные русские люди «сформировали новую социальную силу в жизни страны и в этом смысле их можно назвать классом. Это был, конечно, неоднородный класс, но те, кто интересовался, образовали «интеллигенцию»²⁰. Буржуаз-

* Вполне разделяя такой подход, М. Холдин подчеркивал, что российские правители со времен Петра I вынуждены были тратить огромные усилия на поддержание сверхстрогого контроля за импортом западной печатной продукции (Choldin M. A Fence Around the Empire: Russian Censorship of Western Ideas Under the Tsars. Durkam, 1985. P. 1-2).

ными исследователями выделяется именно социальная изоляция интеллигенции, ее отчужденность от «низов» русского общества. Крестьяне, интеллигенты и бюрократия, замечал Ф. Гросс, образовали различные классы в России, «являясь своеобразными представителями разных исторических эпох в русском обществе»²¹. А французскому исследователю А. Леруа-Болье русские интеллигенты казались «людьми XIX века» в стране, основная масса населения которой продолжала жить в XIV–XV вв. (по европейским меркам, конечно).

Итак, петровские преобразования, с точки зрения буржуазных авторов, стали важнейшей предпосылкой формирования русской интеллигенции. Однако начало ее развития отодвигается, как правило, на более поздние сроки. По мнению многих зарубежных исследователей, особое значение в этом смысле имела политика «просвещенного абсолютизма», проводившаяся Екатериной II. «Если Петр I, — писал М. Рэн, — начал административную и технологическую вестернизацию России, то Екатерина II повела интенсивную европеизацию русской мысли, носителями которой до второй половины XIX в. были исключительно аристократы»²². Именно такая «интеллектуальная вестернизация», считал он, заложила «основы для либерального и радикального движений следующего столетия»²³.

Такой взгляд разделял и М. Малиа. Причем для подкрепления своей позиции он ссылался на Указ о вольности дворянства 1762 г., которым были пробуждены у некоторой части дворянства такие эмоции, которые впоследствии привели ее к разрыву и с самодержавием, и со своим классом. Слишком явный контраст между привилегиями дворянства и угнетенным положением народных масс, писал Малиа, вызвал пробуждение гражданской совести у европейски просвещенной части высшего сословия России²⁴. Не случайно, подчеркивал он, идти русского социализма возникли в среде дворянской интеллигенции.

Ссылки на Указ 1762 г. как на отправную точку в развитии русской интеллигенции встречаются во многих работах зарубежных авторов. Так, Р. Пайпс утверждал, что освобождение дворянства от обязательной службы стало серьезным ударом по вотчинной системе политического строя России. Кроме того, 1762 г. распахнул для дворян «шлюзы умственной деятельности». «Расцвел русской литературы в XIX в., — подчеркивал Пайпс, — был бы невозможен без закона 1762 г. и чувства личной безопасности, обретенного высшим дворянским слоем в благодатное царствование Екатерины». Самое же главное, по мнению этого историка, заключалось в том, что именно с тех пор «русское общество наконец-то принялось отстаивать свое право на независимое существование»²⁵. Дворянство, полагал в свою очередь А. Келли, должно было иметь досуг для уяснения «невозможности совместить ценности европейского просвещения с жизнью при примитивном деспотизме»²⁶.

Буржуазные авторы подчеркивали естественность «интеллигентского перерождения» просвещенной части дворянства. Л.А. Тихомиров некогда заметил, что граф Растопчин напрасно считал парадоксом выступление дворянства против собственных привилегий. Ошибка Растопчина, подчеркивал Тихомиров, очевидна. Он не заметил, что против старого строя выступили (в 1825 г.) не просто дворяне, а дворяне, ставшие интеллигентами²⁷. Логика такого объяснения вполне определенно звучит и в современных англо-американских исследованиях.

Конечно, нельзя отрицать, что освобождение дворян от обязательной службы в сочетании с модой на Вольтера и энциклопедистов способствовало развитию самостоятельного мышления у некоторой части аристократии. Однако уходить от анализа кризисных явлений в системе феодально-крепостнических отношений, роста капиталистических элементов и развития классовой борьбы, объявлять «свободные» размышления русских дворян первопричиной развития освободительных идей – значит подменять научную оценку субъективистскими построениями, целиком подчиненными политическим интересам буржуазных идеологов.

В англо-американской историографии немало работ, авторы которых считают, что просвещенное дворянство – это еще не вполне интеллигенция, а подлинная интеллигенция сложилась значительно позже, в 30–40-е годы XIX в. Важнейшее место при этом отводится трем обстоятельствам: неудачному выступлению декабристов, установлению сурового деспотизма николаевского времени и постепенной демократизации студенчества, связанной с развитием разночинного элемента. Восстание 14 декабря 1825 г., которое обычно характеризуется как попытка европеизированной аристократии положить предел всесилию старой власти, по мнению буржуазных авторов, вызвало прекращение сотрудничества царизма и образованного общества в проведении «вестернизации» страны²⁸. Н. Бердяев считал, что после воцарения Николая I стал нарастать общественный раскол. «Русская интеллигенция окончательно оформилась в раскольничий тип. Она всегда будет говорить про себя «мы», про государство, про власть – «они». Русский культурный слой оказался над бездной раздавленным двумя основными силами – самодержавной монархией сверху и темной массой крестьянства снизу»²⁹.

Некоторые историки признают, что быстрый рост интеллигии был в некоторой степени связан с развитием капиталистических отношений. Х. Ситон-Уотсон, в частности, подчеркивал, что рост городов, промышленности, торговли и коммуникаций вызывал потребность во врачах, инженерах, учителях, юристах и других лицах умственного труда. И все же русская интеллигенция, писал он, не равнозначна «профессиональному классу» (professional class) в западном смысле слова. Принадлежность к умственному труду не была решающим признаком русского интеллигента. По мнению буржуазного ис-

торика, интеллигент в России – фигура оппозиционная, противостоявшая и старому политическому режиму, и невежественным народным массам³⁰.

Большинство англо-американских исследователей считает, что «настоящая» интеллигенция сложилась в России лишь к середине XIX в. Так, Д. Фишер подчеркивал, что в качестве особой, созидающей самое себя группы русская интеллигенция сложилась только ко временем «всехих реформ»³¹. Дж. Биллингтон также называл возникновение интеллигенции наиболее значительным событием 1860-х годов³². «Отцы» (или поколение 40-х годов), писал Т. Самуэли, играли только второстепенную роль в развитии интеллигенции. Их духовное влияние было кратковременным, и спустя десятилетие «оно отступило перед наступлением интеллигентов нового типа, резко отличавшихся как по своему социальному происхождению, так и по мировоззрению»³³. М. Рэн подчеркивал, что только приход в университеты «иконоборческого» поколения «детей» ознаменовал складывание интеллигенции как особого социального слоя³⁴. Исторически достоверно понятие «интеллигенция», отмечал В. Нагирный, охватывало идеологизированных лиц интеллектуальных профессий. Такой слой мог возникнуть только в результате развернувшейся с середины XIX в. «модернизации» России³⁵.

Вообще же предлагаемые англо-американскими историками определения «истинной» интеллигенции отличаются большой пестротой. Понимая, что далеко не все европейские образованные «интеллектуалы» становились в оппозицию существовавшему строю, Р. Даниэльс делил интеллигенцию на три категории: «техническую», «литературную» и «квазинтеллигенцию». Только последний слой скороспелых интеллигентов из разных сословий стал, по его мнению, естественным носителем революционного ферmenta³⁶. Р. Пайпс же считал, что поначалу «вестернизация» носила широкий, «культурный» характер и лишь к середине XIX в. она стала по преимуществу «идеологической». Поэтому, писал он, от «культурной» интеллигенции следует отличать «интеллигенцию в более узком, более субъективном смысле понятия»³⁷.

В подавляющем большинстве случаев критериями принадлежности к российской интеллигенции служат для англо-американских исследователей нравственные, идеально-психологические или идеологические характеристики. Так, А. Макконнел считал, что самой существенной чертой русской интеллигенции была «ее открытая и четко выраженная ненависть к несправедливости, невежеству, цензуре, доносу и всему тому, что нравственно унижает и возмущает человека»³⁸.

Некоторые авторы делают упор не на нравственные качества, а на социальное «отщепенство» интеллигентии. Дж. Биллингтон, в частности, писал о ней как о продукте «интеллектуального» раскола в среде господствующих классов. Однако принятые Макконнелом и Биллингтоном признаки страдают оче-

видной неопределенностью и явно размывают границы самого понятия. Современный исследователь Дж. Броуэр замечал, что, чем последовательнее кто-либо следует таким определениям, «тем более таинственной начинает казаться определяемая группа»³⁹. Ряд авторов заявили даже о сомнительности самого термина «интеллигенция». Так, Броуэр подчеркивал, что это понятие не подходит для научного анализа. «Слово «радикал», — писал он, — может показаться банальным, но оно верно отражает политическое мировоззрение людей, стоявших в идейной оппозиции к существовавшему в России строю»⁴⁰. О сомнительности термина «интеллигенция» упоминал и Э. Креншоу. Это слово, по его мнению, совершенно бесполезно, и лучше от него отказаться, употребляя взамен такие понятия, как «революционеры», «радикалы», «либералы», «консерваторы» и т.д.⁴¹ Все эти септования можно понять: в рамках буржуазной историографии действительно нельзя найти определенных критерии для определения интеллигенции.

Тем не менее именно субъективно-идеалистические интерпретации русской интеллигенции прочно вошли в теоретический арсенал англо-американских исследователей. Отмечая этот факт, М. Конфино подчеркивал, что трактовка интеллигенции в духе теории «двух России» сдва ли способна дать адекватный ответ на вопрос о природе и истинном значении русского революционного движения. Традиционные оценки западной историографии (такие, как «состояние постоянной изоляции и отчуждения», «глубокая неудовлетворенность» и т.п.), писал этот исследователь, «являются в гораздо большей мере спекулятивными умозаключениями, чем результатом точного анализа»⁴². Во всяком случае, подчеркивал Конфино, Октябрь 1917 г. нельзя сводить к торжеству интеллигентской оппозиционности. Сам он был убежден, что «настоящая» интеллигенция существовала в России только в пореформенные десятилетия, т.е. до конца XIX в. С начала XX в., замечал Конфино, социальная структура России быстро усложнялась, что привело к интеграции образованного слоя в общественный организм страны. Интеллигенция 1860–1880-х годов, подчеркивал он, была не только первым, но и последним ее поколением⁴³.

Позиция Конфино показывает неудовлетворенность объективных исследователей традиционными штампами буржуазной историографии. И все же его критика не выглядит полноценной. Во всяком случае он не стремился найти классовый смысл общественно-политической деятельности прогрессивной интелигенции 1860–1880-х годов. А между тем именно такой анализ является главным условием решения вопроса о социальных корнях общественного движения в России.

В основной массе работ англо-американских авторов «шестидесятие годы» характеризуются как время начавшегося доминирования разночинцев в освободительном движении. Однако такой взгляд некоторые историки ставят под сомнение. Еще Н.К. Михайловский, писал М. Конфино, высказал крылатое:

«Разночинец пришел!» Но, по мнению западного историка, за прошедшие десятилетия не появилось достоверных данных, доказывающих правоту такого выражения. Подлинными же творцами «мифа» о разночинском этапе Конфино считал Р.И. Иванова-Разумника и В.И. Ленина. Советские историки, писал он, подхватили этот миф, стремясь подкрепить им тезис о неуклонной демократизации освободительного движения. Как полагал Конфино, в пореформенную эпоху разночинец вовсе не являлся активным носителем новых идей. Такая роль, по его мнению, по-прежнему принадлежала образованным представителям дворянства. Люди же вроде И.Н. Мышкина или С.Г. Нечаева являлись в среде демократической оппозиции скорее исключением, чем правилом. Таким образом, считал Конфино, нет никаких оснований связывать радикализацию общественно-политической деятельности с изменением социального происхождения ее участников, применительно к пореформенному времени следует говорить о «бунте» молодого дворянства, стремившегося путем образования компенсировать снижение социальной роли своего класса⁴⁴. О том, что во второй половине XIX в. раслаивающееся дворянство являлось основным источником кадров для политической оппозиции, писал и Т. Эммонс⁴⁵. А. Глисон также утверждал, что многие западные авторы некритично принимают точку зрения советских историков о смене дворян разночинцами. По его мнению, и после 1861 г. дворяне продолжали играть ведущую роль в деле развития студенческого недовольства и вообще радикализма⁴⁶. Против «возвеличивания» разночинцев выступил и Ф. Помпер. 70-е годы XIX в., писал он, представляются «эрой кающегося дворянства»⁴⁷.

Но тенденцию «развенчания» разночинцев нельзя все же признать устоявшейся. В целом ряде исследований буржуазных авторов отмечена несостоятельность пересмотра установившейся периодизации. О резком снижении роли дворянства в политической жизни капиталистической России писала, в частности, Р. Мэннинг. Развитие системы образования, подчеркивала она, вело к вытеснению дворян привыкшими к труду разночинцами⁴⁸. Английский исследователь М. Пушкин, обстоятельно изучивший динамику развития русской интеллигенции, тоже пришел к выводу, что «приход разночинца» был вполне реальным и значительным явлением в общественно-политической жизни пореформенной России. К концу 60-х – началу 70-х годов, писал он, доминирующая роль дворянства среди университетского студенчества «была окончательным и решительным образом сломлена»⁴⁹.

Отмечая противоречивость существующих в западной литературе оценок русской интеллигенции, В. Нагирный пришел к выводу, что традиционные подходы нуждаются в корректировке. Он полагал, в частности, что истоки интеллигентской оппозиционности нельзя сводить к деспотизму самодержавия (впрочем, привычные суждения о царском деспотизме он считал

преувеличеными). Не следует, писал Нагирный, сводить дело к проблеме разночинца. Ключ к пониманию русской интеллигенции он видел в углубленной разработке проблем социально-политической трансформации «закрытого» общества, столкнувшегося к середине XIX в. с необходимостью ответить на вызов западных демократий⁵⁰. Однако при всех своих разногласиях буржуазные историки не подвергают сомнению вывод о всенародности русской интеллигенции. В этом принципиальном вопросе они сохраняют безусловное единство.

Таким образом, при анализе истоков общественного движения в России западная буржуазная историография настойчиво уходит от рассмотрения острейших социально-экономических противоречий, обострившихся в постформенную эпоху, от анализа объективной исторической необходимости демократических преобразований. Буржуазные авторы гиперболизируют значение вопроса о носителях политической оппозиционности, отвлекая внимание читателя в область верхушечных, сугубо «элитарных» явлений.

Разумеется, вопрос о социальных корнях столь крупного и противоречивого явления, каким было общественное движение 1860–1880-х годов, весьма сложен, и его решение требует твердых критерии и последовательной методологии. Бессспорно, что буржуазные интерпретации отталкиваются от вполне реального исторического факта. В постформенную эпоху главным деятелем освободительного движения в России стала демократическая интеллигенция. Однако строго научный подход иссовместим с утверждениями об уникальности русской интеллигенции. Такая общественная группа возникла во всех странах со временем отделения умственного труда от физического. Но подлинная история интеллигенции как крупного социального слоя начинается с эпохи капитализма.

Марксистская социология подходит к определению интеллигенции не только с идеологическими, психологическими или политическими оценками. «Я перевожу словом интеллигент... — писал В.И. Ленин, — всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда...»⁵¹ Последовательное применение материалистического критерия профессиональной занятости при определении интеллигенции как социальной прослойки исключает, конечно, все возможные псевдонаучные политические конструкции. Правда, в марксистской литературе нет единого, во всех деталях общепризнанного определения интеллигенции. Однако расхождения исследователей-марксистов связаны с уточнением некоторых частных границ понятия, а не его сущности*.

* Наиболее точным представляется все же определение, предложенное М.И. Руткевичем. Под интеллигенцией в социалистическом обществе, писал он, «мы понимаем социальную

Капиталистический способ производства вызывает стремительный рост потребности в людях интеллектуального труда. В результате происходит усиленная консолидация интеллигенции в особую социальную прослойку. «Капитализм, — указывал В.И. Ленин, — во всех областях народного труда повышает с особенной быстротой число служащих, предъявляя все больший спрос на интеллигенцию. Эта последняя занимает своеобразное положение среди других классов, примыкая отчасти к буржуазии по своим связям, воззрениям и проч., отчасти к наемным рабочим...»⁵² Такого рода процессы происходили и происходят во всех странах, вступающих в стадию капиталистического развития. Однако в развитии российской интеллигенции это не исключает значительного своеобразия, наложившего свой отпечаток на характер и формы освободительного движения, особенно на его допролетарских этапах. Как мы убедились, именно на толках вокруг этого своеобразия строят свои концепции буржуазные россиеvды.

На рубеже 50-х и 60-х годов XIX в. в общественной жизни России произошел существенный сдвиг. Важное место в литературе того времени заняла тема столкновения «отцов» и «детей». Социальная основа этого конфликта прояснилась позднее, к концу 60-х годов, когда в широкое употребление вошел термин «интеллигенция». Распространенное до этого понятие «разночинец» было по сути дела тождественно понятию «интеллигент», которое приобрело впоследствии более широкое содержание.

Пожалуй, наиболее характерной особенностью быстро формировавшейся разночинной интеллигенции являлась высокая активность ее демократического крыла. Об этой особенности постоянно писала русская публицистика 60-70-х годов прошлого века. Под понятием «интеллигент» в те давние годы, отмечал К.И. Чуковский, понимался «не всякий работник умственного труда, а только такой, быт и убеждения которого были окрашены идеей служения народу»⁵³. Честной и развитой частью русского общества называли интеллигенцию революционные народники. А у представителей правящих кругов России слова «интеллигент», «интеллигенция» долгое время вызывали злобную реакцию. «Наши отцы, — писал Л. Любимов, имея в виду высшее российское дворянство, — презирали этот термин и

группу, слой, состоящий из лиц, профессионально занимающихся высококвалифицированным умственным трудом, требующим специального среднего или высшего образования» (Руткевич М.Н. Интеллигенция как социальная группа и ее сближение с рабочим классом: Классы, социальные слои и группы в СССР. М., 1968. С. 136–137). Такое определение представляется вполне приемлемым и для интеллигенции капиталистического общества.

никогда не применяли его к себе»⁵⁴. Сильное негодование вызывало это слово у обсер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева, а реакционный министр внутренних дел В.К. Плевс давал такое его толкование: «Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая интеллигенцией, имеет одну, преимущественно ей присущую особенность: она принципиально, но и при этом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленный к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти, ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна»⁵⁵. Сам император Николай II, вспоминая С.Ю. Витте, услышав как-то слово «интеллигент», замстил: «Как мыс противно это слово»⁵⁶.

В либеральных же кругах под интеллигенцией понимали наиболее образованный и потому наиболее ценный и активный слой общества, являвшийся творцом национального прогресса. «Задачи учащейся молодежи, — писал видный либеральный историк права А.Д. Градовский, — состоят в увеличении объема русской интеллигенции». Поэтому она должна избегать революционной борьбы, так как, губя в этой борьбе себя, она убавляет количество тех «здоровых, деятельных сил», на которых общество «обязано рассчитывать для своего движения вперед»⁵⁷.

Даже к концу XIX в., когда в понятие «интеллигенция» все более вкладывалось не политическое, а скорее этико-культурное содержание (как, например, у чеховских героев), эта общественная категория продолжала сохранять определенное социальное обособление. Именно это обстоятельство дает пищу для многочисленных утверждений зарубежных буржуазных историков о несовместимости цивилизаций, о чужеродности прозападной интеллигенции, а то и о загадочных свойствах русского характера.

Формирование русской интеллигенции проходило в специфических условиях, во многом отличных от условий западноевропейских стран, где этот процесс был гораздо более длителен. И длительность, и глубина развития буржуазных отношений в Западной Европе и США способствовали тому, что там люди интеллектуальных профессий были гораздо плотнее слиты с различными классами, чем в России. В нашей же стране формирование интеллигенции шло на ином социальном, политическом и культурном фоне. Огромное большинство русского народа вплоть до конца XIX в. составляло безграмотное крестьянство, мировоззрение и культурно-психологический облик которого резко контрастировали с идеями и культурой молодой русской интеллигенции. Достаточно сказать, что грамотность среди сельского населения страны во второй половине 1860-х годов составляла примерно 5–6%, а к 1897 г. достигла лишь 17,4%⁵⁸. «Такой дикой страны, — писал В.Л. Ленин, — в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе

не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть...»⁵⁹

Поскольку же образование на протяжении всего XIX в. оставалось доступным только господствующим классам, постольку в крестьянских массах сохранялось чувство не только культурной, но и социальной отчужденности к интеллигенции. В глазах простого народа образованное общество оставалось обществом господ. Редкие случаи получения образования выходцами из крестьянской среды и перехода их в ряды интеллигенции не меняли общей картины. «Народ, — писал И.Г. Чернышевский, — не делает разницы между людьми, носящими немецкое платье»⁶⁰. Восприятие русской интеллигенцией западноевропейских культурных традиций не могло, конечно, не усугублять ее отчужденность от масс крестьянства. Еще А.С. Пушкин заметил, что народ, «упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обретых своих бояр»⁶¹.

Культурный и социальный отрыв интеллигенции от широких народных масс был важным фактором эволюции общественного движения в пореформенную эпоху. Он, разумеется, сказывался и на мировоззрении участников освободительной борьбы. О революционных народниках не без основания пишут, что они в большинстве своем практически не знали народа, не понимали и идеализировали его, создавая в своем воображении романтический образ сказочного богатыря, обманутого и опутанного угнетателями. Однако с еще большим основанием мы можем говорить об отсутствии в крестьянских массах пореформенного времени какого-либо политического сознания, о непонимании народом чаяний демократической интеллигенции. Дело, следовательно, заключалось не только в том, что революционеры были еще весьма далеки от народа, хотя и не столь «страшно», как дворяне-декабристы. Еще важнее для суда освободительного движения оказалось то, что народ тоже был чрезвычайно далек от революционеров и вплоть до последних десятилетий XIX в. оставался невосприимчив к демократическим идеям. Не вина, а беда русских революционеров заключалась в том, что они были так долго далеки от народа.

Политическая неразвитость народа всегда активно использовалась идеологами российского самодержавия для борьбы с революционным движением. Реакционная печать отстаивала утверждения о враждебности народа к интеллигенции и провозглашала, что русское крестьянство сознательно воспринимало самодержавие как благо. «Глубокий политический сон масс крестьянского населения, — справедливо указывала В.А. Твардовская, — давал возможность представителям самых разных направлений ссыльаться на народ, так сказать «подтя-

гивать» его под свое знамя⁶². Этой же традиции продолжают следовать и многие реакционные идеологи Запада.

Однако, несмотря на определенную отчужденность российской интеллигенции, темпы ее формирования были в XIX в. весьма высокими. За вторую половину века количество высших и средних учебных заведений и число обучавшихся в них заметно возросло. Если к началу 1860-х годов в России было около 20 тыс. людей с высшим образованием, то к концу столетия их стало в 4 раза больше⁶³. И хотя процент лиц умственного труда в массе российского населения оставался исключительным, их консолидация в особый социальный слой проходила гораздо быстрее, чем в западноевропейских странах.

В целом же особенности развития русской интеллигенции отражали своеобразие становления капиталистической формации в стране. Практикуемая буржуазными исследователями подмена развития капитализма «вестернизацией» и абсолютизация на этой основе некоторых специфических черт русской интеллигенции преследуют, как правило, не научные, а политические цели.

В.Л. Ленин категорически отвергал попытки либерально-буржуазных идеологов отвести интеллигенции роль надклассовой силы, располагающей «свободой выбора» путей развития страны. Еще в конце XIX в. он отмечал, что «русская передовая, либеральная, «демократическая» интеллигенция была интеллигенцией буржуазной»⁶⁴. Это определение было совсем не полемическим выпадом, а отражением того реального факта, что всякое выступление прогрессивных сил против старого строя способствовало продвижению России в тот период только в одном направлении – в направлении буржуазного развития. Претензии же интеллигенции на всенародность В.И. Ленин рассматривал как форму, скрывавшую в действительности буржуазное содержание. Сама же по себе, вне связи с тем или иным классом, интеллигенция не играла определяющей роли. Буржуазная интеллигенция, подчеркивал В.И. Ленин, «не есть самостоятельный экономический класс и не представляет по этому никакой самостоятельной политической силы...»⁶⁵. Но это не значит, что интеллигенция не занимает видного положения в общественном движении. Напротив, ее роль всегда заметна, и ее значение стремительно возрастает по мере того, как та или иная часть ее начинает связывать свои устремления с интересами борющихся классов. В.И. Ленин видел в интеллигенции своеобразный барометр состояния классовой борьбы в стране. «...Интеллигенция, – указывал он, – потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе»⁶⁶. Как отметил В.В. Воровский, интеллигенция при капитализме «похожа на идейный парламент, где представители разных классов входят во всевозможные группировки соответственно тому, как группируются интересы пославших их клас-

сов»⁶⁷. На факт разнородности интеллигенции указывал В.И. Ленин в статье «Новая демократия». «Всехм буржуазии, — писал он, — и богатой буржуазной интеллигенции: адвокатам, профессорам, журналистам, депутатам и т.д., почти всегда свойственно тяготеть к союзу с Пуришкевичами», но нельзя не видеть и другой — демократической интеллигенции⁶⁸.

2. О причинах оппозиционности российской интеллигенции пореформенного времени

Распространенные в англо-американской историографии концепции происхождения русской интеллигенции направлены на то, чтобы навязать читателю представление о верхушечном характере общественного (в первую очередь революционного) движения в стране, о полной зависимости исторического развития России от влияния Запада, об исключительности или во всяком случае о локальной ограниченности социально-политических процессов, завершившихся революциями начала XX в.

Появление оппозиционных настроений в русском обществе буржуазные авторы считают неизбежным и вполне естественным следствием «вестернизации». Восприятие идей западных идеологов порождало, с их точки зрения, все более острую критику традиционных форм русской жизни. Усвоение понятий европейского просветительства, писал Р. Даниэльс, привело к росту притязаний на изменение старого строя в России. Царизм, конечно, уступать не хотел. Более того, события со временем французской революции до восстания декабристов «заставили русскую монархию отвернуться от западной модели, но было уже слишком поздно устранять критический фермент в среде рождавшейся интеллигенции»⁶⁹.

Мысль о невольном «самоподрыве» отсталого режима, стоявшего с передовым Западом, развиваются многие авторы. Монархия, заявлял Р. Пайпс, поначалу надеялась взять у Европы лишь то, что укрепило бы ее могущество, «однако, раз начавшись, процесс этот уже не мог быть остановлен, ибо, набирая силу и все менее завися от реформаторских мер правительства, элита общества сама принялась давить на монархию, добиваясь от нее прав, которые та сей предоставлять не собиралась». Было, замечал Пайпс, явным противоречием взыывать к гражданскому чувству русского народа (как это делали цари, начиная с Петра I) и одновременно отказывать ему в каких-либо юридических и политических гарантиях для защиты от всесильного государства⁷⁰. Сходные суждения высказывал и Ф. Бархурн. Русская монархия, писал он, все более нуждалась в работниках умственного труда. К середине XIX в. выяснилось, однако, что царизм испытывает по отношению к интеллигентам чувства страха и недоверия. Интеллигентов же все сильнее охватывало сознание несовместимости «полуфе-

дальной общественно-политической системы» и потребностей современного развития, а реакционные меры давали противоположный эффект. «Едва ли нужно объяснять, — подчеркивал Бархурн, — что запрет на иностранные идеи только увеличивал их привлекательность»⁷¹.

По такой логике подъем общественного движения в пореформенную эпоху объясняется существенным усилением «европеизации» страны. Так, американский исследователь С. Блэк писал, что о развитии России после 1861 г. надо говорить с учетом ее «модернизации», причем под последней понимал процесс перехода от аграрного строя к индустриальному. Россия, подчеркивал он, являла собой пример относительно быстрой трансформации «традиционного» общества. Сильной деформации подверглись в ней и система управления, и классовая структура, и социальные институты, и даже личностные ценности. В таких условиях, замечал Блэк, неизбежен разрушительный эффект в области социально-психологических отношений, и, следовательно, открываются возможности для проявления всевозможных оппозиционных, в том числе и экстремистских, настроений⁷². Таким образом, развитие демократического движения 1860–1880-х годов рассматривалось им в качестве издержек ускоренной «трансформации» России. Оппозиционность, считал В. Нагирный, была прямым следствием разрушения — в ходе «модернизации» — старой социальной структуры⁷³. Теория «модернизации» создает лишь видимость решения проблемы истоков российского освободительного движения, поскольку «трансформация» страны лишается какой-либо социально-классовой определенности. Очевиден политический смысл такого подхода: буржуазные идеологи стремятся доказать отсутствие внутренних условий для развития общественного движения в России, а попутно и навести мосты между царизмом и современным советским строем. Именно в периферийном положении пореформенной России, в ее зависимости от западных влияний видят современные буржуазные авторы ключ к пониманию истоков и общественного движения вообще и революционного демократизма в частности. При этом нашей стране приписывается особый путь развития, принципиально отличный от «демократической» эволюции Запада. Оппозиционность интеллигенции, заявил, в частности, Р. Пайпс, проявляется себя «сильнее и настойчивее в тех странах, где авторитарное правительство сталкивается с восприимчивой к новым идеям образованной элитой. Здесь возможность и желание действовать вступают между собой в острый конфликт и интеллигенция кристаллизуется в государство в государстве». Такое явление, по мнению Пайпса, не возникает в устойчивых деспотиях и «в правильно функционирующих демократиях, где идеи могут быстро воплощаться в политику». Общественное движение, утверждал он, являлось проявлением борьбы против вотчинного начала во внутренней жизни России⁷⁴.

О невозможности «интеллигентской оппозиции» на Западе

писал и английский историк А. Кудрявцев. В развитых странах Европы, отмечал он, не было столь резкого разрыва в культурном облике элиты и масс, а «культура любого лорда, буржуа или крестьянина оставалась совершенно единой»⁷⁵.

Откровенная идентификация политического строя западных стран вообще чрезвычайно характерна для современной буржуазной историографии. Можно заметить, что буржуазные исследователи неизменно оперируют абстрактными понятиями «Запад», «западные влияния», «западная культура» и т.п. В результате в их трудах нельзя найти ответ на целый ряд конкретных вопросов истории общественного движения в России. В самом деле, почему пресловутая «вестернизация» началась в XVIII в. и резко усилилась с середины XIX в.? Нельзя же всерьез думать, что развернувшиеся в стране сложнейшие процессы есть результат игры случайных обстоятельств, не связанных с развитием феодализма как общественно-экономической формации. Приходится признать, что определяющее воздействие на англо-американскую историографию оказывает антиреволюционность современной буржуазии, более всего заинтересованной в локализации «русского опыта».

Так, впрочем, было и раньше. Русский либеральный историк А.А. Корнилов в свое время тоже сводил причины общественно-го движения к несоставлению между идеалами интеллигенции и реакционной политикой правительства. Как и Н. Рязановский, он тоже указывал, что в николаевскую эпоху произошло печально для судей страны разобщение правительства с «лучшими и наиболее самостоятельными представителями передового мыслящего общества»⁷⁶. А о том, что история русской интеллигенции есть прежде всего история русского сознания, дореволюционные либеральные авторы писали бесчисленное множество раз.

Созвучие идей нынешних западных и дореволюционных русских буржуазных историков вполне закономерно. И у тех и у других одна классовая задача — доказать, что у революционного движения нет глубоких социальных корней, что оно не вытекает из внутренних потребностей общественного развития.

Фиксируя внимание на повышенной общественно-политической активности пореформенной интеллигенции, буржуазные авторы часто ссылаются на существенные перемены в ее социальном составе. Переход лидирующей роли в общественном движении от дворян к разночинцам, писал С. Хэркейв, привел к естественному повышению радикализма, так как на смену мягкотелым и образованным гуманистам — дворянам — пришел тип требовательного и несдержанного в своих устремлениях плебея-демократа. Последнему нечего было жертвовать и не в чем каяться, он шел требовать для себя, а заодно и для прочих угнетенных классов России⁷⁷. Примерно так же характеризовали новую ситуацию Х. Ситон-Уотсон, Т. Самуэли, Дж. Биллингтон и многие другие авторы.

В данном случае имеет место спекуляция на определенном

моменте истины: разночинец действительно отличался и решительностью, и более глубоким демократизмом в сравнении с прогрессивными общественными деятелями 40-х годов XIX в. Однако этот факт буржуазные историки используют для утверждения своего принципиального вывода об элитарном происхождении русской революции и вообще всего общественного движения в стране. Радикализм разночинца, заявил Т. Самуэли, лишь усугублялся его дескласированностью, положением истинного интеллектуального пролетария, изолированного от правящих классов своим мировоззрением, а от народа — образованием. Такой интеллигент, писал Самуэли, вставал в оппозицию не потому, что существовавший социальный строй был неэффективным, а потому, что он сам отвергал идею служения системе, основанной на несправедливости, угнетении, нищете. Следовательно, принятие революционных методов решения стоявших перед страной проблем было обусловлено не объективными факторами, а только «интеллигентским отрицанием существовавшего строя»⁷⁸.

Революционно-демократическое движение пореформенной эпохи сводится, таким образом, к бунту второго «интеллигентского» поколения, а все своеобразие этого бунта определяется особенностями формирования и психологического облика разночинцев. Контраст между новыми интеллигентами и их предшественниками, замечал Н. Перейра, был очень резким, он проявлялся и в одежде, и в разговорах, и в повседневном поведении. И если в прошлом разночинец занимал как бы оборонительную позицию, пытаясь подражать манерам и облику дворянства, то после Крымской войны положение круто изменилось. Теперь разночинцы не только перестали смущаться своим низким происхождением, а, напротив, превратили его в признак открытого морального превосходства⁷⁹.

О качественном изменении состава интеллигенции как основной причине активизации общественного движения писал и Дж. Фишер. Пришедшие на смену «отцам» плебейского происхождения «дети», заявил он, стали вульгарнее относиться и к искусству, и к жизненным условиям, и к политике. Именно поэтому они охотно воспринимали различные вариации социализма, отвергая гуманный, требующий широкого кругозора либерализм «отцов»⁸⁰. Подобный подход к оценке разночинского этапа освободительного движения в России следует считать характерным для англо-американской историографии. Восприятие социалистических идей и активизацию деятельности демократической интеллигенции буржуазные авторы расценивают как явное «ухудшение» общественной жизни России, как уклонение от «нормального» и «сбалансированного» развития западного образца.

Типичными для буржуазной методологии являются и распространенные попытки вывести истоки демократического движения из обстоятельств и условий жизни русского студенчества середины XIX в. Со второй половины 1850-х годов, писал

М. Флоринский, несмотря на определенные послабления правительственноного курса, «университеты стали ареной периодических беспорядков, которые превратились в постоянный фактор академической жизни в России вплоть до конца империи»⁸¹. В положении русского студенчества усматривает основные причины демократического подъема 1860–1870-х годов и Д. Броуэр. Высокая социальная мобильность студенческого состава, наблюдавшаяся в России со второй половины 50-х годов XIX в., вела, по его мнению, к развитию экстремистских тенденций. Радикальные и оппозиционные движения, писал Броуэр, вообще часто вырастают на почве дестабилизации социального состава учащейся молодежи. Интенсивное знакомство с новыми идеями вызывало у студенчества критические настроения по отношению к старому строю; нестабильность же общественного положения многих студентов доводила их критику до крайних форм. Вот почему понять природу революционного движения в России можно, с точки зрения автора, лишь изучив жизнь высшей школы. «Процесс радикального рекрутования, – заявлял он, – коренился в системе просвещения страны. Бунт радикалов стал неизбежной частью трансформации России»⁸².

В позиции Д. Броуэра ясно прослеживается сочетание теории «вестернизации» с распространенными в буржуазной литературе концепциями перманентного бунта студенческой молодежи. Аналогичный подход характерен для работ П. Эльстона, Ф. Рэндснэлла, Т. Самуэли и ряда других авторов. Особенно заметной такая трактовка стала с 1960–1970-х годов, т.е. со временем значительной активизации демократических выступлений студенческой молодежи Запада. Л. Фойер, в частности, называл революционные выступления русского студенчества «абсолютно свободными от классовых интересов» и определял их как классический пример бунта молодого поколения. Положение дел в России усугублялось, по мнению этого историка, тем обстоятельством, что помимо возрастного экстремизма здесь на настроениях студенчества сказалась враждебность окружавшей их среды к усвоенным в процессе обучения западным духовным ценностям. Отсюда, писал он, повышенная политизация русских студенческих волнений. Даже происхождение народничества Фойер объяснял психологией социально изолированного бунтующего студента. В студенческих волнениях, отмечал он, всегда заметно тяготение к низшим классам, поскольку молодежь ощущает потребность в массовой поддержке. Следовательно, в студенческом движении всегда заключается «народнический ингредиент»⁸³. «Дети» эмоционально всегда готовы отождествить себя с теми, кого угнетают их «отцы». А если число волнующихся студентов невелико – как это и было в России после 1861 г., – такая тяга к потенциальным союзникам становится особенно сильной. Это стремление будет устойчивым, несмотря на самые суровые испытания. В случае же отрицательной реакции масс, по Фойеру, движение может

обратиться «к тактике, базирующейся на воле самого студенчества, будь то терроризм или другие формы прямого действия»⁸⁴.

Л. Фойер допускал, что движение разночинного студенчества было направлено против жесткой, а подчас и несправедливой политики самодержавия. Но все же определяющей в его взорениях является оценка истоков общественно-политического подъема с позиций всенародного, абстрактного психологизма и фрейдизма. Отметим также, что близкую Л. Фойеру позицию занимал А. Глисон, решительно возражавший советским историкам, которые убеждены, что рост студенческого недовольства свидетельствовал об общем кризисе существовавшей в России системы. Такое объяснение Глисон объявлял несостоительным и догматическим. Да и вообще, с его точки зрения, теория «отражения» не может определять существо взаимосвязи между идеологией и типом экономических отношений. Основу волнений студенчества он призывал искать в собственном положении массы учащихся⁸⁵.

Взгляды Л. Фойера, А. Глисона и их сторонников направлены прежде всего на то, чтобы затушевать реальные причины и социально-классовые основы демократических выступлений молодой интеллигенции России. Буржуазных идеологов весьма устраивают заявления о вечно повторяющихся конфликтах между «отцами» и «детьми», о «неизбежности столкновений в любом динамичном обществе» и т.д. Тем самым искажается не только природа российского освободительного движения, но и суть проявлений идеологического кризиса современного капиталистического общества⁸⁶. И если замстить, что в правящих кругах царской России и в реакционной печати также настойчиво проводилась мысль о сугубо специфических причинах развернувшегося с 1860-х годов демократического движения. Публицист В.П. Мещерский, например, заявлял, что лишь герценовские статьи да какое-то послабление дисциплины «решительно во всех слоях общества, до учебных заведений включительно», привели к тому, что начала складываться неожиданная перемена в образе мыслей учащейся молодежи⁸⁷. Мещерский более всего винил нерадивых руководителей министерства народного просвещения, не сумевших удержать студенческую массу в строгом повиновении. Однако принципиально его подход не отличается от современных трактовок американских исследователей: истоки общественного подъема сводятся к волнениям незрелой и нетерпеливой молодежи.

Взгляд на русское общественное движение с точки зрения «перманентного бунта молодежи» часто связан с характерными для либеральной историографии ссылками на ответственность самого царского правительства за «излишне беспокойное» состояние разночинной молодежи. Такой трактовки придерживался, в частности, П. Эльстон. Решающее влияние на усиление революционных выступлений студенчества имел, по его мнению, реакционный курс министерства Д.А. Толстого. Грубая репресс-

сивная политика, полагал Эльстон, довела студенческую молодежь до организованного возмущения и в конце концов до террора. И напротив, когда в период диктатуры М. Т. Лорис-Меликова Д.А. Толстой был смешен, «террористы оказались не в силах привлечь на свою сторону сколько-нибудь значительную студенческую поддержку»⁸⁸. Этот автор ближе, конечно, не к В.П. Мещерскому, а к русским либеральным деятелям, например к К.Д. Кавелину или А.Д. Градовскому, которые полагали, что волнения молодого поколения являлись результатом непоследовательности и бюрократического притеснения со стороны реакционных руководителей министерства просвещения. Русские либералы, как известно, всегда выступали против революционной деятельности, настаивая на необходимости сбережения молодых интеллигентных сил⁸⁹.

Английские и американские исследователи находят разные причины для объяснения общественно-политического подъема в преобразованной России. Но условия социально-экономического развития и рост классовой борьбы они практически игнорируют. О народных массах, в первую очередь о крестьянстве, буржуазные авторы пишут как об особом мире, отделенном от образованных слов пропастью многовековой культурной отсталости и уже поэтому совершенно чуждом идеям и интересам оппозиционной интеллигенции. А некоторые из них считают, что разговоры об угнетенном положении русского крестьянства – вообще явное преувеличение. Р. Пайпс, например, заявлял, что с середины XVIII в. и до отмены крепостного права «и помещик, и крестьянин были относительно зажиточны». Сложившиеся у него «общие впечатления» «как-то не подтверждают картины всеобщих мучений и угнетения, почерпнутой в основном из литературных источников»⁹⁰. Если и возникали какие-то кризисные явления в экономическом положении крестьян, то виноваты в этом, по мнению Пайпса, не помещики, а плохая агротехника, экстенсивное ведение хозяйства, перенаселенность и т.д.⁹¹ Таким образом, движение интеллигенции – это дело самой интеллигенции, и никого более.

О значении классовой борьбы трудящихся масс английские и американские историки либо вовсе умалчивают, либо в лучшем случае отводят ей роль фона, на котором разворачивалось единоборство самодержавия с интеллигенцией. Народные массы России вообще не вызывают у западных историков особого исследовательского интереса. Правда, в 60-е годы XX в. появились работы, авторы которых освещают экономическое и правовое положение российского крестьянства, его культурный облик⁹². Однако классовая борьба и ее влияние на политическую жизнь России практически не анализируются и в этих работах. Обычно же жизнь русских крестьян характеризуется как «нерациональная», отличавшаяся грязью и неряшливостью, глубокой покорностью и ограниченностью⁹³. Охотно подчеркивается наивный монархизм крестьянских масс и одновременно отмечается якобы извечно присущий им стихийный анархизм.

«Преданность царю, — писал Р. Пайпс, — не означала взятие на себя какой-либо гражданской ответственности; более того, за нею было скрыто глубочайшее отвращение к политическим институтам и политике вообще»⁹⁴. Русский народ, по его оценке, не знал никаких личных прав, признаваемых законом, не имел никаких понятий о принципах государственного управления и, вследствие этого, мало подходил для какого-либо политического строя, кроме авторитарного. А случавшиеся время от времени волнения, уверял Пайпс, вовсе не следует считать фактами классовой борьбы; они якобы были лишь проявлением «простого» неповиновения, «выполняли такую же функцию, как забастовки в современных демократических обществах, и точно так же могут служить надежным барометром социального разлада или политического недовольства»⁹⁵.

Делая подобные выводы, современный американский историк выглядит более близоруким аналитиком, чем руководители III Отделения, хорошо понимавшие в свое время всю огромную опасность «простого» неповиновения крестьянства.

Российскому крестьянству обычно приписывается не только феноменальное долготерпение, но также и способность к страшным, беспощадным и бессмысленным проявлениям необузданной ярости. Такой народ, подчеркивал Я. Уолкин, мог иногда представлять собой «отличный материал для распространения самой безответственной демагогии»⁹⁶. Народные волнения изображаются буржуазными авторами в качестве средства, которое использовала радикальная интеллигенция для достижения своих собственных политических целей. Массы народа, заявлял П. Аврич, играли роль поставщика взрывчатой энергии для революционных интеллигентов. Причем «творцы революции», подчеркивал он, стали ее же главными жертвами «и были раздавлены новым режимом, который они привели к власти»⁹⁷.

Лишь очень немногие исследователи либерально-объективистского направления рассматривают развитие освободительного движения как проявление общего кризиса феодально-крепостнических порядков и внутренней политики самодержавия. К их числу относится, например, Е. Ламперт. Определив разночинцев как новый тип «интеллектуалов, политиков и конспираторов», Ламперт отмечал, что эти люди никогда не были «патологическими изгоями» в своем обществе. Стремление разночинца к свободе включало интересы всех угнетенных, писал Ламперт, и, «вопреки постоянным утверждениям официальной русской прессы, он не был чужеродным пришельцем и не принадлежал к среде, отчужденной от народа». Чернышевский, Добролюбов, Ткачев, Щедрин, по Ламперту, видели реальное положение русского крестьянства, состояние деградации и невежества, в которое погрузили его века бесправия и угнетения. Разночинцы возмущались антигуманностью русского строя, они поднимались на борьбу потому, что считали необходимым сделать решающий выбор. Любой другой путь, с их

точки зрения, означал измыну гуманизму. «Они стали воплощением человеческого благородства в один из наиболее трудных периодов русской истории», — писал Е. Ламперт⁹⁸.

Попытку непредвзятого освещения положения масс и массового движения в дореволюционной России предпринял и Р. Зелник. Он писал, в частности, о развитии контактов между народнической интеллигенцией и городскими рабочими в 70-е годы XIX в., отмечал определенный рост политического сознания петербургского пролетариата⁹⁹.

Добросовестнос стремленис Е. Ламперта и Р. Зелника понять истинные причины освободительной борьбы в России за-служивает полного уважения. Однако в их работах речь не идет дальше указаний на гуманизм русских демократов-разночинцев, на выражение ими интересов народа. Объективной оценки истоков общественного движения в пореформенной России не дают и они, оставаясь на позициях буржуазной методологии, хотя и на левом ее фланге.

Концепции происхождения общественно-политического движения в России естественно связаны с общими представлениями о своеобразии ее социальной структуры в середине прошлого века. Буржуазныс авторы с особым усердисм подчеркивают то обстоятельство, что политическая оппозиционность в ней сосредоточилась в чрезвычайно узкой социальной среде, оказавшейся к тому же во враждебном окружении.

В работах английских и американских исследователей часто встречаются указания на «простоту» и неразвитость общественного организма в России. С русском обществе пишется как об обществе, не имеющем сколько-нибудь значительных промежуточных слоев, с исключительно резкой поляризацией между просвещенными «верхами» и массой народа. В основу такой стратификации кладется не классовый критерий отношения к средствам производства, а степень «европеизации», окультуривания тех или иных слоев общества. Резкая контрастность общественной структуры не могла, по мнению буржуазных исследователей, сказаться благоприятно на политическом развитии страны. Для русской интеллигенции, с одной стороны, и правящей верхушки — с другой, становилось, по оценке западных авторов, привычным непримиримо враждебное отношение друг к другу, политические силы в отличие от «нормальных» западных обществ воспитывались в духе абсолютной неприязни к компромиссам. В такой ситуации, писал Г. Боуман, даже вполне безобидные взгляды вели к развитию радикализма¹⁰⁰.

С особой озабоченностью зарубежные историки пишут об отсутствии в России развитого «среднего класса», или буржуазии. Конечно, замечал Х. Ситон-Уотсон, прослойка «деловых людей» в XIX в. хотя и медленно, но развивалась, «однако было бы нереалистичным применять к России мерки западно-европейского общества и говорить о буржуазии как об определенном и однородном среднем классе»¹⁰¹. Именно отсутствие «среднего класса» расценивается в буржуазной литературе как

решающее отличие социально-политической истории России от истории Запада, где, по словам Р. Пайпса, буржуазия всегда энергично отстаивала свои «деловые» интересы, «а поскольку интересы эти требовали законоправия и защиты прав личности, он (буржуазный класс. — М.К.) боролся за общественное устройство, соответствующее идеалам, которые впоследствии стали называть либеральными». Поскольку же русская буржуазия была очень слабой, подчеркивал Пайпс, «есть смысл полагать, что между ставшей притчей во языцах неразвитостью законности и свободы личности в России и бессилием или апатией ее среднего класса существует отнюдь не поверхностная взаимосвязь». Средний класс, с сожалением констатировал советолог, «остался в стороне от судьбоносного конфликта между интеллигенцией и правительством, завязавшегося в середине XIX в.»¹⁰².

И популярность социалистических идей среди русских интеллигентов, по мнению Пайпса, тоже объяснялась слабостью буржуазии. Политическое бессилие российского «среднего класса», писал он, «вытекало прежде всего из выработанного многовековым опытом убеждения, что путь к богатству в России лежит не через борьбу с властями, но через сотрудничество с ними». Поскольку же погоня за материальными благами в стране «столь сильно отождествлялась со старым режимом и раболепием перед государством, любой нарождающейся оппозиции следовало начисто отмести свою скрытность, сей надлежало быть — или хотя бы выглядеть — абсолютно бескрыстной». Поэтому, подчеркивал Пайпс, «вышло так, что борьба за политические вольности с самого начала велась в России точно в том духе, в каком... вести ее никогда не следует, — во имя абстрактных идеалов»¹⁰³. Итак, суть проблемы заключается, по мнению Пайпса, в политической бесхребетности российской буржуазии, в ее готовности уйти в сторону от политических схваток интеллигенции с властью.

Противопоставление общественного развития России и Запада позволяет буржуазным историкам считать русское революционное движение естественным следствием отсталости страны. Оценка революционной демократии как социального явления, возможного только в отсталой стране, подчеркивал Дж. Кип, стала общепризнанной среди западных исследователей¹⁰⁴.

Известный на Западе специалист по экономической истории отсталых стран А. Гершенкрон утверждал, что позднее вступление России на путь «модернизации», захватившей к тому же только экономику города, при сохранении ярко выраженных атрибутов отсталости (авторитарный деспотический режим, забитость и бесправие масс, прикрепление крестьян к общине и т.д.) обусловило совершенно особое положение интеллигенции. Интеллигенты, писал он, «были насилием оторваны от активной деятельности в решении практических проблем. Вследствие этого они были брошены в объятия отвлеченных мечтаний, которые в условиях разрыва с реальностью приняли форму

растущего радикализма, а радикализм в мыслях в свою очередь вел к радикализму в действиях»¹⁰⁵. Растущий радикализм, по утверждению Гершенкrona, был естественной реакцией разночинцев, оторванных абсолютизмом от нормальных профессиональных занятий и ограниченных областью «чистой мысли». Таким образом, истоки происхождения оппозиционного движения автор усматривал в низком уровне «вестернизации» страны. Гершенкron заявлял о своем принципиальном несогласии с концепцией Ф. Вентури, по мнению которого «народничество следует рассматривать как страницу в истории европейского социалистического движения»¹⁰⁶.

На «крайнюю непрактичность» русских демократов указывал и И. Берлин. Революционеры, писал он, погрузились в пучину поисков решений «проклятых вопросов»: «Откуда мы?»; «Почему мы такие, какие мы есть?»; «Что делать?» и т.п.¹⁰⁷ В идеино-психологическом максимализме интеллигентов И. Берлин усматривал основные причины и необычайного энтузиазма участников «хождения в народ», и беспрецедентной по своему накалу террористической борьбы народовольцев¹⁰⁸. Г. Кон писал об особой склонности российских демократов к идеиному экстремизму. Живя в мире исключительно идеальных представлений, отмечал он, русские интеллигенты критиковали все, им «все казалось достижимым». «Волшебный мир романтизма и социальных утопий», по словам Коня, «неизбежно приводил к экстравагантной и неверной интерпретации характера русского народа, или русской истории, или того и другого сразу»¹⁰⁹. Здесь вновь бросается в глаза совпадение подобных оценок со стародавними взглядами русских либералов. Еще Б.Н. Чичерин в одном из своих антиреволюционных сочинений по существу тоже самое говорил об особенностях мировоззрения молодой русской интеллигенции*. «В царствование Николая I, — писал он, — особенно в последние его годы, русскому человеку нечего было более делать, как фантазировать, а так как образование было скучное и наука не полагала предела воображению, то последнее предавалось разгулу. Уже в то время социалистические идеи были в полном ходу среди учащейся молодежи»¹¹⁰. Объявить революционные и социалистические учения «пустыми фантазиями» — неизменное желание тех, кто хочет

* Фрагменты книги Б.Н. Чичерина были недавно опубликованы в советской печати («Новое время. N 4. 1990. Рубрика «Рукописи не горят»). Бессмертные булгаковские слова здесь явно не подходит — работа эта и раньше была хорошо известна исследователям. Новые публикаторы, подавая ее в апологетическом тоне, явно не хотят считаться с реалиями России XIX в., накопившей социальный материал громадной взрывчатой силы.

закрыть глаза на суровую действительность дореволюционной России.

Подчеркивая особенный «идеализм» русских интеллигентов, буржуазные авторы часто отмечают, что в практической деятельности им отказывал режим самодержавия. Студентам 1870-х годов, писал Бергман, нередко приходилось страдать от безработицы. При слабости промышленного развития ни земства, ни другие учреждения, созданные реформами Александра II, не могли обеспечить занятость многим выпускникам, чьи семьи испытывали экономические трудности в связи с отменой крепостного права, поэтому революционная деятельность становилась для них все более и более привлекательной¹¹¹. Многие буржуазные авторы, впрочем, заявляют, что «праздность» интеллигенции объяснялась отнюдь не отсутствием вакансий. Крохотный контингент образованных людей, подчеркивал М. Малин, «легко мог бы быть поглощен постоянно растущим бюрократическим аппаратом государства или возрастающим числом свободных профессий»¹¹². Зарубежные историки сходятся на том, что отсталость социального развития России предопределила якобы беспочвенность интеллигенции, лишенной возможности опереться на «промежуточные слои», на «средний класс». Такая опора, с точки зрения российских, умерила бы запросы интеллигентов, дала бы им возможность заняться действительно целесообразной практической деятельностью.

Объяснение природы общественного движения ссылками на «отсталость» России тоже нельзя считать открытием англо-американской историографии. Взгляды А. Гершенкrona или И. Берлина вполне созвучны, например, трудам Д.Н. Овсянико-Куликовского, писавшего, что только «в странах отсталых и запоздалых» интеллигенции принадлежит особая роль. Будучи инородным телом, считал русский историк, интеллигенция в таких странах не может выйти из состояния брожения «и обосноваться на прочном базисе разнообразного и плодотворного культурного труда, на который был бы спрос, без которого страна не только не смогла бы обойтись, но и сознавала бы это»¹¹³. Поэтому, считал Д.Н. Овсянико-Куликовский, русской интеллигенции XIX в. была свойственна крайняя отвлеченност и неуравновешенность мировоззрения, которыми он объяснял «крайности общественного развития России. Правда, русский либерал выражал надежду на умиротворение интеллигенции. Такой оптимизм современны буржуазные авторы, естественно, разделять не могут. Но они вполне присмлют идеалистическую методологию русских дореволюционных исследователей. Буржуазные идеологи разных направлений и эпох вполне единодушны в стремлении доказать нелогичность революционной борьбы, ее несоответствие «нормальному» общественному развитию.

Противники революционного движения с давних пор указывали на прозападные источники русской оппозиционности. На

тлестворнос влияниес Запада постоянно сставали деятели официально-охранительного лагеря. А веховец М.О. Гершензон заявлял, что в России «и в помине не было своей национальной эволюции мысли... Мы просто хватали то, что каждый раз для себя создавала западная мысль, и носились с этим даром до нового, лучшего подарка»¹¹⁴. Страшась развивавшегося в стране революционного движения, один из лидеров российского либерализма, П.Н. Милюков, также сокрушался по поводу «неразвитости общественных отношений в России», слабости и замедленности ее экономического развития, ее абсолютной отсталости. Он утверждал, что развитие России происходит благодаря давлению Запада и в результате пересадки новых элементов сверху. П.Н. Милюков и П.Б. Струве обосновывали в свое время теорию искусственного насаждения капитализма самодержавием, стремясь таким образом доказать отсутствие почвы для массового революционного движения¹¹⁵. Их взгляды нашли отражение в последующих произведениях русских и зарубежных буржуазных историков.

Коренные причины общественного подъема пореформенной поры марксистская наука видит в нарастании острейших социально-экономических противоречий, в объективной исторической необходимости для России решить задачи буржуазно-демократических преобразований, ликвидировать остатки феодального строя. Буржуазные исследователи уходят от анализа этой глубинной проблемы и свое основное внимание концентрируют на вопросе о носителях общественно-политической оппозиции. При этом отталкиваются они от некоторых реальных особенностей политического развития России. В стране вплоть до конца XIX в. не было революционной силы, чья наступательная энергия обеспечила бы успех в борьбе против самодержавия. Народ, писал В.И. Ленин, «сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли»¹¹⁶.

Конечно, причина нереволюционности сознания крестьянских масс заключалась не только в их безграмотности или в культурно-психологической отчужденности от передовой интеллигии. Неспособность крестьянства подняться на самостоятельную революционную борьбу прежде всего объяснялась противоречивой экономической основой его хозяйственной жизни, распыленностью и неорганизованностью. Крестьянство, справедливо подчеркивал академик Н.М. Дружинин, «даже при наличии собственных идеологов, сознательно ставивших революционные задачи, не в состоянии совершить буржуазную революцию без руководства организованного класса — гегемона; или революционной буржуазии, как это было на Западе, или революционного пролетариата, как это было позднее в России»¹¹⁷.

Не могла претендовать на роль революционного класса и

быстро развивавшаяся российская буржуазия. Гораздо более длительное, чем в западноевропейских странах, наличие крепостничества исключило возможность образования в нашей стране сколько-нибудь развитого и сплоченного «третьего сословия». Исторически сложилось так, что в классовом отношении русская буржуазия в начале своего существования «была неорганизованна и являлась не влиятельным и деятельным классом городских бюргеров, как в западных странах, а низшим, непривилегированным податным сословием»¹¹⁸. Нельзя забывать и то, что освободительное движение разночинной интеллигенции развивалось одновременно с ростом революционной борьбы западноевропейского пролетариата. Поэтому русская буржуазия предпочитала смотреть на самодержавный деспотизм как на естественный противовес выступлениям трудящихся масс. И хотя классовые интересы буржуазии не удовлетворяло существование феодальной политической надстройки, на активные действия она никогда не решалась. Время же выхода пролетариата России на дорогу самостоятельной революционной борьбы было еще впереди. Вот почему в стране возникло положение, когда «в теченис десятилетий после 1861 года русские революционеры, геройски стремясь поднять народ на борьбу, оставались одинокими и гибли под ударами самодержавия»¹¹⁹. В пореформенную эпоху на плечи демократической интеллигенции легла непосильная для нее задача громадной исторической сложности. Осуществить же ее мог только революционный класс.

Быстро нараставшая оппозиционность разночинцев имела вполне конкретные причины, которые никак нельзя ограничить психологическим бунтом молодого поколения. Демократическое крыло русской интеллигенции отличалось весьма неустойчивым материальным положением. Особенные экономические трудности приходилось испытывать учащейся молодежи, большинству русских студентов. Попадая в высшие учебные заведения, основная масса разночинной молодежи сразу же начинала вести тяжелую борьбу за существование и далеко не все студенты могли ее выдержать. По справедливому замечанию советского историка Г. Вульфсона, царское правительство принимало настойчивые меры, чтобы лишить разночинцев экономической базы. «Тяжелые материальные условия, — писал он, — и то морально-правовое положение, в которое были поставлены многие представители разночинной интеллигенции (в том числе учащаяся разночинная молодежь), рождали настроения протesta против установленных порядков. Это не могло не способствовать политическому пробуждению разночинцев»¹²⁰.

У русских разночинцев не было ни земли, ни денег. Молодая разночинная интеллигенция была в основе своей интеллигенцией трудящейся, на собственном опыте убедившейся, что значит эксплуатация и угнетение. Это обстоятельство заметно отличало разночинную интеллигенцию от дворянской интеллигенции предшествовавших десятилетий, оппозиционность кото-

рой была в значительной мере окрашена в романтически-мечтательные тона. Революционность разночинцев же была гораздо более требовательной и наступательной в части обеспечения прав всех трудящихся. Как верно заметил историк-демократ А.П. Щапов, в дворянском сословии, «хотя бы то и в людях с высшим университетским образованием, далеко не бьется так живо пульс крови народной, далеко не горяча так симпатия к простому, рабочему народу, далеко не сродно так чутье и понимание потребностей рабочего народа, — как все это присуще, кровно и сродно сердцу ломоносовых и вообще научно-рабочих выходцев из простого народа»¹²¹.

Помимо экономических лишений русская разночинная интеллигенция страдала от реакционной политики царского правительства в области просвещения, от прямого административного насилия. В течении всей второй половины XIX в. правительство всячески ограничивало корпоративные права студенчества, систематически подавляло проявления его общественной активности. Правящие круги России прочно усвоили взгляд на студента как на фигуру политически опасную, над которой надлежало учредить неусыпный полицейский надзор. Доступ в высшие учебные заведения выходцам из неимущих сословий постоянно затруднялся. «Русская придворная партия, — замечал К. Маркс, — пытается взять назад все уступки, сделанные во время «новой эры» 1861 года и следующих за ним лет, и притом истинно русскими способами. Так, например, снова в университеты допускаются лишь «сыновья высших сословий», и, чтобы провести эту меру, всех остальных проваливают на выпускных экзаменах... И после этого удивляются распространению «нигилизма» в России»¹²².

В основе вызревания революции лежали и лежат в первую очередь материальные факторы или, говоря точнее, нарастание конфликта между растущими производительными силами и одряхлевшими производственными отношениями. Но революция — не механическое действие слепых экономических сил. Она обязательно предполагает сознательное участие в ней достаточно активных общественных масс, направляющих в нужное русло энергию классов. А это и определяет значительную и ответственную роль передовой интеллигенции как в идейной подготовке революции, так и в ее проведении. Революционное сознание — необходимый атрибут революционного действия. Но для успеха революции еще более важно, чтобы революционная мысль, выработанная прогрессивной интеллигенцией, нашла благоприятную среду в массе революционных классов. Только в этом случае передовые идеи могут стать материальной силой, необходимой для успеха революции.

Драматизм положения прогрессивной русской интеллигенции как раз и состоял в том, что ее идеи, возникшие совершенно закономерно, долгие десятилетия не находили благоприятной классовой среды. Революционное сознание в целом не выходило за пределы весьма узкого социального слоя, что в конечном

счете обусловило историческую невозможность достижения поставленных демократами целей¹²³.

Следствием такой ситуации являлись, с одной стороны, ис-обычайная активность и энергия демократической интеллигенции, а с другой — ее устойчивая приверженность к социальной утопии. «Чем меньше свободы в стране, — писал В.И. Ленин, — чем скучнее проявления открытой борьбы классов, чем ниже уровень просвещения масс, — тем легче возникают обыкновенно политические утопии и тем дольше они держатся»¹²⁴.

Своей целеустремленностью, небывалой самоотверженностью и героизмом русские революционеры-демократы стремились хотя бы частично компенсировать отсутствие поддержки со стороны угнетенных классов. При этом вынужденная необходимость ориентироваться прежде всего на собственные силы и инициативу вела к созданию условий для возникновения и культивирования теорий о возможности решающего влияния интеллигенции на исторические судьбы России. Народникам, подчеркивал В.И. Ленин, был присущ «взгляд на интеллигенцию, которая будто бы в состоянии выбирать более или менее благоприятные пути для отечества и стать «внеклассовым судьей капитализма, а не выразителем класса, который порождается как раз в силу разрушения старых форм жизни капитализмом»¹²⁵.

Революционная интеллигенция на определенных исторических рубежах опережает в политическом развитии угнетенные классы и, проповедуя в конечном счете идеологию именно этих классов, некоторое время находится в «отрыве» от них. И это, вопреки утверждениям буржуазных авторов, отнюдь не только русское явление. В. Малаховский в свое время точно подметил, что «такое положение, когда группа идеологов и передовых элементов, являющихся выразителями и представителями определенного класса, в течение некоторого и иногда длительного периода не слиты с широкими массами данного класса, — обычно»¹²⁶. Особенность России заключалась не в том, что революционная интеллигенция здесь сложилась и действовала как сила, изначально противостоявшая всему «остальному» обществу, а в том, что ей пришлось более продолжительное время, чем, скажем, интеллигенции на Западе, действовать в одиночку в «ожидании» выступлений революционного народа. К чести русских революционеров-разночинцев, эти «ожидания» не были пассивными, но наполненными напряженными и мучительными поисками правильного революционного пути. Выразители революционных и социалистических идей, писал П.Л. Лавров, настойчиво «искали базу для политического и социального подъема то среди крестьян в деревнях и рабочих в городах и промышленных районах, то прибегали к открытой борьбе против членов правительства и его опоры»¹²⁷.

И не только некоторое опережение политического развития интеллигенции нельзя считать специфическим российским явлением. В периоды своего интенсивного развития интеллигенция любого общества склонна к субъективно-идеалистическим пред-

ствлениям о собственной социальной роли. Интеллигенции, писал А. Грамши, как только она начинает чувствовать свою историческую преемственность и «особые качества», свойственны представления о собственной автономии, хотя в действительности она такой не является. «Эта позиция «самообособления», — подчеркивал он, — не остается без далеско идущих последствий в области идеологии и политики: вся идеалистическая философия может быть легко увязана с этой позицией, занятой социальным комплексом интеллигенции, и определена как выражение той социальной утопии, в соответствии с которой интеллигенты считают себя «независимыми», автономными, обладающими собственными чертами и т.д.»¹²⁸. В связи с этим рассуждения о национальной исключительности русской интеллигенции и о ее чрезвычайно экстремистских качествах нельзя квалифицировать иначе как примир откровенного подчинения научного анализа определенным политическим целям.

Разочарованная интеллигенция не могла установить идеологического и политического союза с массами крестьянства. Это стало одной из главных причин поражения «старого народничества». «У интеллигенции без масс, — указывал В.И. Ленин, — никогда не было и никогда не будет ни парламентских, ни серьезных внепарламентских средств борьбы»¹²⁹. На смену народникам пришло новое поколение революционеров — социал-демократы, которые сумели соединить научный социализм с массовым рабочим движением. В России начался качественно новый этап освободительного движения — пролетарский. Попытки советологов свести всю историю революционного движения в России к борьбе горстки интеллигентов ложны и политически тенденциозны. Во время революции 1905—1907 гг. В.И. Ленин подчеркивал глубокое и принципиальное различие «между дворянской революционностью декабристов — разочарованно-интеллигентской революционностью офицеров народовольцев, — и глубоко демократической, пролетарской и крестьянской, революционностью солдат и матросов в России двадцатого века»¹³⁰. Спустя несколько лет в работе «Роль сословий и классов в освободительном движении» на основании изучения статистических данных о государственных преступлениях в России В.И. Ленин убедительно доказал, что в начале XX в. ведущее положение в революционной борьбе заняли городские рабочие и трудящееся крестьянство. «Злостно-клеветнический характер либеральной теории насчет «интеллигентской» сущности нашей революции, — писал он, — выступает яснее ясного»¹³¹.

В период развития революционного движения рабочего класса В.И. Ленин придавал решающее значение работе партии в массах. «Трудна эта задача, — предупреждал он, — что и говорить, но мы с полным правом можем видоизменить так часто и так неудачно приводившиеся в последнее время слова Маркса и сказать: «каждый шаг действительного движения важнее дюжины» индивидуальных покушений и отпоров, важнее

сотни только-интеллигентских организаций и «партий»¹³²

Некоторые буржуазные историки пишут о сугубо отрицательном отношении ленинизма к интеллигенции. Так, В. Нагирный заявил, что русские марксисты выражали недоверчивое, если не сказать враждебное, отношение к интеллигенции, т.е. к образованному обществу¹³³. Марксисты-ленинцы никогда не преуменьшали роли интеллигенции в освободительном движении. Учитывая громадную роль революционной теории для борющегося пролетариата, В.И. Ленин отмечал жизненно важное значение привлечения прогрессивно настроенной интеллигенции на сторону рабочего класса. «...Всегда и везде, — писал В.И. Ленин, — вождями известного класса являлись его передовые, наиболее интеллигентные представители»¹³⁴. Само учение социализма, подчеркивал он, «выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции»¹³⁵. Подлинно революционная организация, писал В.И. Ленин, должна быть составлена из людей, ясно осознавших задачи своего движения: «...она должна соединить в себе то социалистическое знание и тот революционный опыт, который выработали уроки многих десятилетий в русской революционной интеллигенции, с тем знанием рабочей среды и умением агитировать в массе и вести ее за собой, которое свойственно передовикам-рабочим»¹³⁶.

Трудно переоценить вклад демократической интеллигенции в освободительное движение в России. Революционно-демократическое движение, отразившее устремления крестьянства, явилось важнейшим фактором революционных ситуаций 1859–1862 и 1879–1882 гг. Оно было одной из главных сил, заставлявших правительство колебаться, лавировать, делать уступки. Борьба революционной интеллигенции пробуждала сознание масс, воспитывала новые поколения демократов. «Наш мыслящий пролетариат, — отмечал Г.В. Плеханов, — сделал уже очень много для освобождения своей родины. Он расшатал абсолютизм, пробудил политический интерес в обществе, занес семя социалистической пропаганды в среду нашего рабочего класса»¹³⁷. В.И. Ленин высоко оценивал мучительный поиск передовой интеллигенцией правильной революционной теории. Вождь революционного пролетариата всегда отдавал дань глубокого уважения освободительной борьбе предшествовавших поколений. «Перед русским пролетариатом, — писал он в 1901 г., — стоит теперь наиболее трудная, но зато и наиболее благодарная революционная задача: раздавить врага, которого не могла осилить многострадальная русская интеллигенция...»¹³⁸

3. Оценка конкретных причин подъема общественного движения в 60–80-е годы XIX в.

Освещение английскими и американскими историками непосредственных причин общественного движения в России пореформенных лет ведется в целом с традиционных для буржуазной методологии позиций. Как правило, эти причины ставятся в прямую связь с преобразованиями 1860-х годов, в первую очередь с подготовкой и реализацией крестьянской реформы.

В буржуазной литературе давно утверждалось мнение, что пореформенные десятилетия были временем решающих сдвигов, во многом предопределивших ход исторического развития дореволюционной России. При своем вступлении на престол, подчеркивал Е. Ламперт, Александр II оказался перед лицом остройшего кризиса, который привел к «фундаментальным переменам». «Несомненно, — писал историк, — никакое другое время, начиная с Петра I и до Ленина — не исключая даже революционных событий начала XX в., — не было более чревато возможностями развития и вместе с тем так насыщено внутренней борьбой и смутой, как царствование Александра II»¹³⁹.

В англо-американской историографии преобладает мнение, что реформы начавшегося после Крымской войны царствования были давно назревшим делом. А. Мазур, в частности, писал, что за преобразования царизма следовало взяться значительно раньше; к 60-м же годам XIX в. оно оказалось прижатым к стене: нужно было осуществлять «революцию сверху», не ожидая, пока она разразится снизу¹⁴⁰. Э. Кренкшоу в свою очередь сожалел о том, что еще в начале XIX в. не были реализованы замыслы М.М. Сперанского, которые, по его мнению, могли открыть хорошие возможности «лучшим людям страны развить политическое сознание и набраться политического опыта»¹⁴¹, в результате чего к ответственному периоду реформ страна подошла при неблагоприятных внутриполитических условиях, когда правительство не располагало сознательной поддержкой широких слоев населения.

Однако, подчеркивая назревшую необходимость преобразований, буржуазные авторы концентрируют свое внимание только на конкретной ситуации той поры. Решающее значение они чаще всего придают воздействию внешних факторов: усилившейся отсталости России от капиталистического Запада и проникновению в страну, в том числе и в среду правящих кругов, передовых просветительских идей¹⁴². С каждым десятилетием эти факторы сказывались, по мысли западных авторов, все сильнее, пока ситуация не стала критической к середине 1850-х годов. Разумеется, писал А. Ярмолинский, дело до кризиса лучше было бы не доводить, но Николай I упустил благоприятные возможности, предоставленные ему длительным периодом внутреннего и внешнего спокойствия¹⁴³.

Английские и американские авторы повторяли давние

высказывания русских либеральных историков, также связанных наступлением эпохи «великих реформ» с усилением идейного влияния Запада. Приливом «гольфстрима европейских гуманно-освободительных течений» объяснял Г.А. Джаншиев переход к избавлению России от «отвратительного недуга» — крепостного права¹⁴⁴. Примерно так же рассуждал и Н. Рязановский, когда писал, что именно со второй четверти XIX в. начался разлад в отношениях между образованным обществом и самодержавием, поскольку Николай I оказался глух к движению новых идей¹⁴⁵. Значение внутреннего социально-экономического фактора при таком подходе игнорируется. Утверждения, что реформы осуществлялись в основном по экономическим причинам и именно в результате кризиса крепостного хозяйства, заявлял Р. Пайпс, не имеют под собой достаточных оснований. «Куда более правдоподобно, — писал он, — что решающими факторами, обусловившими правительственное решение, были факторы политического свойства»¹⁴⁶. Резко снижает значение экономических причин и Дж. Блюм. К середине XIX в. крепостное хозяйство, по его мнению, вовсе не исчерпало своих возможностей, большинство помещиков не считало, что их хозяйства утратили эффективность. Вполне соглашаясь с мнением П.Б. Струве, Блюм утверждал, что к 1860-м годам ни промышленность, ни транспорт, ни само сельское хозяйство еще не испытывали тормозящего влияния крепостнических отношений. Причины отмены крепостного права, писал Блюм, в развитии либеральных идей, в страхе перед возможностью народных волнений и в осознании правительством необходимости усовершенствования внутренних отношений перед лицом капиталистического Запада¹⁴⁷. Основную же роль в подготовке и проведении реформ сыграла, по мнению Блюма, инициатива царя. «Поражение в Крыму, — писал он, — убедило Александра II, что его государство балансирует на грани катастрофы, и он имел достаточно воли для провозглашения реформ и решимости для их осуществления»¹⁴⁸.

Зачастую буржуазные историки говорят о равнозначном действии множества условий. Таким подходом отмечено, в частности, исследование Д. Фильда. По его мнению, бесполезно искать какую-то одну, основную причину падения крепостного права, ибо реформа могла произойти только под влиянием разных факторов, среди которых невозможно выделить более или менее важные¹⁴⁹.

Колossalная по своему историческому смыслу проблема нараставшего конфликта между производительными силами и производственными отношениями буржуазными авторами даже не ставится. Исследования же советских историков либо просто замалчиваются, либо искажаются. Н. Рязановский, в частности, считал, что в основе подхода советских исследователей к проблеме предпосылок реформ лежит не объективный анализ исторического материала, а традиционные стереотипы в освещении истории своей страны. Если, например, И.Д. Ковальчук

писал о деградации крепостного крестьянства к середине XIX в., то, по мнению Рязановского, он просто воссоздавал «западнический» подход Белинского или Герцена к определению перспектив развития России. Анализ же П.Г. Рындзюнским социальных деформаций крепостнических отношений напоминал американскому историку славянофильский подход к вопросу о судьбах крепостного права в России¹⁵⁰.

Осуществление реформ, и прежде всего крестьянского «освобождения», оценивается в англо-американской историографии как факт огромного исторического значения. Продолжает бытовать и традиционная для буржуазных историков апология «великих реформ». Безудержным восхвалением внутриполитического курса царизма отличается, в частности, книга Е.М. Алмедин-ген, в которой говорится, что Александр II знал жизнь крестьян гораздо лучше своих предшественников; он любил крестьян без какой-либо сентиментальности, и все его реформы «имели целью улучшить их положение, просветить их умы и покончить со всякой несправедливостью прошлого»¹⁵¹.

О благородстве замыслов императора Александра II и высокой моральной ценности «освобождения» писали С. Томпkins, М. Рэн, Н. Рязановский, У. Моссе и многие другие авторы. Проводимые царем мероприятия они расценивали как важнейшие шаги по приобщению России к семье цивилизованных наций¹⁵². Однако безоговорочное восхваление преобразований 1860–1870-х годов для современной англо-американской историографии все же не типично. Подъем общественного, и в первую очередь революционного, движения заставляет буржуазных историков признавать определенное социально-политическое неблагополучие «эпохи реформ». Некоторые исследователи утверждают, что реформы оказались слишком масштабными, и это, по их мнению, не могло не оказать дестабилизирующее влияние на всю общественно-политическую ситуацию в стране. Одним из парадоксов русской истории Л. Шапиро назвал тот факт, что «революционное движение появилось в России как раз в то время, когда император проявил свою решимость привести далеко идущие реформы»¹⁵³.

Источник оппозиционной активности многие авторы видят в политической неуравновешенности молодой русской интеллигенции, в ее неподготовленности к общественной жизни, в наклонности ко всякого рода утопиям и экстремизму в практических действиях. Общество, лишенное чувства политической ответственности, заявил У. Моссе, воспользовалось более свободными условиями не для поддержки правительства в его многотрудном деле, а для развития безудержной критики любого шага императора и его помощников. «Освобождение крестьян, — считал он, — так же, как и другие меры, принесли царю-преобразователю не благодарность, а широко распространившуюся критику и враждебность»¹⁵⁴. Именно пробужденные реформами настроения интеллигенции положили, по мнению Моссе, «начало революционному движению, которому суждено

было и уничтожить царя-освободителя, и в конце концов разрушить всю его династию»¹⁵⁵.

Такие взгляды, конечно, представляют собой скрытую форму апологии внутриполитического курса царизма; ответственность за неблагополучный исход политики Александра II целиком возлагается на «безответственную» и «экстремистскую» интеллигенцию. Никакие реформы, уверял Дж. Биллингтон, не могли удовлетворить интеллигентов, жаждавших получить абсолютно полные решения коренных вопросов русской жизни¹⁵⁶. О пробуждении в среде интеллигенции совершенно фантастических планов писал и Б. Пейрс. Царь, заявлял он, «естественно, не мог удовлетворить даже минимума революционных требований; программа, которую они выдвинули, не могла быть одобрена даже самой частью русского народа»¹⁵⁷.

Некоторые авторы полагают, что во враждебном отношении интеллигенции к реформам проявились особые черты русского характера, всегда якобы склонного к крайностям. Отношение многих русских интеллигентов к щедрому жесту правительства, заметил С. Томпкинс, было таково, что уступки они воспринимали как свидетельство слабости и потому еще больше увеличивали свои требования¹⁵⁸. Это мнение можно считать традиционным в западной историографии. Еще в XIX в. Д.М. Уоллес писал, что реформы вызвали у интеллигентской молодежи «лихорадочное возбуждение и дикие надежды», вылившееся в конечном счете в революционный нигилизм. И объяснял он этот необычный взрыв эмоций тем, что у русских интеллигентов, несмотря на суровый климат, «оказался чрезвычайно импульсивный и чувствительный характер»¹⁵⁹. Подобные взгляды еще встречаются, хотя и не так часто. Стоило Александру II «ослабить вожжи», писал, например, Дж. Мейнард, и «русская тройка, которую слишком крепко сдерживали, понеслась вскачь»¹⁶⁰. О том, что разочарования, постигшие демократическую интеллигенцию, вызвали подъем революционной активности, писали М. Карпович, Л. Шукман и др.

Примерно такие же объяснения причин начавшегося движения давала русская дворянская и отчасти либерально-буржуазная литература. Так, известный русский публицист конца XIX в. А.Д. Пазухин считал, что «к несчастью для России, возбуждение умов, вызванное отменой крепостного права, было неудобной почвой для разумения истинных потребностей страны»¹⁶¹. А либеральный историк А.А. Корнилов писал о запоздалом пробуждении общественной жизни «после долгой, суровой зимы николаевского царствования», которое порождало настоящее опьянение¹⁶². П.А. Кропоткин вспоминал: «...часто приходилось слышать, что Александр II совершил большую ошибку, вызвав так много ожиданий, которые потом не мог удовлетворить»¹⁶³. И дворянским, и буржуазным идеологам социалистические теории русских революционеров всегда казались беспочвенными мечтаниями, за которыми не было реального содержания.

Если следовать логике Б. Псайрса, М. Карповича, Дж. Мейнарда и их единомышленников, то придется признать очевидную неотвратимость столкновения интеллигенции с царизмом. Ведь читателю внушается мысль о том, что иной реакции от разночинной молодежи нельзя было и ожидать. Многие авторы, однако, избегают употреблять положение о «революционной обреченности» России. До сих пор в буржуазной историографии широко распространено мнение, что при достаточном умении и такте царское правительство могло бы погасить излишнюю возбужденность радикальной интеллигенции. Для этого, писала Е. Алмединген, властям следовало бы дать возможность «революционным заводилам» испытать свои теории на практике. Они бы быстро обнаружили свою несостоятельность, а «холодный смех» общества был бы гораздо более эффективным лекарством, чем ледяные стены Петропавловской крепости¹⁶⁴. В сенсациях такого рода явно слышится отзвук старых либеральных утверждений, что демократическое движение сошло бы само собою на нет, если бы правительство не допустило ошибок.

Весьма часто в работах западных авторов восхваления замыслов царя сочетаются с сожалениями по поводу некомпетентности бюрократии. Благотворный эффект реформ, замечал Г. Кон, был в значительной мере сведен из-за бездарности администрации и нетерпения интеллигенции¹⁶⁵. Э. Кренкшоу также полагал, что Александру II следовало проявить больше настойчивости в борьбе против обструкционистского поведения реакционной бюрократии, но царю было трудно, и он скоро устал. А между тем стране, не привыкшей к быстрым трансформациям, требовалась и сильная воля, и твердая рука преобразователя¹⁶⁶. Сходные мысли высказывали М. Карпович, М. Флоринский, М. Рэн и многие другие. Все они по существу повторяли оценки праволиберальных русских историков, не раз сокрушавшихся по поводу бездарности и некомпетентности бюрократии. В свое время Б.Н. Чичерин с горечью писал о несвоевременной приостановке законодательной деятельности, о слишком скором наступлении реакции, «опирающейся на бюрократическую рутину», хотя при провозглашении реформ была, по его мнению, соблюдена «строгая справедливость»¹⁶⁷. На негибкость и излишнюю жесткость действий администрации ссыпал и К.Д. Кавелин, полагавший, что именно такая неумелость провоцировала развитие духа материализма и отрицания, заразившего часть молодого поколения¹⁶⁸. Буржуазные историки — и в прошлом, и в настоящем — более всего озабочены стремлением доказать, что причины русского революционного движения были сугубо специфическими, чисто ситуативными.

Для западного буржуазного россииеведения можно считать установленвшимся мнение о том, что самодержавие во второй половине XIX в. оказалось не на уровне тех крупных задач переустройства страны, за осуществление которых оно взялось. К прошлому столетию, утверждал С. Бэйрон, тот динамизм, которым царизм отличался при Петре I, безвозвратно

иссяк. Трон, бывший ранее инициатором нововведений, к этому времени превратился в защитника традиций и порядка¹⁶⁹.

С точки зрения большинства англо-американских историков, успешное реформирование социально-политического и экономического строя России могло бы быть осуществлено лишь в условиях сотрудничества между правительством и «ответственными» (читай, либеральными) силами общества. Однако царизм на такое сотрудничество не пошел и тем самым допустил, по мнению буржуазных авторов, крупный политический просчет. «Давать кое-что одной рукой и в то же время отбить другой — вот характерная черта царствования Александра II», — писал У. Уолш¹⁷⁰. Между тем только последовательный курс правительства мог, считал он, предотвратить развитие настроений разочарования и озлобленности, которые охватили русскую интеллигенцию. Неудачи императора, отмечал Э. Кренкшоу, проискали от противоречивости его натуры: он говорил о реформах, а доверял упрямым реакционерам, рассуждал о верности и открыто изменял свой жсне, толковал о священной миссии России и не сумел освободить от исламского гнета христиан в непосредственной близости от страны и т.п.¹⁷¹ А отсюда вывод — полного успеха преобразований от такого царя ждать не приходилось.

Особенно много нареканий со стороны западных историков вызывает сугубо бюрократический характер подготовки и проведения реформ. Отсутствие общественного контроля привело, по их мнению, к многочисленным изъянам преобразований. При освещении крестьянской реформы многие авторы отмечают недостаточность земельного обеспечения бывших крепостных, указывают на тяжесть их финансового положения, на сословную и юридическую неравноправность. Положения 19 февраля 1861 г., писал Х. Ситон-Уотсон, не дали удовлетворительно-го решения крестьянского вопроса; они не столько разрешили старые проблемы, сколько породили новые¹⁷². Предоставленные крестьянам земельные наделы, указывал М. Рэн, были явно недостаточны, они не могли обеспечить ни исправного несения повинностей, ни нормального развития сельскохозяйственного производства. Особенно тяжелое положение, отмечал он, сложилось в черноземном Центре России. И если можно говорить об определенном улучшении правового положения крестьянина, то «в экономическом смысле он был едва ли более свободен, чем прежде»¹⁷³. О бедственном экономическом положении «освобожденных» крестьян писал видный специалист по аграрной истории России Дж. Блюм¹⁷⁴. Аналогичные суждения встречаются в работах Флоринского, Дмитришина, Рязановского и других исследователей. Многие из них ссылаются на авторитет известного на Западе историка аграрных отношений в пореформенной России Г. Робинсона, давшего еще в довоенные годы в целом объективную оценку неудовлетворительного положения «освобожденных» крестьян¹⁷⁵.

Весьма распространены в западной историографии критич-

кие высказывания по поводу незавершенности земской, судебной и других реформ 1860–1870-х годов. В общем, писал еще Т. Масарик, следует признать, что все эти «великие реформы» страдали серьезными изъянами, «потому что они остались только полумерами»¹⁷⁶.

Стоя на непоследовательность внутренней политики самодержавия, либеральные западные авторы не только отмечают недостатки осуществленных реформ. Гораздо чаще они пишут о их незавершенности, о нежелании или о неспособности царизма закончить дело политической «вестернизации» России. Когда, указывал А. Рибер, Александр II подписал манифест об освобождении крестьян, он тем самым вынес смертный приговор старому режиму, хотя и не вполне сознавал, какие громадные последствия будет иметь его мера для всего строя русской жизни¹⁷⁷. Как пишут многие авторы, после падения крепостного права в стране начались необратимые процессы модернизации всех общественных отношений, которые, однако, не коснулись политической системы самодержавия¹⁷⁸. Так, Э. Кренкшоу заявил, что основной недостаток преобразований Александра II он видит в нежелании царя созвать национальное собрание, а такой орган сплотил бы вокруг трона лучших людей России, на самом форуме свободные дискуссии могли бы стать «школой для политических лидеров», арсенал сопоставления и проверки реальностью разнообразных идей¹⁷⁹. Правительство, по мнению россисведа, вполне могло пойти на такой шаг, но проявило близорукость и осталось на старых позициях.

Резкой и справедливой критике подвергает непоследовательность реформаторских усилий правительства и А. Вуд. Начатые Александром II преобразования вызвали рост новых общественно-политических и интеллектуальных сил. Для нормализации этого процесса необходимо было легализовать каналы для проявления новой творческой энергии. Правительство, однако, на это не пошло, и Россия все больше стала напоминать сосуд с плотно закрытой крышкой, в котором закипает содержимое. Политическая близорукость властей привела к драматическим диспропорциям социально-экономического порядка. В стране форсировалось развитие промышленности, тогда как положение деревни оставалось тяжелым. «Недостаток капитальных вложений, периодические переделы земли, примитивная агрокультура, тяжесть финансовых повинностей, ограничения в передвижении крестьянского населения, — писал Вуд, — все это привело к стагнации аграрного сектора русской экономики на протяжении сорока послереформенных лет»¹⁸⁰. Столь несбалансированная политика имела, подчеркивал он, самые драматические последствия для режима.

Буржуазные авторы всерьез и искренне сожалеют, что самодержавие не сумело организовать политического и экономического просвещения народа и не создало благоприятных условий для более «благородного» и «спокойного» поведения всех

классов русского общества. Главная проблема России, замечал Я. Уолкин, заключалась в том, чтобы превратить крестьян в политически зрелых граждан, уважающих как собственные, так и чужие права и «способных к активному участию в твердом и демократическом правительстве». Привитие крестьянам гражданских чувств, культуры и снабжение передовой агротехникой представляются Я. Уолкину гораздо более важным делом, чем захват и раздел земель бывших хозяев¹⁸¹. С этой мыслью был полностью согласен С. Зенковский. Главная причина бедствий крестьянства лежала, по его мнению, в примитивной агротехнике и в бескультурье деревни¹⁸².

Для англо-американской историографии в целом характерно стремление убедить читателя, что своевременная и полнокровная либерализация могла изменить ход русской истории. К сожалению, замечал Н. Рязановский, правительство не знало, где остановиться. А между тем учреждение конституционного строя «могло бы удовлетворить большинство требований и обеспечить стабильность империи»¹⁸³. Когда тверские либералы выдвинули свою платформу, писал Э. Кренкшоу, Александр II пришел в негодование, а нужно было бы возблагодарить бога «за то, что среди его верноподданных есть люди, страстно желающие возрождения своей страны»¹⁸⁴. Такие же сожаления высказывал и Р. Брюс¹⁸⁵. Подобные взгляды были, как известно, свойственны русской либерально-буржуазной публицистике и историографии. Их часто высказывали И.П. Белоконский, Б.Б. Глинский, А.А. Корнилов и многие другие авторы. Б.Б. Глинский, например, утверждал, что колебания, полумеры и нерешительность правительства вызывают «закипание политических страсти в стране», порождают угрозы, что эти страсти рано или поздно перейдут в бурю, которая поглотит именно того, вокруг кого она поднялась»¹⁸⁶. Западные авторы следуют таким трактовкам, конечно, не по наивности своего политического мышления, а для того, чтобы в первую очередь показать ограниченный исторический смысл революционного движения, низвести его до естественного порождения реакционного курса правительства. Как замечал Т. фон Лауз, тайный агент полиции и профессиональный революционер представляли собой две стороны одной медали в политической жизни России¹⁸⁷.

Мысль о непоследовательности и противоречивости судебной реформы 1864 г. развивал Р. Уортман. Отметив прогрессивные стороны ее судебных уставов, он подчеркнул, что юридические новшества не соответствовали принципам самодержавного строя и поэтому их следовало дополнить более крупными изменениями политической системы России¹⁸⁸. Автор был уверен, что царизм мог бы провести и более существенные преобразования. Буржуазные исследователи полностью игнорируют классовую сущность самодержавия и его политики, направленной на ограждение экономических и политических интересов реакционного дворянства. «Правительство Александра II, — указывал

В.И. Ленин, — и «задумывая» реформы и проводя их, ставило себе с самого начала совершенно сознательную цель: не уступать тогда же заявленному требованию политической свободы. Оно с самого начала и до самого конца отрезывало всякий легальный путь к свободе, ибо отвечало репрессиями даже на простые ходатайства, ибо не разрешало никогда даже говорить о свободе». В.И. Ленин решительно разоблачал либеральные восхваления «великих реформ» и считал, что истинно назревшие требования выдвигали А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, А.М. Унковский и те, кто шел с ними. А царское правительство «сделало все возможное и невозможное, чтобы уступить как можно меньше, чтобы обкарнать демократические требования и обкарнать именно «для вящего торжества бюрократии»¹⁸⁹.

Объяляя реформы 60-х и 70-х годов XIX в. непосредственной причиной появления революционно-демократического движения, многие зарубежные историки (Я. Кухаржевский, Р. Хингли, Р. Хейр, У. Уолш и др.) ссылаются на авторитет исторической концепции идеолога французского дворянства середины XIX в. А. Токвиля. Современные буржуазные авторы полностью разделяют мысль последнего о том, что причины революционных движений лежат не в социальной, а в политической сфере, что «старый порядок», приступая к собственной модернизации, сам провоцирует развитие оппозиционных устремлений¹⁹⁰. Сохранению популярности консервативных идей Токвиля, несомненно, способствует и то обстоятельство, что он энергично отстаивал мнение о бесполезности всяких революций¹⁹¹.

Опираясь на теорию «самоподрыва» старого режима, большинство английских и американских историков признает наличие в пореформенной России вполне реальной альтернативы революционному движению. Официальный курс в эпоху реформ, писал Р. Пайпс, оставался слишком негибким и оставлял слишком мало простора для самокоррекции, и, хотя «более либеральное, более гибкое устройство могло создать поначалу больше проблем, однако в конечном итоге оно лучше смогло бы смягчать потрясения, над которыми человеческая воля была не властна и которые в конце концов полностью расшатали его устои; маленькие революции могли бы предотвратить большую»¹⁹².

В буржуазной историографии можно встретить немало упреков в адрес того или иного реакционного государственного деятеля России (Д.А. Толстого, К.П. Победоносцева и др.), либо слишком ожесточившего своей политикой радикальную интеллигенцию, либо помешавшего дальнейшему развитию реформ. Рассуждая с позиций откровенного субъективизма, буржуазные авторы видят в событиях русской истории только комбинации случайных обстоятельств; закономерность возникновения революционного движения отрицается ими в принципе.

Итак, непосредственные причины подъема общественного движения в 60–70-е годы XIX в. англо-американские историки связывают с преобразовательными усилиями правительства

Александра II. При этом в их среде отчестливо просматриваются два основных подхода к оценке исторических последствий реформ. Большинство отстаивает мнение, что развитие революционно-демократического движения вполне можно было бы предотвратить, что реальная альтернатива развернувшимся в России нежелательным событиям заключалась в более гибкой и более умелой политике царизма, в углублении и завершении программы реформ. Такое отрицание внутренней обусловленности революционного движения исходит, безусловно, из классовой позиции буржуазной науки и имеет очень давнюю традицию. Еще русские либеральные историки (В. Богучарский, Л. Барриче, С. Сватиков и др.) упорно доказывали, что только «неумелым» политическим курсом самодержавия можно объяснить активизацию борьбы революционной интеллигенции. Подобную теорию охотно развивали и кадетские историки. Ими же, в частности П. Милюковым, Г. Вернадским и М. Флоринским, она была привнесена в американскую и английскую историографию и подробно «обоснована» М. Карповичем.

В противовес сторонникам концепции альтернативности часть англо-американских авторов рассматривает развернувшееся в России в пореформенные десятилетия революционное движение как явление, совершенно неотвратимое и обусловленное специфическими особенностями развития страны. С точки зрения этих исследователей, никакие меры и никакие силы не могли предотвратить чрезвычайного возбуждения русской интеллигенции. Последователи этой концепции считают уникальной историю России, специфичной ее духовный мир («русский дух», «славянская душа») и т.п. Для русских людей, писал, например, С. Томпkins, характерно мало понятное западному читателю отрицание компромиссов, их «убежденность в том, что компромисс является признаком слабости... обрекала на неудачу любое возможное сотрудничество между правительством и интеллигентами и предопределила окончательный разрыв, приведший к открытым актам насилия против правительства»¹⁹³. Об особой нетерпимости русских интеллигентов писали У. Чемберлин, У. Уолш и другие авторы.

Идейным вдохновителем «концепции предопределенности» русской революции был Н.А. Бердяев, который доказывал, что русская интеллигенция отличается крайним сектантством и фанатизмом. Следуя Бердяеву, Г. Кон писал о постоянном извращении идей западных мыслителей в России, о неспособности русской интеллигенции к трезвому критическому анализу¹⁹⁴. В такой ситуации даже самый удачный ход реформ не мог бы погасить интеллигентского нетерпения. Цель этой концепции традиционна для буржуазной историографии: противопоставить Россию с ее революционностью нормальному развитию цивилизованного Запада, исключить саму идею всемирно-исторического значения русского революционного движения.

Однако теория «роковой неизбежности» революции в России имеет для современных авторов и определенное искудство.

В ней слишком бросается в глаза несовместимое с научным анализом иррациональное начало, избыток мистики. На относительно слабом распространении таких идей в современной литературе сказывается и то обстоятельство, что многие английские и американские обществоведы, как отмечал А. Мендель, признают сходство социальных процессов, происходящих в странах «третьего мира» с развитием России во второй половине XIX в.¹⁹⁵ Буржуазные историки, естественно, никак не стремятся обосновывать историческую неизбежность национально-освободительных революций. Но несомненно одно: характеризуя подъем демократического движения в пореформенной России с позиций концепции альтернативности или, напротив, утверждая её «роковую неизбежность», английские и американские авторы сходятся в главном — в отрицании его закономерности (в широком историческом смысле) и внутренней обусловленности.

Ведя поиск ближайших причин общественного движения 1860–1870-х годов в области реформ, современная англо-американская историография по существу остается на уровне русской буржуазной и даже дворянской историографии, в которой царское правительство изображалось в качестве «демиурга» истории страны. Читателям навязывается истинное представление о взаимосвязи причин и следствий в социально-экономическом и политическом развитии России, при этом острис трактовок исследователей направляется против марксистского положения о реформах как побочном продукте революционной борьбы. Не случайно буржуазные историки фактически умалчивают о глубоком кризисе феодально-крепостнической системы и связанном с ним обострении классовой борьбы, о формировании демократического лагеря и развитии революционного натиска как решающих социальных силах, вынудивших самодержавие к уступкам. С точки зрения англо-американских историков, правительственные мероприятия осуществлялись в России в связи с резким обострением потребностей в «вестернизации», реальная же историческая обстановка предреформенной и пореформенной поры вообще не подвергается анализу. М.В. Нечкина совершенно справедливо отмечала, что объективный анализ правительенных мер «должен в историческом изложении следовать за анализом массового движения и революционной борьбы соответствующего периода, а не предшествовать ей»¹⁹⁶.

Зарубежные буржуазные исследователи, разумеется, менее всего заинтересованы в таких советах. Характер их исследований определяется, конечно, не тривиальными ошибками в расстановке акцентов или неверными трактовками каких-то частных аспектов темы. Конкретные оценки англо-американских историков лишь отражают мировоззрение современной западной историографии, важнейшим постулатом которой был и остается тезис об аномальности российского революционного процесса.

Глава 3

АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 1860-х ГОДОВ

1860-е годы характеризуются в англо-американской исторической литературе как время решающего перелома в развитии России, как начало «судьбоносного» противоборства интеллигентии с самодержавием. С эпохи «великих реформ», писал А. Улам, стала традиционной революционная конспирация, методы которой применились вплоть до колоссального взрыва 1917–1918 гг.¹ Именно в 1860-е годы, отметил автор, русскими радикалами были поставлены те острые вопросы социальной жизни, которые волнуют молодежное движение в разных странах.²

Возникновение революционно-демократического движения в России английские и американские историки обычно расценивают как внезапный и чрезвычайно бурный процесс, как неожиданное пробуждение интеллигентской оппозиционности. Большинство историков считает, что объявленное царизмом намерение осуществить глубокие реформы вызвало поначалу прилив всеобщего энтузиазма. Большие ожидания при вступлении на престол нового монарха, писал М. Кац, – обычное явление в жизни России. Но в середине 1850-х годов подъем оптимистических надежд был необычайно высок. Обстановка надвигавшейся отмены крепостного права привела к сглаживанию разногласий между различными течениями общественной жизни, и «непримиримые прежде противники нашли общую почву для соглашения»³. Однако оптимизм ожидания у просвещенного общества скоро сменился общим разочарованием, на почве которого, по мнению буржуазных исследователей, и началась революционная деятельность радикальной молодежи. «Великие реформы», констатировал Дж. Кларксон, в конце концов разъединили русское общество и дали толчок развитию различных течений русской революционной мысли⁴.

1. Английские и американские историки об особенностях идеологической и практической деятельности русских революционеров 1860-х годов

Общественно-политический подъем 60-х годов XIX в. оставил глубокий след в истории русского освободительного движения. Страна переживала один из переломных моментов своего

развития. Резкое обострение социальных противоречий и подъем классовой борьбы привели к существенному повышению тонуса общественной жизни. Вынужденное вступить на путь буржуазных преобразований, самодержавие столкнулось с вполне реальными угрозами со стороны прогрессивных сил. В.И. Ленин писал: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять такое «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»⁵. На рубеже 1850—1860-х годов сложилась первая в истории России революционная ситуация.

Масштаб событий определяет и подход англо-американских историков к оценке революционной демократии того периода. Некоторые исследователи и по сей день активно поддерживают традиции русской дворянско-охранительной публицистики, сводившей стремления революционеров к жажде всеобщего разрушения, к отрицанию всех норм морали и этики. Демократическое движение разночинцев часто рассматривается как проявление «нигилистического» миросозерцания интеллигенции. Нигилизм, полагал Дж. Биллингтон, «это необычно по своему размаху отрицание старых традиций, из этого ферmenta при Александре II возник ряд своеобразных идеологий, наиболее оригинальной среди них было народничество»⁶. По мнению Г. Коула, отрицание нигилистами традиций современного им мира являлось средством их индивидуального самоутверждения, которое скоро перерастало в безграничную революционность. Нигилизм Писарева, заметил Коул, в конце концов вылился в нечестивые методы революционной практики⁷.

В нигилизме видели истоки революционного движения Р. Хингли, В. Вейнштейн, Р. Даниэльс и многие другие. Тезис Н.А. Бердяева о том, что нигилизм впитал в себя православное отрицание материального мира и роковым образом принадлежит русской судьбе, продолжает пользоваться популярностью в современной буржуазной историографии. «Если принять положение Бердяева (а причин, препятствующих этому, нет), — писал Э. Хайер, — то нужно сделать вывод, что всякий русский интеллигент XIX в. имел нигилистические тенденции»⁸.

Попытки свести сущность революционной демократии к нигилизму — давний присм противников русского освободительного движения. Против подобных действий решительно

восставали сами революционеры. «Смешивать нигилизм с терроризмом, — писал П.А. Кропоткин, — все равно, что смешать философские движения, как, например, стоицизм или позитивизм, с политическим движением, например республиканским»⁹. На несостоительность отождествления нигилизма с революционным движением указывал и С.М. Степняк-Кравчинский. «Когда настоящий нигилизм, — отмечал он, — в России совершенно сошел со сцены и был почти забыт, эта кличка вдруг воскресла и стала жить за границей, где и засела такочно, по-видимому, ее уже ничем не вытравишь»¹⁰. Прихотью досужей европейской журналистики называл он «перекрашиваниес» русских революционеров в нигилистов.

Большинство современных западных исследователей избегает расширительного толкования термина «нигилизм». Некоторые из них считают, что нигилизм доминировал только в 60-е годы XIX в., а затем уступил место народничеству. Нигилизм и народничество трактуются в этом случае как две стадии интеллигентской революционности. Процесс смены одной на другую объясняется, как правило, чисто психологическими причинами. Так, все различие между нигилистами и народниками Ф. Помпер усматривал в том, что первые «наивно верили в собственные возможности преобразовать действительность с помощью разума», а вторые «посвятили свои жизни несбыточному представлению о социалистических и революционных инстинктах крестьянства». Переход к народничеству явился якобы следствием цепочки разочарований в «рационалистическом элитизме» нигилистов. К концу 1860-х годов, писал Помпер, интеллигенты отказались от расчетов на ведущую роль научного знания и сделали упор на моральные факторы в общественном развитии¹¹. Аналогичные оценки содержатся в работах М. Карповича, У. Кирчнера и др.

Однако подобный подход не встречает общей поддержки. Некоторые историки, писал А. Глисон, используют термин «нигилизм» применительно ко всему радикализму 1860-х годов, противопоставляя его народничеству следующего десятилетия. Такая трактовка, считал он, ошибочна, поскольку она «не раскрывает интеллектуальную (и даже психологическую) связь» между двумя десятилетиями. Нигилизм, по мнению А. Глисона, вообще нельзя смешивать с политическими направлениями и тем более с организациями революционеров. В его основе лежит этическое начало. Нигилизм, подчеркивал Глисон, был прежде всего проявлением «элитистской» психологии русской радикальной молодежи¹². «Здоровой реакцией» молодежи против коррупции, царившей в русском обществе, против несправедливости и бесчеловечности крепостничества называла нигилизм В. Бродо. Следует подчеркнуть, писала она, что и в современных «бунтах молодежи» можно обнаружить явные признаки нигилизма¹³.

Резкое возражение против расширительного толкования нигилизма содержится в работе Ф. Вентури. Нигилистические

настроения, писал он, распространились в 60-е годы XIX в. вследствие постигшего молодежь разочарования в крестьянских массах, не поднявшихся на всеобщее восстание. Нигилистам, отмечал Вентури, была свойственна переориентация на творческие возможности интеллигентской элиты. Но такие настроения русским демократам скоро удалось преодолеть¹⁴.

О неправомерности отождествления нигилизма с революционным движением заявил и М. Конфиро. Нигилизм, считал он, был формой социального поведения, направленного на отрицание привычных норм русской жизни. Его основу составляли позитивизм, примитивный эстетический реализм и приближавшийся к сциентизму философский материализм. Появление нигилизма, подчеркивал Конфиро, было обусловлено рядом причин. Поколение так называемых нигилистов родилось около 1840 г., по преимуществу в дворянских семьях и получило образование в гимназиях, реорганизованных в реакционном духе после революций 1848–1849 гг. Резкое сокращение гуманитарного образования не могло не сказаться на мышлении молодежи. Упор на естественные науки и православную ортодоксию не способствовал развитию ее мировоззренческой культуры. В довершение всего именно этой молодежи пришлось испытать психологическое потрясение, вызванное поражением в Крымской войне. Перед страной со всей очевидностью всталая задача ликвидации крепостного права. Но ведь молодежи постоянно внушили мысль о священном характере крепостнических отношений. И если такое положение вдруг оказалось ложным, что же считать истиной? Чему можно было верить, если сам митрополит взялся за написание Манифеста 19 февраля, хотя ранее именно церковь всячески освящала крепостное право? Появление среди русской образованной молодежи настроений воинствующего отрицания в таких условиях было вполне объяснимо. К 60-м годам XIX в., отмечал М. Конфиро, сложился определенный жизненный стереотип, включавший в себя индивидуализм, требование женской эмансипации, отрицание религии и многих традиционных условностей¹⁵.

Наблюдения М. Конфиро не лишены определенных оснований. Действительно, указанные автором настроения проявились в общественной жизни России тех лет достаточно отчетливо. Своим поведением передовая часть молодого поколения бросала вызов старой, неправедно жившей России. В основе настоящего нигилизма, по определению С.М. Степняка-Кравчинского, лежал безусловный индивидуализм, отрицавший во имя личной свободы всякие стеснения, налагаемые на человека обществом, семьей, религии. «Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в ее частной, интимной жизни»¹⁶.

Конечно, в нигилистических настроениях молодежи 60-х годов XIX в. было немало незрелого, иногда абсурдного. Некоторые отрицатели, замечал тот же С.М. Степняк-Кравчинский, иной раз доходили до «геркулесовых столпов», провозглашая,

например, положение, что сапожник выше Рафаэля. Можно, очевидно, согласиться с М. Конфино, что такие издержки здорового в целом явления объяснялись и недостатками образования, и острой кризисной ситуации, и фарисейством государственных и церковных властей. Однако исследователь не может ограничиться констатацией только психологических мотиваций нигилизма. Нельзя упускать из вида, что в основе охвативших часть молодежи настроений лежало банкротство социально-экономического и политического строя самодержавной России. Анализируя в 1870 г. известную книгу В.В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», К. Маркс писал, что «нынешнее положение в России не может дольше продолжаться, что отмена крепостного права в сущности лишь ускорила процесс разложения и что предстоит грозная социальная революция». «Отсюда, — заключал он, — видна и реальная основа школьного нигилизма, который теперь в моде среди русских студентов и т.п.»¹⁷. Однако не нигилизм, а именно революционный демократизм стал знаменем действенной борьбы против старого строя. Сами революционеры со всей определенностью говорили об этом. Для некоторых из них переход к активной революционной деятельности был связан с изживанием нигилистических настроений. А.Д. Михайлов, например, вступление в революционные ряды характеризовал как завершение «нигилистического периода» в своей жизни¹⁸. «Малосознательным демократизмом» называл свое раннее увлечение нигилизмом В.К. Дебогорий-Мокриевич¹⁹. О резком отличии подлинно революционной мысли от нигилистических настроений писал и Л. Дейч²⁰.

Ни отождествлять, ни противопоставлять русский нигилизм 1860-х годов и революционный демократизм нет оснований. Эти понятия наполнены разным содержанием, причем термин «нигилизм» представляется излишне общим, не раскрывающим сущности демократического отрицания старого строя²¹. И уж конечно, ничего общего с распространенным в капиталистических странах упадническим нигилизмом у русских революционеров не было²². Современные буржуазные историки по существу продолжают традицию авторов «противонигилистических романов», появившихся в конце 1860-х годов. Фальшь многих из них, по словам С.А. Венгерова, «не в том заключается, что лохматые, нечесаные, грязные мужчины и утратившие женственность особы женского пола выдуманы. Они несомненно были и иссомнено оскорбляли тонко чувствующих людей, но надо было понять, что основное свойство решительно всякого массового движения — это то, что к нему примешиваются умственные и нравственные подонки. И думать, что именно эти-то подонки знаменуют все движение, — значит проявить неумение отличить главное и существенное от второстепенного и наносного»²³. Подмена понятий — частый прием реакционной литературы. В данном же случае русская интеллигенция характеризуется как винклассовое, искусственно возникшее социальном

явления; субъективистская методология открывает простор для самых произвольных толкований.

Обостренный интерес буржуазных исследователей вызывает выдвижение на общественно-политическую арену нового типа русского интеллигента – шестидесятника. Видное место в англо-американском россиеведении занимает известная дилемма «отцы и дети». Очень популярно утверждение, что выход на историческую сцену разночинцев сопровождался снижением уровня политического мышления представителей образованных кругов русского общества. По оценке западных историков, «дети» в теоретическом отношении явно проигрывали своим оторванным от жизни, но благородным романтикам-«отцам», дворянским интеллигентам 40-х годов, получившим и хорошее воспитание, и широкое гуманитарное образование. Но причины снижения культурного уровня интеллигентов 1860-х годов усматривались не только в их «плебейском» происхождении.

Многие авторы отмечают, что эволюцию общественно-политической мысли в России следует рассматривать в связи с развитием социальных идей на Западе. Надо иметь в виду, подчеркивал еще Д. Гехт, что формирование идеологии разночинцев шло одновременно с общей эволюцией европейской мысли от романтизма к реализму²⁴. О том, что идейная трансформация в России представляла собой часть общесеверной политики, писал и Н. Рязановский. В русских условиях, отмечал он, этот процесс принял гораздо более острый и глубокий характер. Если «отцы» выросли на традициях немецкой идеалистической философии с ее упором на метафизическое, религиозное и эстетическое отношение к реальности, то «дети», руководимые такими радикалами, как Чернышевский, Добролюбов и Писарев, встали на позиции утилитаризма, позитивизма и реализма. Нигилисты, заявил Рязановский, подняли настоящий бунт против общепринятых норм: «против абстрактного мышления и семейного контроля, против лирической поэзии и школьной дисциплины, против религии и риторики»²⁵. Для дворянской интеллигенции николаевского времени, замечал М. Слоним, было характерно поклонение идеям, а новые люди 60-х годов XIX в. исповедовали действие: «Все хотели что-то делать: бизнесмены – торговать, инженеры – строить, молодежь – учиться, а революционеры – совершать революцию»²⁶.

В худшую сторону, по мнению буржуазных авторов, изменились и политические взгляды разночинцев. Новое поколение, писал М. Рэн, отрицательно отнеслось к идеям буржуазной демократии и отказалось от либерализма «отцов», «восприняв принципы социальной революции, для которой были безразличны формы политических институтов». «Дети», считал он, стали все более тяготеть к экстремизму.

К сопоставлению «отцов» и «детей» не в пользу последних буржуазные историки в России и за рубежом прибегают с давних пор. Еще в работах В.Я. Богучарского поднимался вопрос о «столкновении» поколений 40-х и 60-х годов прошлого века,

между которыми якобы существовали непримиримые противоречия, обусловленные их разной психической структурой. Русский историк при этом совершенно абстрагировался от классовой сущности формировавшейся революционной демократии и не видел принципиальных различий в мировоззрении революционера А.И. Герцсна и либерала К.Д. Кавслина²⁷.

Конечно, идеинные позиции революционеров 1860-х годов во многом отличались от взглядов представителей прогрессивного слоя дворянской интеллигенции второй четверти XIX в. Проблема взаимоотношений между «отцами» и «детьми» существовала реально. Основное отличие нового поколения демократов заключалось в его существенно более высокой политической активности, в готовности к практическому решению назревших в России проблем. Разночинцы, стоявшие ближе к народу, были гораздо более боевитыми и требовательными деятелями, чем участники кружков николаевского времени. Процесс смены поколений не был безмятежно тихим, порой он был связан с определенными издержками идеологического и этического характера.

Однако буржуазные историки преувеличивают значение различий между деятелями освободительного движения и недооценивают гораздо более существенный вопрос — о преемственности поколений, об их глубокой и неразрывной связи. Эта преемственность была обусловлена общностью коренных причин и важнейших целей русского освободительного движения. О поступательном характере революционной борьбы в России многократно и с глубокой убедительностью писал В.И. Ленин.

Раздувая размеры различий между «отцами» и «детьми», буржуазные исследователи преследуют вполне конкретную цель — показать «неорганичность» революционного пути России, его несоответствие нормам «спокойного» либерального развития. Некоторые авторы, впрочем, признают неосновательность резкого противопоставления поколений. А Глисон, например, считал, что нужно согласиться с выводом Ф.М. Достоевского об ответственности «отцов» за плохих «детей». Автор «Бесов», писал американский историк, был прав: Петра Верховенского породил Кармазинов²⁸. Данное суждение — явный отголосок реакционных веховских представлений об изначальной порочности русской интеллигенции.

Теоретическое наследие шестидесятников чаще всего характеризуется как весьма аморфная смесь идеиных напластований. Мировоззрение революционеров той поры, пишет С. Пушкарев, ограничивалось в философском отношении материализмом и атеизмом, в политическом — анархизмом и коммунизмом, а в эстетическом — примитивным утилитаризмом²⁹. Буржуазные историки непременно подчеркивают, что преимущественное влияние на разночинцев имели идеи Бюхнера, Молешотта, Фогта, Бентама, Конта и других западных мыслителей³⁰. В оригинальности русской революционной мысли было решительно отказано.

Среди современных буржуазных исследователей широко распространено утверждение о том, что ведущее место в развитии русской общественной мысли принадлежало противоборству западничества со славянофильством, которое не ограничивается салонными спорами 1840-х годов, а распространяется на всю историю России, вплоть до наших дней. С таких позиций написаны работы Т. Андерсона, А. Вусинича, А. Гершенкрана и многих других. Ими охотно используется теоретический багаж некоторых русских буржуазных исследователей (например, М.О. Гершензона, В.Е. Чешихина, А.М. Скабичевского и др.), тоже видевших в борьбе западничества со славянофильством основной стержень развития русской прогрессивной мысли. При этом буржуазные авторы предпочитают говорить об искаженном, некритическом усвоении западных идей русскими демократами. Непримиримое противоречие между европейским влиянием и реальностью страны, писал Г. Кон, вело к частым и преимущественно крайним извращениям западных идей на русской почве³¹. Такое же мнение высказал на XIII Международном конгрессе исторических наук Р. Пайпс. «Нигилист, — заявил он, — это человек новой породы, это западный позитивист, преувеличенный до гротеска»³². Высказывания подобного рода основаны на признании «модернизации» страны «болезненным» процессом, чреватым серьезными социальными потрясениями.

Здесь нет необходимости подробно доказывать жизненность передовой русской мысли. Подчеркнем лишь, что самостоятельное развитие революционно-демократической идеологии не исключало, а, напротив, предполагало усвоение лучших достижений передовой зарубежной, в первую очередь западноевропейской, мысли. И это вполне естественно. Освободительное движение в России являлось неотъемлемой частью мирового революционного процесса. Русские революционеры, выражая внутренние потребности общественного развития, обращались и к живым урокам истории ушедших вперед стран, жадно усваивали и проверяли на практике последнее слово революционной мысли Европы и Америки.

Своеобразие буржуазной историографии по истории освободительного движения в России не в преувеличенных представлениях о степени западных влияний на этот процесс, а в игнорировании классовой обусловленности российской революционно-демократической мысли, той самой обусловленности, которая определяла и целостность, и оригинальность общественно-политического мышления революционеров-разночинцев.

Нигилизм англо-американские историки характеризуют как наиболее заметную черту мировоззрения шестидесятников. Ведущим идеологом «иконоборческого» поколения молодых разночинцев они неизменно называют Д.И. Писарева. Об идейном руководителе журнала «Русское слово» западные авторы пишут как о проповеднике безудержного отрицания, истинном апостоле разрушения. Именно Писарев, утверждал еще Ф. Бархурн,

ярче всего выразил настроения русских радикалов 1860-х годов, хотя он и не создал сколько-нибудь связной политической доктрины³³.

Совершенно не понимая реального облика выдающегося русского демократа, некоторые авторы рисовали его идеологом интеллигентской элиты, претендовавшей на роль лидера народа³⁴. В определенной мере, заявлял Т. Масарик, Писарева можно сравнить с Ницше, «с которым у него были общие идеи... От 22-летнего юноши, вынужденного фактически без вины провести около пяти лет своей жизни в тюрьме, едва ли можно было ждать, что он будет писать без преувеличений»³⁵. Очень часто Писарев объявлялся наиболее последовательным выразителем политических амбиций русской революционной интеллигенции. Лидер нигилистов, писал Дж. Кларксон, был крайним индивидуалистом, не испытывавшим по отношению к народным массам ничего, кроме презрения³⁶.

Такие оценки неверны. Русская революционная демократия 60-70-х годов никогда не выдвигала нелепых претензий на политический диктат. Весь смысл своего существования она видела в освобождении народа от мрака невежества, от социального и политического гнista. Не являлся исключением и Д.И. Писарев.

Руководитель «Русского слова» был, несомненно, способен на противоречивые суждения и иногда преувеличивал социальную роль передовой интеллигенции, «мыслящих реалистов». Нельзя забывать, что его идеи сложились и получили популярность в сложных условиях спада первой волны революционно-демократического движения. Расчеты передовой интеллигенции на революционные действия народных масс не выдержали испытания временем, уже с 1863-1864 гг. отчетливо обнаружилось снижение уровня крестьянских волнений. Русским революционерам пришлось испытать горькое разочарование. Нужно было осмыслить случившееся, от демократов потребовалось значительное напряжение мысли в поисках верных путей борьбы. Сложность момента усугублялась наступлением реакции, репрессиями в отношении лидеров освободительного движения.

В такой обстановке полемически заостренные работы Д.И. Писарева вносили свежую струю. В них звучало энергичное возражение против неоправданной идеализации народа. Трудящиеся массы, писал Писарев, «составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало»³⁷. Однако это не дает никаких оснований утверждать, что Писарев проповедовал высокомерное пренебрежение к народу. Напротив, именно в действительном освобождении масс видел он смысл революционной деятельности. «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека, — заявлял Писарев, — все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне

этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать»³⁸. Он был убежден, что решающая роль в истории в конечном счете принадлежит народу, но массы должны быть подготовлены к осуществлению своей миссии, иметь ясное понимание целей и умелое руководство движением. Ожидания, что народ сам проявит инициативу в деле прогрессивных преобразований, по мнению Писарева, разоружали демократов. «Русская мысль, — писал он, — в самых глубоких своих недрах не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырье материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей»³⁹.

Вопреки буржуазным интерпретаторам Писарев вовсе не считал, что «элита» может по своему произволу направлять ход истории. Назначение гениальных людей, подчеркивал он, «именно в том и состоит, чтобы ускорять естественное движение событий и постигать раньше других те общественные потребности, которые впоследствии делаются обязательно понятными для самых обыкновенных умов»⁴⁰. Писарев был убежденным демократом, что и определило его высокий авторитет у передовой молодежи 1860-х годов.

Идеи Писарева служили хорошим стимулятором развития русской революционной мысли. На это обстоятельство совершенно справедливо указывал английский историк Е. Ламперт, подчеркнувший, что Писарев сыграл значительную роль в персонализации демократического мышления и сделал это весьма своевременно, если учесть резкое ухудшение общественно-политической обстановки в стране после 1863 г. Идеи Писарева, писал Ламперт, вполне отвечали потребностям времени, пафос писаревских произведений неизменно направлялся против социальной несправедливости, бедности и угнетения трудящегося человека⁴¹. Однако такие оценки Писарева — явление в западной историографии очень редкое.

В большинстве англо-американских исследований отмечается, что второй важнейшей стороной идеологии шестидесятников являлся «аграрный», или крестьянский, социализм. «Русские условия, — отмечал Ф. Бархурн, — порождали не только отчаянную ненависть нигилистов, но также и страсть к фантастическим или утопическим планам». Именно с 1860-х годов, подчеркивал он, в сознании революционеров навсегда слились мысли о безудержном отрицании существующего строя, с одной стороны, и требовании не просто улучшенного, но абсолютно совершенного общества — с другой. Идеология шестидесятников, писал Бархурн, была «социальной религией отчаянного отрицания и воинствующей веры»⁴².

Буржуазные историки настойчиво подчеркивают социальный максимализм русских революционеров. Дерзкая молодежь, замечал Д. Гехт, «не имела никаких сомнений относительно возможности и практической осуществимости немедленного перехода к социализму... Величайшее презрение выражалось ко вся-

кой идеи о постепенном приближении к социализму»⁴³.

В англо-американской литературе отмечается, что существенной особенностью русского социализма являлась его крестьянская ориентация. В обстановке падения крепостного права, писал Б. Пейрс, у русских интеллигентов развилось непреодолимое чувство долга по отношению к крестьянам. У разночинцев такое чувство определялось естественной солидарностью с народом, а у выходцев из дворянства пробудилось понимание того зла, которое принесли крестьянству века крепостничества. Репрессии в отношении студенчества только усилили его тягу к народу⁴⁴.

Среди современных западных исследователей преобладает мнение о том, что рубеж 50–60-х годов XIX в. стал временем возникновения народнической доктрины. Лозунги «хождения в народ», отмечал Ф. Помпер, были выдвинуты А.И. Герценом в год отмены крепостного права, но энергия радикальной интеллигенции тогда еще не достигла достаточно высокого уровня для того, «чтобы значительная ее часть покинула университетские города»⁴⁵.

Такую точку зрения последовательно отстаивал и Ф. Вентури. Полагая, что самое существенное в народничестве – это теория русского крестьянского социализма, он находил ее элементы в воззрениях декабристов (П.И. Пестеля, Н.А. Бестужева) и петрашевцев. Оформление же народнического социализма Вентури относил к концу 50-х – началу 60-х годов⁴⁶. В предисловии к уже упоминавшемуся американскому изданию книги Вентури И. Берлин писал, что народничество «родилось во время большого общественного и интеллектуального оживления, начавшегося после смерти Николая I и поражения в Крымской войне, росло по своим масштабам и влиянию в 60-е и 70-е гг., достигло кульминации в момент убийства царя Александра II, после чего быстро пришло в упадок»⁴⁷.

Данная схема верно отражает внешнюю сторону явления. Революционная деятельность разночинцев в 70-е – начале 80-х годов действительно была логическим развитием традиций, заложенных в предшествовавшее десятилетие. Революционный демократизм был тем общим фундаментом, на котором строились теоретические концепции и развивалась практическая деятельность передовой интеллигенции на протяжении всего разночинского этапа освободительной борьбы. Однако эволюцию народничества Ф. Вентури и И. Берлин трактовали как процесс саморазвития определенного умонастроения интеллигентов – от сочувствия до энтузиазма и последовавшего разочарования. Ее авторы не учитывали, что русская революционная демократия в разные периоды своей истории наряду с общими задачами движения пыталась решать проблемы, которые выдвигались ходом капиталистического развития России. Эволюция революционно-демократической идеологии может быть понята только с учетом перемен в состоянии крестьянства и крестьянского движения.

Содержательную критику представлений буржуазных историков о развитии русской демократической мысли дал в свое время польский исследователь А. Валицкий. Полемизируя с Вентури и Берлином, он писал, что в широкой полосе разночинского движения необходимо выделять период 70-х – начала 80-х годов как время классического народничества со свойственными ему идейными установками и методами реализации намеченных целей. Движение семидесятников, подчеркивал Валицкий, отразило совершенно новый факт в жизни России – рост капитализма. Но отразило в реакционно-утопической форме «экономического романтизма», соответствующего точке зрения крестьянина как мелкого товаропроизводителя. Указав на тяжелые противоречия, присущие капиталистическому развитию, революционные народники сделали шаг вперед по сравнению с просветителями предреформенной поры. Сопоставляя 60-е и 70-е годы в истории русского революционного движения, А. Валицкий считал, что различие между ними «состояло в характерной смене акцентов – переходе от антифеодального демократического радикализма к антикапиталистическому аграрному социализму»⁴⁸.

Основная мысль Валицкого об исторической заслуге народничества, безусловно, верна. В принципе правильно намечена польским историком и эволюция народнического мировоззрения. Вызывает сомнения лишь некоторая категоричность утверждения о смене «акцентов» – от «антифеодального радикализма» к «аграрному социализму». Крестьянский социализм был в равной мере присущ революционерам и 60-х, и 70-х годов XIX в. Иные социально-политические условия заставляли деятелей 70-х годов искать новые пути и средства борьбы, но шли они к одной цели с революционной демократией эпохи падения крепостного права. Тем не менее по существу в споре с буржуазными взглядами А. Валицкий прав. Капиталистическое развитие России являлось в конечном счете решающим фактором, определившим пути русской революционной демократии.

Непонимание революционно-демократической идеологии часто связано с распространенными попытками ее религиозных интерпретаций. Так, Т. Масарик считал, что поиску новой морали способствовала религиозная подоснова мировоззрения разночинцев⁴⁹.

Тенденцию религиозного обоснования не следует понимать упрощенно, только как приписывание русским революционерам религиозных взглядов; ее интерпретации достаточно разнообразны и затрагивают коренные проблемы демократического мировоззрения. Дж. Биллингтон, например, пытался обосновать религиозные истоки русского крестьянского социализма. Мало, считал он, проиллюстрировать соответствующими цитатами взгляды тех или иных идеологов, мало указать на их предшественников, необходимо определить основу «того глубокого чувства исторического ожидания и нравственных исканий», которое заставило русских интеллигентов создать столь ориги-

нальнос ученик. Но в поисках истоков революционно-демократических идей Биллингтон обращался не к исследованию конкретных условий развития России в середине XIX в., а к истории русского православия. По его мнению, идеи крестьянского социализма стали формой духовного обновления русской интеллигенции и играли ту же роль, что Ренессанс и Реформация в Европе. А так как русское средневековье затянулось, этот своеобразный «протестантизм» принял форму воведшего в моду атеистического социализма. Подлинных предшественников демократов автор увидел в русских раскольниках XVII в.⁵⁰ Наиболее важным заимствованием разночинцев от раскольников Биллингтон считал «мессианскую веру в грядущее царство справедливости», веру, проходящую через все русское революционное движение, вплоть до большевизма⁵¹.

В сущности Биллингтон воспроизвождал известную концепцию Н.А. Бердяева, пытавшегося доказать внутреннюю, организованную связь между раскольничеством и мировоззрением демократической интеллигенции, связь, якобы проявившуюся в страстном поиске абсолютной справедливости, «невидимого града Китежа», всеспасающего, но неосуществимого идеала. В упорстве и стойкости революционеров Бердяев видел воплощением «религиозной энергии русского духа»⁵².

Большое воздействие на западных авторов оказывают взгляды и других представителей русской интеллигенции. Один из них – Д. Мережковский, который, явно предвосхищая Биллингтона, писал: «Между протопопом Аввакумом... и анархистом Бакуниным... гораздо больше сходного, чем это кажется с первого взгляда»⁵³.

Для сторонников таких интерпретаций особое значение имеет факт участия в российском демократическом движении выходцев из среды православного духовенства. Наиболее влиятельными людьми среди «нигилистов», отмечал в одной из своих книг Б. Самнер, были сыновья священников, воспитанники духовных семинарий. Именно они, полагал автор, внесли в российское революционное движение дух нетерпимости и аскетизма, что якобы проявилось в высоком накале внутриполитической борьбы⁵⁴. Порвавшие со своей средой и прежними убеждениями семинаристы, писал Х. Ситон-Уотсон, быстро заполнили возникший у них духовный вакуум революционными идеалами⁵⁵. Порывая с религией, подчеркивал Э. Хейер, русские революционеры становились воинствующими материалистами и атеистами; ведущую роль в этом процессе играли бывшие семинаристы⁵⁶.

Во всех этих высказываниях верно одно: многие выдающиеся деятели революционно-демократического движения действительно вышли из среды духовенства: И.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Н.И. Кибальчич... В беседе с бывшим народовольцем А.И. Зундслевичем И.М. Майский как-то отметил «тот любопытный факт, что в 50–70-х годах прошлого века у нас появилось немало сыновей и дочерей священников, которые порвали со

своей средой и перешли на прогрессивный, даже на революционный путь»⁵⁷.

И все же не духовные искания «поповичей» определяли характер российского революционного движения. Живая действительность, конкретные социально-экономические условия развития страны формировали революционные убеждения передовой русской интеллигенции. Одним из источников пополнения последней было многочисленное духовенство. России. Частичный уход молодежи из этого сословия имел вполне земные причины. Говоря о них, А.М. Горький справедливо отмечал, что положение большей части духовенства сел и уездных городов в середине XIX в. было весьма тяжелым, «священник стоял в полной зависимости от помещика и социально, и экономически». В условиях формирования буржуазных отношений дети духовенства почувствовали «себя тесно в рамках своего сословия, и, наконец, с 30-х годов университеты и канцелярии пополняются семинаристами»⁵⁸. Речь, таким образом, идет об одном из моментов формирования бессословной буржуазной интеллигенции, о причинах оппозиционности которой уже говорилось.

Разумеется, у семинаристов были свои причины недовольства существовавшим строем. Многие из них испытывали суровые материальные лишения. Пробуждавшемуся сознанию молодежи особенно ненавистна была жизнь в бурсах, бессмысличество которой с большой художественной силой раскрыл в своих знаменитых очерках Н.Г. Помяловский. Нужно учесть также, что воспитанники семинарий попадали в университеты, как правило, в более зрелом возрасте, чем выходцы из других сословий, поэтому их роль в студенческом движении часто была более заметной. Но о каком-то особом мировоззрении «поповичей» говорить не приходится. Утверждения о религиозной основе революционно-демократической идеологии нельзя подкрепить научным анализом. Они столь же беспочвенны, как и выводы о решающей роли в ней дворянского «покаяния».

Воинствующий атеизм являлся важнейшей составной частью идеологии русской революционной демократии. «Религиозный, церковный, догматический элемент нам безусловно враждебен, — писал в одном из вариантов программы журнала «Вперед!» П.Л. Лавров. — Мы опираемся на критику, стремимся к торжеству реальной мысли, к удовлетворению реальных потребностей. Между нами и различными сектами, ортодоксальными и еретическими, опирающимися на откровение или на идеалистическую метафизику, нет ничего общего»⁵⁹. Между прочим, именно в безрелигиозности интеллигенции видел «несчастье» русской истории» всховец С. Булгаков⁶⁰. Исторические факты свидетельствуют о том, что влияние религии на революционное движение в России было менее заметным, чем в более развитой Западной Европе. Как отмечал И.М. Майский, религия была одной из цепей, сковывавших английское рабочее движение. Особенностью России являлось то, что православная церковь была строго централизованной организацией, фак-

тически полностью подчиненной светской администрации. И поэтому совершенно естественно, «что всякий русский человек, пробуждавшийся к сознательной политической жизни, будь то помещик, буржуа, интеллигент, рабочий или крестьянин, становился врагом не только самодержавия, но и церкви»⁶¹.

Религиозные интерпретации являются наиболее выпуклым выражением идеалистических концепций буржуазных авторов, поскольку все они сходятся в отрицании материальной, классовой основы революционного движения. Не склонный к поискам «религиозных корней», Дж. Кип в рецензии на работу Дж. Биллингтона заявил, что вера русских демократов в народ «была религиозной только в том смысле, что она держалась интуитивно и не была основана на трезвом рациональном расчете»⁶². Духовная «иррациональность» народников и религия, по мнению Дж. Кипа, явления несовпадающие.

Практическая деятельность русской революционной демократии 1860-х годов освещена в англо-американской литературе слабо. Первое пореформенное десятилетие обычно характеризуется как время преимущественно идеальных исканий молодой интеллигенции. В шестидесятые годы, заявил Х. Ситон-Уотсон, формулировались радикальные теории, практическое движение началось позднее⁶³. Подобные же оценки высказывали Л. Шапиро, Э. Кэрр, Ф. Помпер и многие другие авторы. Все они в принципе согласны с выводом Ф. Дана о том, что в шестидесятые годы велась главным образом теоретическая разработка народнической идеологии, а следующее десятилетие отмечено попытками ее практической реализации⁶⁴.

Размах и результативность движения шестидесятников в буржуазных исследованиях неизменно приуменьшается. Даже в весьма добрых в фактологическом отношении работах Ф. Вентури или Е. Лампера говорится о том, что положение в период отмены крепостного права только казалось революционным, хотя волна крестьянских выступлений и была беспрецедентной по своему размаху⁶⁵. И ленинское понимание революционной ситуации, и конкретные результаты исследований советских историков англо-американские авторы попросту отвергают. На принципиальное различие между советской и зарубежной буржуазной историографией указывал в свое время А. Улам. С точки зрения первой, писал он, Герцен и Чернышевский были настоящими лидерами революционной деятельности, с позиции же второй они лишь размышляли о конспирациях, в успех которых сами не верили. Для советских историков «Земля и воля», «Великорусс» – тайные организации, серьезно планировавшие осуществление революции, для западных же – это весьма скромные начинания кучки заговорщиков, способных только на жаркие споры да на чтение волнующих их воображение памфлетов. Если советские авторы пишут о грозном размахе крестьянских движений, то западные исследо-

ватели — о «бесспорядках 1861 г.» как о спорадических локальных выступлениях, выражавших крестьянское разочарование условиями освобождения⁶⁶.

Кое-какие сведения о практической деятельности русских демократов 60-х годов XIX в. англо-американские историки, конечно, сообщают. Тот же Х. Ситон-Уотсон писал о том, что в первые пять лет после отмены крепостного права в России появились небольшие группы революционеров, предпринявшими практические шаги по распространению пропаганды среди народа⁶⁷. В ряде работ отмечается рост студенческих волнений 1861 г. Так, Ф. Рэнделл характеризовал эти события как фактическое начало революционной агитации, вдохновителем которой был Н.Г. Чернышевский⁶⁸. Организованный революционерами выпуск прокламаций отмечался в работе Н. Перейры. Из трех подготовленных документов, писал автор, «наибольшим задором и демагогией» отличался тот, что был обращен к помещичьим крестьянам⁶⁹. Е. Ламперт сообщал о том, что до образования «Земли и воли» в России возникали группы молодых радикалов, не имевших единого центра и «объединенных общим стремлением к полному преобразованию русского общества». Наиболее важным он считал объединение, сплотившееся вокруг Н.Г. Чернышевского и «Современника». Этот же автор отмечал выпуск прокламации «Молодая Россия», «наиболее неистовой» по своему тону. Прокламация П.Г. Заичневского, писал Ламперт, внушила правительственным кругам и либералам представление о существовании сильной политической организации, которой в действительности не было⁷⁰.

Вообще о «Молодой России» буржуазные исследователи вспоминают часто, но, как правило, только для того, чтобы показать истоки русского якобинства. А. Глисон, например, писал, что в прокламации Заичневского ясно выразился тот подход к задачам революции, который во всей полноте проявился в большевистском перевороте 1917 г.⁷¹ Положение об антидемократическом исходе общественного движения в России Глисон считал аксиоматичным.

В ряде работ отмечено значение «Земли и воли» как первой попытки организации революционных сил в масштабах всей страны. Так, У.Верлин в своем исследовании показал, что усилия по созданию всероссийской организации русские революционеры начали предпринимать еще с 1861 г. Отметив сотрудничество Н.П. Огарева и Н.Н. Обручева в создании программной прокламации «Что нужно народу?», автор писал, что появление этого документа нельзя считать доказательством существования организации уже летом 1861 г. Однако Верлин справедливо подчеркивал центральную роль Н.Г. Чернышевского в сплочении революционных сил и правильно называл конкретные причины заката «Земли и воли». Реализацию своих планов, считал он, землевольцы связывали с народным восстанием, шансы на которое с 1863 г. фактически исчезли⁷².

Первой попыткой создания «активной политической партии»

назвал землевольческую организацию Э. Кренкшоу⁷³. О широком распространении «Земли и воли» писали Т. Андерсон и А. Глисон. По оценке этих авторов, организация представляла собой весьма аморфное объединение студенческих групп, не сумевших найти контакта с крестьянством⁷⁴. Аналогичные суждения содержатся в работах М. Флоринского, А. Ярмолинского, А. Улама и др.

Основная неточность буржуазных интерпретаций «Земли и воли» заключается не в том, что они приумножают размах деятельности общества⁷⁵. Изложенные выводы неприемлемы прежде всего потому, что они навязывают представление о революционной демократии как о сугубо верхушечном, чисто интеллигентском явлении. Спад общественного подъема начала 60-х годов многие буржуазные историки связывают главным образом с польским восстанием 1863 г. Националистические тенденции восстания, писал М. Флоринский, привели к социальной изоляции революционеров, так как все патриотически настроенные слои русского общества сплотились вокруг трона⁷⁶. Подобные высказывания встречаются во множестве работ, авторы которых разделяют убеждения о несовместимости народных и революционных устремлений.

Из революционных событий 1860-х годов наиболее острый интерес английских и американских историков вызывает, пожалуй, покушение Д.В. Каракозова на Александра II. Показательна в этом отношении обширная работа А. Улама, который был директором Русского исследовательского центра в Гарварде. Он постарался изобразить революционеров 60-х годов недоучившимися школьами, которых обуревали непомерные амбиции и совершенно фантастические идеи социального переустройства. Как полагал Улам, чересчур быстрая либерализация высшего образования оказала тлетьворное влияние на сознание русских студентов. В обществе распространились убеждения, что только молодежи принадлежит судьба страны, и это не могло не кружить головы многим студентам. Их потянуло в политику, а правительству, заметил автор, не хватило выдержки и такта, излишней суровостью оно только усиливало напряженность. С тех пор, писал далее Улам, вся общественная жизнь России оказалась как бы запрессованной в круговорот противоборства реакции и революции⁷⁷. Такая ситуация, по оценке автора, не могла не вызвать рост террористических настроений в среде незрелой молодежи, выстрел же Каракозова окончательно испортил исторический путь России. После него правительство утратило прогрессивные намерения, и в итоге подходящий момент для либерализации страны был упущен.

Каракозовский выстрел, считал Улам, вскрыл «фатальную слабость» всех основных сил, определявших ход общественного развития России. Царизм, по его мнению, никогда не умел вести правильную консервативную политику и для укрепления режима прибегал по преимуществу к банальным репрессиям, ли-

берализм не имел сколько-нибудь прочной социальной базы, а революционеры так и остались в изоляции и не получили поддержки со стороны инерных масс народа. Столь трагическая ситуация, заявлял Улам, таила в себе семена тоталитаризма, так как не содержала никаких задатков «подлинно демократического», плюралистского развития. Но если бы, считал автор, Каракозов не совершил свой «бессмысленный акт», движение в России к «тоталитаризму» могло бы быть приостановлено⁷⁸. Примерно так же оценивали значение каракозовского выстрела Р. Хингли, Е. Алмсдингсн, Ч. Мозер и другие авторы. Дж. Биллингтон, в частности, подчеркивал, что влияние этого события сказалось не только в провоцировании правительской реакции, но и в том, что оно стало вдохновляющим примером для экстремистски настроенных радикалов и предопределило в конце концов кровавый исход царствования Александра II⁷⁹. А. Глисон также считал, что вся практическая деятельность ишутинцев не заслуживала бы внимания, если бы не выстрел 4 апреля 1866 г. Идея царсубийства в сочетании с тенденцией к макиавеллизму и мистификации – вот то существенное, что вошло в наследство ишутинской организации, заключал он⁸⁰.

Встречаются, впрочем, и более смягченные оценки каракозовского дела. Так, Х. Ситон-Уотсон писал о покушении как об изолированном акте без ясных целей⁸¹. Как отчаянный поступок, обусловленный натиском грубой реакции, характеризовала выстрел Каракозова В. Бродо⁸². На нестабильность идейных позиций ишутинцев в общем справедливо указывал Ф. Помпер. В этой организации, по его мнению, в эмбриональной форме проявились споры и конфликты, в большой мере присущие движению революционных народников 1870-х годов. Однако данные Помпером объяснения такой нестабильности нельзя признать убедительными: разногласия, по его словам, были обусловлены разнохарактерностью темпераментов участников ишутинских кружков⁸³. Такое чисто формальное наблюдение – объективистски регистрирует очевидные факты, но, разумеется, никак не объясняет исторического места «организации» И.А. Ишутина – И.А. Худякова в истории русского освободительного движения.

Таким образом, большинство англо-американских историков оценивает русскую революционную демократию с позиций буржуазного презентизма, постулирующего незыблемость капиталистического строя и безусловный вред революционных и социалистических идей. В данной книге уже не раз отмечалась зависимость современных буржуазных доктрин от теоретического наследия русской либеральной историографии, проявляется она и в оценках исторической роли шестидесятников. Нельзя, однако, не обратить внимание на одно существенное расхождение. Характерной чертой русских либералов являлось сознательное или бессознательное игнорирование революционно-демократической борьбы 60-х годов, «стремление рас-

сматривать 60-е годы, вопреки исторической правде, как нечто единого, смешение демократических и либеральных элементов движения...»⁸⁴. Для современных западных исследователей такой подход не характерен. Революционное течение ими, как правило, не просто выделяется, но прямо противопоставляется умеренному, либеральному. Великий Октябрь, можно сказать, довлеет над сознанием нынешних российеведов. В отличие от Г.А. Джаншиева, А.А. Корнилова или В.Я. Богуцкого современные буржуазные авторы не могут надеяться на «разумную» либерализацию самодержавного строя.

Большинство англо-американских историков не сомневается в объективно отрицательной роли революционных демократов. Без сомнения, писал Б. Пейрс, «они никогда не были способны ни на что, кроме вреда для России». А в ореоле революционеров повинно само правительство, своими неумелыми действиями превращавшее их в героев⁸⁵. Точно так же мнение высказывал Э. Кренкшоу. Слишком грубыми репрессиями, считал он, царизм сам создал «первое поколение революционных мучеников»⁸⁶.

Подобного рода оценки весьма типичны, буржуазные идеологи с давних пор смотрят на революцию как на социальное бедствие. При всех своих расхождениях буржуазные авторы единодушны в отрицании классовой основы демократического движения русской интеллигенции, в игнорировании неразрывной связи между идеями революционеров и чаяниями народных масс.

Заявления буржуазных историков об элитарности русского революционного движения призваны затушевать глубокий гуманизм социалистических идей. Буржуазные идеологи не хотят признать за социализм значение реального антиподы капиталистическому строю. Но именно протест против капиталистической эксплуатации обусловил постановку русскими революционерами-демократами сложнейшей задачи: бороться против феодально-крепостнических порядков и в то же время не допустить развития капитализма, перешагнуть через него и тем самым спасти трудящиеся массы от «язвы пролетариата». Для подлинных гуманистов будущее страны стало немыслимо без введения социалистического строя.

Принижая историческую роль революционной демократии, буржуазные авторы указывают на присущий ей утопизм политического мышления. Действительно, идеи русских революционеров выражались тогда в форме социальных утопий. Разночинцы-демократы наивно полагали, что достижение справедливого строя вполне осуществимо в недалеком будущем. Это было, писал видный шестидесятник П.Ф. Николаев, «счастливое время, замечательно наивное и человеческое, умевшее даже всякий пустяк обливать лучезарным светом идеала гуманности и правды, и не вина этого времени, не вина людей этого времени, что свет оказался лишь блеском мишурной позолоты»⁸⁷. Однако направление интеллектуальных поисков демократов имело

объективную основу в подъеме освободительной борьбы угнетенных классов, в том самом подъеме, который заставил царизм начать освобождение крестьян «сверху», не дожидаясь, пока они освободятся «снизу». Гуманизм, революционность и социализм в сознании передовой интеллигенции сливались воедино. Старый порядок, указывал В.И. Ленин, нельзя свергнуть «без громадного духовного и революционного подъема масс. Такой подъем предполагает и порождает самое искреннее сочувствие к положению трудящихся масс, самую горячую ненависть к их угнетателям и эксплуататорам». Отсюда, подчеркивал Ленин, неизбежно возникает сочувствие демократов социализму, «их субъективный социализм»⁸⁸.

Утопии революционной демократии оказались очень устойчивы. Однако объясняется это совсем не мифической склонностью русских революционеров к социальному проектированию. За социалистическими мечтаниями революционеров крылась наиболее последовательная программа разрешения аграрно-крестьянского вопроса и решительной демократизации политического строя России. Объективно революционеры-демократы выражали «интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского землевладения»⁸⁹. Именно такого развития страны со всей решительностью потребовали народные массы России в годы первой русской революции. Вот почему, подчеркивал В.И. Ленин, «представители сознательно враждебной либерализму демократической тенденции в реформе 1861 года, казавшиеся тогда (и долгое время спустя) беспочвенными одиночками, оказались на деле неизмеримо более «почвенными», – оказались тогда, когда созрели противоречия, бывшие в 1861 году в состоянии почти зародышевом»⁹⁰. История, указывал В.И. Ленин, навсегда сохранит память о революционерах как о передовых людях эпохи, ибо революционеры «играли величайшую историческую роль в общественной борьбе и во всех социальных кризисах даже тогда, когда эти кризисы непосредственно вели только к половинчатым реформам. Революционеры – вожди тех общественных сил, которые творят все преобразования; реформы – побочный продукт революционной борьбы»⁹¹.

Традиции революционной демократии 1860-х годов остались глубокий след в освободительном движении России, но совсем не потому, что революционеры «эпохи Чернышевского» стали инициаторами «элитарно-интеллигентских устремлений». Наследие шестидесятников – это наследие горячей защиты коренных интересов народа, непреклонной борьбы против сил реакции, бесценного опыта идейных и практических поисков правильных путей революционной деятельности.

2. А.И. Герцен в англо-американской историографии

В мировоззрении русских революционеров-демократов доминирующее место заняли идеи крестьянского общинного социализма. «Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, — писал В.И. Ленин, — стало народничество»⁹². Ведущая роль в формировании революционно-демократической идеологии принадлежала А.И. Герцену и Н.Г. Чернышевскому, по определению В.И. Ленина, родоначальникам народничества.

Английские и американские исследователи признают крупную роль А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского в общественно-политической жизни России. Однако субъективизм, отсутствие строго определенных исследовательских критерий приводят буржуазных историков к самым разнообразным суждениям о конкретном вкладе великих революционных демократов в развитие теории и практики освободительной борьбы.

Многие буржуазные авторы считают, что основная роль в создании русских социальных утопий принадлежала А.И. Герцену, поскольку именно он был основоположником крестьянского социализма. Как создателя народнической идеологии характеризовал Герцена Ф. Вентури⁹³. В свою очередь М. Малин писал, что в созданной Герценом доктрине русского социализма ярче всего выразилось негативное отношение интеллигенции к порокам старого режима, а всякие расхождения между сторонниками этого учения вплоть до конца XIX в. не носили принципиального характера и ограничивались выбором средств достижения поставленных целей⁹⁴. Такая точка зрения на историческое место Герцена основана на общем представлении о народничестве как об идеальном выражении интеллигентской оппозиционности. Эволюция революционного демократизма подменяется саморазвитием революционного сознания интеллигенции, у истоков которого якобы стоял А.И. Герцен.

Буржуазные исследователи часто утверждают, что А.И. Герцен сумел выполнить роль основоположника русского социализма благодаря своей способности придать новый импульс развитию славянофильских идей путем привития к учению о русской самобытности новомодных теорий западноевропейского социализма. В результате такого смешения, утверждал С. Утехин, «Герцен заложил основы специфически русского социализма, который позже получил название народничества»⁹⁵. Герцен, по словам А. Глисона, был подлинным родоначальником народничества и снабдил молодых радикалов соответствующим политическим словарем, почерпнув свои идеи как у славянофилов, так и у западников⁹⁶. А по мнению Т. Самуэли, Герцен сумел слить воедино даже три разнородных идеальных течения (западничество, славянофильство и социализм), основав уникальную философию русского популизма⁹⁷. Конкретизируя такой подход, Р. Хингли утверждал, что Герцен лишь в начале

своего пути был западником, а после революции 1848 г. разочаровался в Западной Европе и стал склоняться к славяно-фильским идеям о сельской общине, связав с ней надежды на возможность ускоренного перехода России к социализму⁹⁸.

Герценовское учение характеризуется, таким образом, как плод теоретических поисков интеллигента-одиночки, вышедшего после череды иллюзий и разочарований на путь народнического социализма. Вопрос об объективном классовом смысле русского социализма даже не ставится. Наиболее выпукло такой подход проявился в обширном труде М. Малия. Этот исследователь считал, что идеи Герцена явились наиболее ярким проявлением интеллигентского мировоззрения, каким оно сложилось в результате культурной «востернизации» русского общества. Социализм в России, утверждал Малия, в отличие от Запада сложился вне связи с капиталистической индустриализацией и ростом рабочего движения. Понять причины его возникновения можно, лишь учитывая взаимодействие традиционного русского национализма с новейшими радикально-социалистическими теориями Запада. Русский социализм, подчеркивал Малия, был особенно утопичен, ибо он представлял собой продукт чисто интеллектуальных влияний⁹⁹. Разделяя в целом позицию М. Малия, А. Улам заявил, что созданное Герценом народничество, остававшееся доминирующим течением оппозиционной интеллигенции до конца XIX в., прежде всего выразило «глубокий русский национализм, сочетавшийся с подсознательным чувством зависимости по отношению к Западу»¹⁰⁰.

Очевидная непродуктивность указаний на «националистические основы» мировоззрения Герцена вызывает критику даже со стороны некоторых западных исследователей. Так, в оригинальном труде английского историка Э. Эктона выражено резкое несогласие с упрощенными оценками русского демократа. Автор подчеркивал необоснованность рассуждений Малия о глубоком национализме Герцена. Конечно, замечал Экton, отрицать национальные чувства у руководителя «Колокола» не следует, однако видеть в его реакции на буржуазный Запад «доминирование национальных мотивов» нельзя. Взгляды М. Малия, подчеркивал Экton, являются серьезной недооценкой «искренности и глубины гуманистических идеалов» Герцена. Русский революционер был убежден, что Европа переживает переходный период к более высокому типу общественного строя, и именно такие надежды обусловили как его энтузиазм в канун революции 1848 г., так и последовавшее разочарование исходом июньских сражений в Париже. Если же, писал Экton, следовать выводам о том, что в герценовских воззрениях преобладал национализм, то его произведение «После бури» становится совершенно необъяснимым¹⁰¹. Даине наблюдение представляется вполне убедительным. Однако с позиций М. Малия или А. Улама становится необъяснимым не только этот конкретный труд Герцена, но и вся история его духовного и политического развития.

Среди англо-американских исследователей преобладают негативные оценки «русского социализма», который чаще всего характеризуется как примитивная утопия, как плохое подражание идеям западноевропейских социалистов. О неоригинальности политического мышления Герцена писал М. Малин, по мнению которого «русский социализм» был вариацией «аграрного примитивизма», идущего от Ж.Ж. Руссо или Прудона¹⁰². В сознании Герцена, замечал Р. Хейр, переплелись идеи федерализма, крестьянского самоуправления, мелкого землепользования и производства, он видел Россию медленно развивающейся крестьянской нацией, но никак не «мощным индустриальным гигантом». Русский демократ представлен Хейром апологетом патриархальщины, попавшим к тому же под влияние трудов А. Гакстаузена и славянофилов¹⁰³.

По оценке западных исследователей, социалистические идеи Герцена лишены какого-либо реального содержания и выглядят лишь причудливой комбинацией взглядов романтика-идеалиста, поднявшего интеллектуальный бунт против издержек буржуазного развития. Э. Кренкшоу писал, что негативное отношение Герцена к западноевропейскому образу жизни подкреплялось извечно присущим русским людям отвращением к принципам формальной законности и правопорядка. В своем презрении к «лицемерным» нормам европейского быта, уверял Кренкшоу, Герцен был по существу ближе к царям, чем к какому-нибудь западному либералу или радикалу, «он был, можно сказать, очень русским. Подобно большинству русских, он не понимал, что означает уважение к закону... В России к закону, к самому принципу законности всегда относились с подозрением, часто даже с презрением...»¹⁰⁴. Отсюда, по мысли Э. Кренкшоу, и большая склонность самого Герцена к идеям колlettivизма, и общая восприимчивость русской интеллигенции к социальным утопиям.

Пристрастный характер выводов Э. Кренкшоу очевиден. Негативное отношение к социалистическим идеям – неизменный атрибут буржуазной историографии. Конечно, в учении А.И. Герцена на деле «нет ни грана социализма»¹⁰⁵. Но под утопически-социалистической оболочкой его идей крылось страстное стремление к освобождению народных масс от крепостного угнетения и самодержавного деспотизма. В этом смысле воззрения русского демократа выражали самые злободневные, насущные задачи преобразования России. Советские исследователи (Б.П. Козьмин, А.И. Володин, З.В. Смирнова, В.А. Малинин, Н.М. Пирумова и др.) на огромном конкретном материале раскрыли глубокую жизненность социалистических теорий Герцена, их соответствие действительным потребностям трудящихся масс¹⁰⁶.

При освещении политических взглядов А.И. Герцена многие английские и американские историки продолжают традиционное для буржуазной литературы выхолащивание его революционного демократизма. Очень часто проводится мысль о том, что

Герцен не был «безответственным» радикалом и не стремился к насилиственному разрешению стоявших перед русским обществом проблем. Такой взгляд установился в западной буржуазной литературе с давних пор. А. Ярмолинский, М. Флоринский, Дж. Кларксон и многие другие авторы стараются доказать, что Герцен остался верен традициям «отцов» с их политическим разумом, отказом от насилиственной борьбы с правительством и отрицательным отношением к «духовному деспотизму» революционного лагеря. При этом либеральное подкрашивание Герцена имеет вполне определенную политическую направленность. Нередки попытки представить Герцена чуть ли не прорицателем, предугадавшим для России «несчастливое» завершение революционного процесса. Р. Хейр, например, выступал против оценки Герцена как исторического предшественника революционной социал-демократии. Герцен, заявлял Хейр, настойчиво предостерегал против концентрации государственной власти при социализме, так как видел в ней «новую форму деспотии». На революционеров, подчеркивал Хейр, Герцен смотрел как на опасных фанатиков, готовых к самой суворой борьбе во имя своих мессианских утопий, «но не способных сделать и одного шага к достижению подлинной свободы»¹⁰⁷.

Однако хорошо известно, как глубоко осознал А.И. Герцен недостаточность для действительного освобождения народа формальных политических свобод буржуазного государства¹⁰⁸. Стремление к «социальной» революции легло в основу созданной им теории русского крестьянского социализма. Герцен никогда не отделял себя от революционного лагеря, Н.Г. Чернышевский, М.Л. Михайлов и их единомышленники всегда оставались для него «нашими друзьями»¹⁰⁹, олицетворявшими собой новую Россию. В 1864 г. он гневно заклеймил царских палачей, подвергших гражданской казни Н.Г. Чернышевского. Эту новую Россию, писал он, Россия подлая «показывала народу, выставляя Чернышевского на позор»¹¹⁰.

Как когда-то русские либералы, буржуазные историки всячески подчеркивают политическую умеренность А.И. Герцена. Герцен, заявлял М. Флоринский, остался в своей основе социальным реформатором и в этом смысле резко отличался от «суворых революционеров типа Бакунина, Ткачева, Троцкого или Ленина»¹¹¹. Точно так же и Р. Хейр утверждал, что русские революционеры не сумели удержаться на уровне гуманистической мысли Герцена, что их идеи представляли собой резко ухудшенный вариант герценовского социализма.

Сильные стороны мировоззрения А.И. Герцена, например требование демократического решения аграрного вопроса в России, буржуазные авторы либо замалчивают, либо изображают как совершенно несбыточные мечтания дворянского интеллигента. Подобно большинству радикалов, писал А. Улам, Герцен просто недооценивал громадных экономических и административных трудностей в подготовке крестьянской реформы и из-за этого увлекся явно нереалистическими проектами¹¹².

Большинство современных западных исследователей признает, что от типичного либерала Герцен отличался увлеченностью социалистическими идеями и возраставшим скепсисом по отношению к формам политического устройства современного ему буржуазного европейского общества. Эта особенность герценовского мышления зачастую расценивается как проявление сугубо личной неустроенности интеллигента-дворянина. Мысль о решающем влиянии личных трагедий на развитие идей Герцена развивали Р. Хейр, Э. Эктон, А. Улам и другие авторы¹¹³. Такие суждения легко вписываются в субъективно-идеалистические построения буржуазной историографии. Ведь по логике западных исследователей личных драм Герцена могло и не быть, и, значит, ни о какой предопределенности возникновения «русского социализма» говорить не следует. Но, как нам представляется, это наивная логика.

Разумеется, обстоятельства личной жизни всегда сказываются на творческом развитии личности. Семейные несчастья А.И. Герцена могли сыграть свою роль в усилении его скептического отношения к возможностям радикального обновления западноевропейской жизни. Однако решающее значение в формировании идей крестьянского социализма имели, безусловно, объективные причины. А.И. Герцен сформировался как политический мыслитель и демократ, когда европейская буржуазия окончательно утратила присущую ей прежде революционность, а в России назрели задачи устранения феодальных порядков. Контрреволюционная сущность буржуазии со всей силой обнаружилась в 1848–1849 гг. и стоила Герцену горьких разочарований, прежде чем он поверил в возможность самостоятельного обновления России. «Духовный крах Герцена, – писал В.И. Ленин, – его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела»¹¹⁴. Идеи Герцена – это, конечно, плод его личных интеллектуальных усилий. Но понять их смысл можно, лишь уяснив, что они стали адекватным выражением интересов тех сил России, которые боролись за ее буржуазно-демократическое переустройство, за коренные преобразования в интересах народных масс. История распорядилась так, что русская революционная демократия только в форме социалистических идей могла выразить свои требования с наибольшей глубиной и последовательностью.

Желанием игнорировать связь идеологической борьбы Герцена с последующей революционно-демократической борьбой в России можно объяснить выступления буржуазных авторов против основных положений ленинской статьи «Памяти Герцена». Работа В.И. Ленина, заявил, например, М. Малиа, была лишь попыткой лидера большевиков поставить деятельность Герцена в ряд собственной политической традиции¹¹⁵. Малиа призывал

отбросить «ограниченные рамки», в которые якобы пыталась поместить Герцена марксистско-ленинская историография. По мысли буржуазного историка, на Герцена надо смотреть не как на предшественника революционной социал-демократии, а как на ее потенциального соперника. Такое же суждение высказывал и А. Ярмолинский¹¹⁶.

Встречаются в англо-американской историографии и утверждения, будто наиболее сильное воздействие на революционное движение в России оказали антибуржуазные идеи в мировоззрении А.И. Герцена. В русском общественном движении, писал в одной из своих работ Х. Ситон-Уотсон, всегда были и яростные противники буржуазии, и деятели, питавшие к западному капитализму «определенное уважение». К последним автор относил В.Г. Белинского, П.Б. Струве, Г.В. Плеханова. Герценовское же «безграничное отрицание» буржуазии напоминало Х. Ситон-Уотсону В.И. Ленина. Этот «преждевременный антикапитализм» (поскольку буржуазные отношения были едва развиты в России), считал Ситон-Уотсон, происходил скорее от дворянского презрения к денежным дельцам, чем от реального antagonизма между промышленными рабочими и их хозяевами. «Допромышленный антикапитализм, — писал автор, — сочетался у Герцена с современной ему доктриной социализма, и эта комбинация оказывала постоянное влияние на идеологию всего революционного движения». Эта бакунинско-герценовская традиция, по Ситон-Уотсону, полнее всего выразилась в движении народников, социалистов-революционеров и большевиков¹¹⁷.

Смысъ подобных суждений очевиден. Буржуазный советолог всячески стремился доказать национально ограниченный характер русского революционного движения, исключительную самобытность Великого Октября, ставшего якобы завершением антибуржуазных (или антизападных) устремлений русских социалистов. Абстрагируясь от классового содержания социально-политических теорий, автор отождествлял «антибуржуазное» учение А.И. Герцена с русским марксизмом, а социально-экономическое развитие России во второй половине XIX — начале XX в. просто не принимал во внимание. Для него как бы не существовали ни бурное развитие российской монополистической экономики, ни рост промышленного пролетариата, ни подъем революционной борьбы рабочего класса и трудящегося крестьянства. Качественное состояние русского общества и характер общественного движения в стране рассматриваются при таком подходе как особенности по существу неизменные, а Герцен и русские марксисты — как носители интеллигентской оппозиционности.

И противопоставления великого русского демократа революционерам, и, напротив, приписывание ему роли некоего зачинателя «антизападной» тенденции в общественной жизни России не имеют под собой оснований. Правда, Герцен не сумел правильно оценить причин поражения европейских революций. В написанных им после 1848 г. работах явственно выражалось

чувство глубокого разочарования в способности западноевропейских народов к социальному прогрессу. «Мне кажется, — с горечью замечал Герцен, — что роль теперешней Европы кончена; после 1848 года она разлагается с неизмеримой быстрой»¹¹⁸. О своих надеждах на социалистическую революцию в Европе он сам говорил как о наивных и беспочвенных иллюзиях. «Но как дорого, — писал он, — заплатили мы за этот сон, когда, пробудившись, увидели себя на краю бездны, на склоне которой находится старая Европа, ныне бессильная, бездейственная и в конец разбитая параличом»¹¹⁹. Европу, полагал Герцен, поразил дух мещанства, развративший все слои общества. Принципы частной собственности, по его мнению, слишком глубоко укоренились в сознании европейских народов, что и стало испрекомом преградой торжеству социалистических идеалов. Погрязнув в мелких расчётах, писал Герцен, мещанская Европа «изживает свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии»¹²⁰. Это было время острых переживаний и тяжелых раздумий Герцена. Он не мог понять, что для успеха социалистической революции нужны не просто желания людей, а подготовленные ходом капиталистического развития объективные, материальные предпосылки перехода к общественному производству и распределению. Герцен не сумел, да и не мог в условиях того времени, подняться до научного социализма.

Но в основе герценовских воззрений и в те годы лежал не национализм, а яростный протест против торжествовавшей буржуазии. Не национализм, а интересы угнетенных классов определяли мировоззрение русского революционера. Подтверждением этому служит то обстоятельство, что, даже глубоко разочаровавшись в перспективах европейского развития, Герцен не утратил веры в великую миссию трудящегося народа. Человеком будущего на Западе он называл работника и утверждал, что если крестьянин «хорошенько поймет» работника, то народная энергия «сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс»¹²¹.

В конце 1868 г., пережив и надежды, и горькие разочарования, имея за плечами многолетний опыт борьбы и богатых связей с революционным подпольем, Герцен писал: «Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции, веру в возможность переворота в России, страстное желание участвовать в нем, юность и непочатость сил. Все это переработалось, стало иным, но основы целы»¹²².

Конечно, революционный демократизм Герцена не был вполне последовательным. Редактор «Колокола» принадлежал к помещичьей, барской среде и, покидая в 1847 г. Россию, не видел революционного народа. Отсюда, писал В.И. Ленин, его письма к царю, и «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич,

представлявшис новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако справедливость требует сказать, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх»¹²³.

Будучи трезвомыслящим политиком, Герцен избегал излишней горячности и допускал возможность революционного насилия только в крайнем случае. Но он никогда не исключал исторической необходимости революционного вмешательства народа. «Страшна и пугачевщина, — писал Герцен, — но, скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно недорого куплено. Страшные преступления влекут за собой страшные последствия»¹²⁴.

Предвосхищая современных буржуазных исследователей, русские кадеты в начале нынешнего века безуспешно пытались подтянуть Герцена под свои знамена. П.В. Струве, например, уверял, что политическое развитие Герцена шло в направлении к либерализму, и такое развитие представлялось автору «истинно историческим»¹²⁵. Сокрушительный отпор либерально-буржуазным утверждениям дал В.И. Ленин. Факты убеждают, подчеркивал он, «как подло и низко клевещут на Герцена окопавшиеся в рабьей «легальной» печати наши либералы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных. Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидел его в 60-х — он безбоязно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции»¹²⁶. Ленинская защита Герцена от буржуазных трактовок вполне злободневна и в наше время.

Величие Герцена — в последовательном отстаивании интересов народных масс, в настойчивых требованиях демократического преобразования России, в неустанный борьбе за осуществление этих требований. Именно в этом заключается его роль предшественника русской социал-демократии. Но В.И. Ленин решительно отрицал возможность копирования «до-промышленного антикапитализма» русского демократа, основоположника народнического социализма. Социализм Герцен видел в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю». «Мы русским социализмом, — писал он, — называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от общинного владенья и общинного управления, — и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука»¹²⁷.

На деле в этом учении Герцена не было действительного социализма. Как показал Ленин, социализм Герцена был «добрый мечтанием»: «Чем больше земли получили бы крестьяне в

1861 году и чем дешевле бы они ее получили, тем сильнее была бы подорвана власть крепостников-помещиков, тем быстрее, свободнее и шире шло бы развитие капитализма в России». Герцен, подчеркивал В.И. Ленин, «не мог понять буржуазной природы русской революции»¹²⁸.

Дворянское происхождение Герцсна (как, впрочем, и М.А. Бакунина или П.Л. Лаврова) не мешало ему выражать идею «права на землю», которая, писал В.И. Ленин, представляла собою не что иное, как формулировку «революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение полицейской власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения»¹²⁹. Герценовская идея общинного землевладения была направлена на защиту сельского труженика и от помещичьего произвола, и от буржуазной экспроприации мелких крестьянских хозяйств. Сущность идейной позиции Герцена не была ни аристократической, ни внеклассово-интеллигентской. Ее объективное содержание принципиально не отличалось от революционного демократизма 1860–1870-х годов.

Практическая революционная деятельность А.И. Герцена в англо-американской историографии освещается чрезвычайно скромно. Как правило, описываются лишь его издательская работа да отдельные контакты с М.А. Бакуниным, Н.Г. Чернышевским и некоторыми другими революционными деятелями. Чаще всего А.И. Герцен изображается как кабинетный мыслитель, стоявший в стороне от подпольных конспираций.

Правда, в ряде работ отмечается влияние Герцена на революционное движение русской молодежи начала 60-х годов XIX в. Герцен, писал В. Дмитришин, обратился в 1861 г. к исключенным студентам с призывом идти в народ, и этот призыв «привел к рождению русского народничества»¹³⁰. Об этом же упоминали М. Рэн, Б. Пейрс и многие другие. Однако непосредственные связи Герцена с революционным подпольем либо замалчиваются, либо характеризуются как явно недружественные, почти враждебные.

Возникавшие в демократическом лагере разногласия всегда представляли большой интерес для буржуазных историков. Многие авторы акцентируют внимание на спорах А.И. Герцена с теми или иными русскими революционерами, с молодой эмиграцией 1860-х годов. Имевшиеся разногласия выдаются за проявление непримиримых противоречий, причем благородству и гуманизму Герцсна противопоставляются «нетерпимость» и «невежественный фанатизм» русской революционной среды. Именно так характеризовали взаимоотношения Герцена с русскими революционерами М. Флоринский, Р. Хейр, А. Ярмолинский и др. Контакты же Герцена с революционными кругами они объявляли нехарактерными для русского демократа и объясняли их чисто субъективными причинами, например влиянием его экспансивных друзей, Н.П. Огарева или М.А. Бакунина. Герцен, заявлял Р. Хейр, всегда сторонился революционных заговоров, и толь-

ко Бакунин понуждал его писать для «Колокола» одобрительные отзывы о тайном обществе «Земля и воля»¹³¹.

В таком же ключе освещал деятельность А.И. Герцена и А. Улам. Он, правда, писал, что Герцен иногда оказывал поддержку революционерам и даже вошел в состав «Земли и воли». Однако вовлекся он в конспиративные дела, по мнению автора, не по убеждениям, а «непроизвольно», поддавшись влиянию своих горячих друзей. Сыграла свою роль, замечал Улам, и любовь Герцена к Н. Тучковой, которая якобы поставила его в моральную зависимость от Н.П. Огарева: «Чувство личной вины сделало Герцена уступчивым по отношению к воззрениям своего несчастного друга, который надеялся на переустройство России путем заговора и насилиственного переворота»¹³². Но уже с 1863 г. начался, по оценке Улама, неизбежный разрыв Герцена с русской революционной средой.

Буржуазные историки закрывают глаза на давно уже ставшие достоянием науки материалы, раскрывающие многосторонние связи великого демократа с революционным подпольем России. Труды М.В. Нескиной, Я.И. Линкова, Н.Я. Эйдельмана, И.В. Пороха и многих других советских исследователей, осветивших крупную роль А.И. Герцена в становлении и развитии «Земли и воли», в создании подпольных организаций и групп, в укреплении русско-польского революционного союза, английские и американские историки оставляют без внимания. В качестве источника им служит русская дореволюционная буржуазная историография. Например, либеральный историк В.П. Батуринский писал, что в контактах Герцена с революционерами 1860-х годов отразились противоречия различных поколений русской интеллигенции. Он же указывал на принадлежность Герцена к «блестящей» плеяде людей 1840-х годов, которые неизбежно должны были чувствовать неприязнь и даже враждебность по отношению к поколению «грубых» разночинцев. В свою очередь революционная молодежь, заявлял Батуринский, считала поколение Герцена «барственным» и неспособным на «энергическую работу». «Батуринский, — справедливо отмечала М.Г. Вандалковская, — абсолютизировал эти разногласия, не принимая во внимание общности их политической позиции»¹³³. Приходится констатировать, что за прошедшие десятилетия некоторые буржуазные авторы фактически не продвинулись в изучении революционно-демократической деятельности А.И. Герцена.

3. Интерпретация исторической роли Н.Г. Чернышевского в англо-американской буржуазной историографии

Н.Г. Чернышевский был центральной фигурой общественного движения 1860-х годов, подлинным вождем революционных сил. Как и Герцен, он выступал за социалистическое переустройство России. «Но Чернышевский, развивший вслед за Герценом

народнические взгляды, — писал В.И. Ленин, — сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы»¹³⁴. В пореформенной России было мало деятелей, жизни и мировоззрению которых уделялось столько внимания со стороны буржуазных историков.

Авторы консервативного направления неизменно изображают Чернышевского фигурой, олицетворявший худшие стороны русского революционного движения. Николай Чернышевский, заявлял Р. Даниэльс, был «наиболее ярким выразителем нигилизма 1860-х годов»¹³⁵. Под первом реакционеров Чернышевский предстает человеком, взгляды которого не имели ничего общего с интересами русского народа. А. Улам и Э. Кренкшоу рассматривали Чернышевского как предтечу антидемократической тенденции, которая нашла свое завершение в политических взглядах и деятельности большевиков¹³⁶. По оценке реакционных российсевдов, именно Чернышевский и его ближайший соратник Добролюбов внесли в русскую интеллиектуальную жизнь тот дух клерикального отрицания действительности и неистребимого фанатизма, каким было отмечено мировоззрение молодых разночинцев¹³⁷. Нельзя забывать, подчеркивал А. Ярмолинский, что во взглядах Чернышевского и Добролюбова более всего проявились «религиозный тип мышления, догматизм, нравственная нетерпимость, миссионерский пыл, самоотречени»¹³⁸.

Боевитость демократической позиции Чернышевского, его революционную целесустренность реакционные историки представляют как фанатизм и интеллиектуальную узость, в которых якобы проявилась православная основа духовного облика бывшего семинариста. «Врожденным пуританизмом» Чернышевского Э. Кренкшоу объяснял выдвинутые в «Что делать?» требования к облику революционера, личности «суроой, жестокой, абсолютно отрешенной, коварной, беспощадной». Именно такие революционеры, считал автор, и осуществили «ужасную» ломку старого строя¹³⁹. В таких оценках отражен не поиск истины, а негативное отношение реакционной историографии к революционным традициям России.

С особым усердием буржуазные идеологи стараются опорочить роман «Что делать?». Как признавал американский исследователь Ф. Рэнделл, многие западные «специалисты», не затрудняясь чтением, заранее представляют Чернышевского «интеллиектуальным простаком», напыщенным и скучным писателем, а его роман оценивают как неряшливое и грубое произведение, «как ранний пример всего худшего, что содержит в себе доктрина социалистического реализма»¹⁴⁰. В труде М. Флоринского, например, роман Чернышевского именуется «тенденциозной революционной сагой, лишенной каких-либо литературных достоинств»¹⁴¹. Тем не менее, писал А. Глисон, «плохой» роман стал «настоящей библией» для русских революционеров. Как бы ни казались современному читателю безжизненными и карикатурными героями Чернышевского, они дали рус-

ской молодежи то же, что дал Че Гевара «гораздо более позднему поколению радикальных студентов: комплекс идей, программу и образ поведения»¹⁴².

В современной западной историографии, однако, есть и стремление преодолеть тенденциозность в отношении к Чернышевскому. Заявляя о своей беспристрастности, Ф. Рэнделл в одном из исследований назвал слишком узкими религиозные или чисто семейные интерпретации «революционного бунтарства» Чернышевского. Существенное значение, по мнению Рэнделла, имело ощущение социальной неполноправности, которое испытал молодой Чернышевский, когда тепло и уют его детства сменились холодом и напряженностью петербургской жизни. Приезд в столицу, подчеркивал автор, стал для Чернышевского «первым личным знакомством с жестокостью и несправедливостью классовой системы России»¹⁴³.

Особое значение имела, по Рэнделлу, мрачная обстановка «безумного семилетия», завершившего царствование Николая I. В атмосфере политического деспотизма окончательно сложились черты характера будущего лидера русских революционеров: «крайний радикализм, непреклонная решимость покончить с окружающим злом, непреклонная настойчивость в отстаивании своей позиции и в критике противника, тревожное ожидание надвигающегося катаклизма, личной жертвы и неизбежной ломки существовавшего строя»¹⁴⁴. Ответственность за «порчу характера» Чернышевского Рэнделл возлагал на царский режим, внося оттенок нейтральности в собственную позицию.

Буржуазные исследователи подчас весьма подробно характеризуют различные факторы и идейные влияния, сформировавшие мировоззрение Чернышевского. Но при этом они неизменно отвлекаются от социально-экономической обстановки, под воздействием которой шло становление русского революционера-демократа, от классовой обусловленности развития демократических идей. Так, американский историк У. Верлин в своем обширном труде отметил разнообразные связи молодого Чернышевского, указал на неуклонно укреплявшийся демократизм его взглядов, подчеркнул, что в отличие от Белинского Чернышевский быстро встал на определенную общественно-политическую позицию и на протяжении всей своей жизни остался верен своим убеждениям¹⁴⁵. Автор пришел к обоснованному выводу о том, что уже к концу 1840-х годов сложились республиканские и социалистические убеждения Чернышевского. «Его интерес к событиям 1848 г., — писал Верлин, — способствовал переходу от общего сочувствия ко всем угнетенным и непривилегированным людям к твердому убеждению, что выдвигаемые европейскими либералами лозунги политических свобод еще не дают решения острых социальных проблем современной ему эпохи»¹⁴⁶. Кроме того, Чернышевский, подчеркивал Верлин, скоро понял классовый характер абсолютной монархии и пришел к мысли, что для народа не может быть иного выхода, кроме скорейшего свержения царизма¹⁴⁷. Верлин высказал

ряд верных положений о формировании общественно-политической позиции Чернышевского. Тем не менее и этот автор ограничивал сферу своих наблюдений чисто личностными моментами. Вопрос о классовом, буржуазно-демократическом содержании идей Чернышевского Верлин принципиально игнорировал.

Признание революционного характера идей Чернышевского у буржуазных авторов обычно сопряжено с настойчивым стремлением приизнать уровень теоретического наследия великого русского демократа. Английские и американские историки часто утверждают, будто материалистическая позиция Чернышевского была примитивной, тип его мышления был наивным и грубым¹⁴⁸. Как плохого подражателя западноевропейским мыслителям характеризовал И.Г. Чернышевского Р. Хейр. По его мнению, Чернышевский в конце концов встал на путь открытой апологии Европы, «используя терминологию, которая могла бы вызвать аплодисменты Редьярда Киплинга и даже Уинстона Черчилля». Хейр заявил, что он защищает истинные взгляды Чернышевского от «хвастливых и агрессивных русских патриотов», пытавшихся якобы наделить его антizападными настроениями¹⁴⁹.

Но правильно ли трактует Р. Хейр идеи русского демократа? Чернышевский потому и ценил русскую крестьянскую общину, что надеялся на возможность избавления России от пороков буржуазного развития Запада. «Те привычки, — писал он, — проведение которых в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и французу, существуют у русского как факт его народной жизни... Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас, в могущественном народном обычаяе нашего сельского быта... Мы видим, какие печальные следствия породила на Западе утрата общинной поземельной собственности и как тяжело возвратить западным народам свою утрату. Пример Запада не может быть потерян для нас»¹⁵⁰.

Важно отметить, что преимущество сохранения общины Чернышевский обосновывал не ссылками на некие «мирскии» наклонности русского (или славянского) национального характера, а с помощью экономического анализа разных форм организации производства. Общину, писал он, необходимо уберечь, во-первых, потому, что в тех условиях она представляла собой «единственное средство сохранить каждого поселянина — хозяина в звании поземельного собственника». А во-вторых, через «тридцать или двадцать пять лет общинное владение будет доставлять нашим поселянам другую, еще более важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли»¹⁵¹. «Составление» же товариществ было, по мнению Чернышевского, жизненной необходимостью, если учитывать развитие производительных сил. Почти каждое производство в условиях капитализма, считал он, для своего успеха требует размеров, превышающих рабочие силы одного семейства. «Капиталист, — по

Чернышевскому, — не нуждается в союзе с другими, потому что располагает силами множества людей. Трудящийся, располагая силами только своей семьи, должен вступать в товарищество с другими трудящимися. Это для него легко, потому что нет ему причины враждовать против них. Таким образом, форма, находимая для производства теорий трудящихся, есть товарищество»¹⁵².

Для рационального, эффективного ведения хозяйства необходим, писал Чернышевский, большой размер полей. Поэтому общиноное владение представляется необходимым не только для благосостояния земледельческого класса, но и для успехов самого земледелия, «оно оказывается единственным разумным и полным средством соединить выгоду земледельца с улучшением земли и методы производства с добросовестным исполнением работы»¹⁵³. Великий русский демократ приближался к научному обоснованию некапиталистического развития относительно отсталой страны. Чернышевский, указывал Ф. Энгельс, «видит в русской крестьянской общине средство для перехода от современной общественной формы к новой ступени развития, которая стоит, с одной стороны, выше, чем русская община, а с другой — выше, чем западноевропейское капиталистическое общество с его классовыми противоположностями. И в том, что Россия обладает таким средством, в то время как Запад его не имеет, в этом Чернышевский видит пресмыщество России»¹⁵⁴. Приписывать Чернышевскому восхваление Запада, как это делают некоторые буржуазные авторы, можно, лишь закрыв глаза на самое существенное в его идеях — глубочайшую убежденность в грядущем торжестве социалистического строя.

Среди западных авторов бытует мнение о том, что свою теоретическую работу Чернышевский подчинил политической деятельности и что, следовательно, его философия не может быть ни оригинальной, ни продуктивной. Все мысли Чернышевского, заявил Н. Перейра, были подчинены политической борьбе¹⁵⁵. Такая направленность, по мнению буржуазных историков, резко ограничивала кругозор русского демократа и являлась причиной его интеллектуальной нетерпимости. Со временем Чернышевского, считал Ч. Мозер, в сознании русских революционеров возобладал однобокий утилитаризм по отношению к культуре и науке¹⁵⁶. Развивая эту мысль, Ф. Рэнделл подчеркивал, что, по мнению многих западных историков, неизменное стремление Чернышевского подчинить теоретическую деятельность политическим интересам предвосхитило образ мышления современных коммунистов¹⁵⁷.

Даже У. Верлин, стремившийся сохранить объективное отношение к русскому демократу, упоминал о слабости его философских позиций. Основное значение Чернышевского, полагал он, состояло не в создании оригинальных теорий, а в популяризации идей других¹⁵⁸. Дело в том, писал Верлин, что после Крымской войны перед радикалами встала задача дискре-

дитации институтов и традиций прошлого, «негативная критика и разрушение должны были подготовить почву для тщательной разработки новых убеждений. Определенные слабости Чернышевского как мыслителя и философа объясняются его положением лидера в движении, которое презирало традиционную философию во имя социального прогресса. Чистое творчество слишком долго ассоциировалось с бездеятельностью»¹⁵⁹.

Попытки представить Чернышевского слабым мыслителем свидетельствуют о том, как проводится принцип буржуазной партийности в исторических исследованиях. Противники революционного движения всегда стремились умалить теоретические заслуги А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и других идеологов революционной демократии, приумножить значение материалистической традиции в развитии русской общественно-политической мысли.

Особый интерес буржуазных историков привлекает общественно-политическая платформа Чернышевского. Лидер российской революционной демократии 1860-х годов зачастую изображается основоположником течения, сторонники которого выступали прежде всего за решение социальных, а не политических задач. Чернышевский, подчеркивал Л. Шапиро, «верил, что социализм должен прийти прежде свободы, поскольку свобода бесполезна там, где отсутствуют экономические средства удовлетворения человеческих потребностей»¹⁶⁰. А.Х. Ситон-Уотсон заявлял, что Чернышевский считал себя демократом, но не либералом и поэтому отрицал необходимость самостоятельной борьбы за политические свободы¹⁶¹.

«Уклонение» русской революционной мысли в сторону решения социальных вопросов буржуазные российские оценивают как факт, имевший «печальные» последствия для развития России. Подобные суждения были свойственны и представителям русских буржуазных и мелкобуржуазных партий, потерпевших крушение в результате победы Великого Октября. В русской революционной традиции существенно то, отмечал Ф.Дан, что и А.И. Герцен, и Н.Г. Чернышевский выступали с обоснованием приоритета социализма перед политическими свободами. Эта идея, писал Ф. Дан, стала доминирующей в русском общественном движении¹⁶². О «ненормальном» превалировании социального момента в революционных программах писал и В.Я. Богучарский¹⁶³. Экскурсами в историю буржуазные идеологи стремились оправдать политическое банкротство русского либерализма.

Однако обвинения Чернышевского в пренебрежении к политическим свободам никак не согласуются с фактами. Об этом пишут и некоторые западные исследователи. Опираясь на разнообразные источники, У. Верлин пришел к справедливому выводу, что аполитизм никогда не был присущ вождю революционной демократии¹⁶⁴. Еще современников удивляла реалистичность политического мышления Чернышевского, его умение различать конечные и ближайшие задачи борьбы. Теоретические

мнения Николая Гавриловича, вспоминал С.Г. Стахевич, «были решительно в пользу политической свободы», хотя порою молодежь в своем увлечении планами социального переустройства недооценивала значения политических форм¹⁶⁵.

Большинство западных исследователей признает за Чернышевским роль одного из родоначальников народничества. Чернышевский, писал Дж. Кларксон, был «главным выразителем народничества» и «сторонником радикального решения крестьянского вопроса». Отвергая в целом философию Гегеля, он тем не менее применил его «закон триады» для обоснования неизбежности перехода к коммунистическому обществу¹⁶⁶.

На народнический в целом характер идей Н.Г. Чернышевского указывал и Ф. Рэнделл. Убеждения русского демократа, писал он, сложились под влиянием А.И. Герцена, а также Фурье, Сен-Симона и Оуэна¹⁶⁷.

Рэнделл с полным основанием указал на крестьянский демократизм идей Чернышевского, на последовательный и решительный характер его выступлений в защиту жизненных интересов трудящихся масс. Однако и этот россиец не хотел признать буржуазно-демократической определенности позиции русского революционера. Методология Рэнделла была весьма близкой взглядам М.М. Карповича. Бывший русский кадет отмечал социалистическую направленность программы Чернышевского и указывал на твердую уверенность руководителя демократов в неспособности царского правительства разрешить социальные проблемы в интересах народных масс. Карпович при этом с сожалением писал о глубоком антилиберализме платформы Чернышевского, об «узбести» и «односторонности» его идей¹⁶⁸.

Среди буржуазных историков проявляются заметные расхождения в оценке политической позиции Чернышевского. Многие из них настойчиво стремятся представить его не демократом, а идеологом русской революционной элиты, проповедником политических амбиций радикальной интеллигенции. Одновременно подчеркивается мысль об определяющем влиянии Чернышевского на ход освободительной борьбы в России. В отличие от Маркса, уверял Дж. Мейнард, Чернышевский не верил в возможности народа и, «наряду с другими идеалистами, был убежден, что миром правят идеи и что узкому кругу «лучших людей» принадлежит право управлять массами»¹⁶⁹. Ту же мысль высказывал и Н. Переира. Чернышевский, по его мнению, не верил в народную революцию, так как был для этого слишком здравомыслящим человеком. Русский демократ настаивал на том, писал Переира, что инициатива всех прогрессивных изменений в общественном строе должна принадлежать «лучшим людям», т.е. интеллигенции¹⁷⁰. По этой причине буржуазный автор отрицал причастность Чернышевского к прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и известному «Письму из провинции», опубликованному в «Колоколе» 1 марта 1861 г.

Подобное убеждение, хотя и в несколько смягченном виде,

отстаивал и Г. Боуман. По мнению этого автора, разные оценки идей русского революционера объясняются тем, что исследователи не учитывают его «внутреннюю противоречивость». Взгляды Чернышевского, заявлял Боуман, не были последовательными, весь строй его мыслей можно понять, если оценить его вывод о роли «новых людей»: «...они представляют собой просвещенное меньшинство, которое осознает и направляет объективное движение «материальных» сил истории». «Новые люди» Чернышевского сами являются отражением материальной необходимости и не вольны по своему произволу творить будущее. Русский демократ, подчеркивал Боуман, определял задачу элиты не в навязывании народу идей, «а в определении и осуществлении того, что исходит от самих масс»¹⁷¹.

Критику в адрес консервативных трактовок можно было бы только приветствовать. Однако и сам Г. Боуман понимал Чернышевского прежде всего как теоретика интеллигентской революционности, не имеющей определенного классового содержания, хотя и ограниченной в выборе политического курса состоянием и потребностями народных масс.

Характеризуя Чернышевского идеологом «элиты», буржуазные авторы часто пишут о нем как о целеустремленном утилитаристе и прагматике, в радикализме которого просматриваются зародыши будущего «тоталитаризма»¹⁷². Такая характеристика порой дополняется рассуждениями о наивности воззрений русского демократа, лишенного якобы представления о реальных трудностях исторического развития. Его взгляд на природу человека был утопичен, считал Ф. Рэндслл¹⁷³.

Нетрудно убедиться, что реальный облик русского революционера совсем не совпадает с тем, что пишут о нем буржуазные историки. Н.Г. Чернышевский был великим мыслителем своего времени. Он высказал целый ряд поразительно смелых и глубоких суждений о сущности исторического процесса, о значении классовой борьбы, о путях построения социализма. Вопреки утверждениям буржуазных авторов он не был беспочвенным мечтателем и хорошо понимал трудности установления нового строя. Не надо ласкать себя обманчивой надеждой, писал Чернышевский, что переход в социалистическую «будущность из настоящего состояния возможен скоро, и возможен без переходного состояния... Я только к тому веду речь, что и принцип частного владения, хотя бы и вытеснялся постепенно общинным, будет еще долго и долго господствовать и как переходное состояние неизбежен»¹⁷⁴.

Н.Г. Чернышевский никогда не был поклонником «элитарных» концепций. Вопрос о движущих силах социального прогресса он всегда решал с последовательных революционно-демократических позиций. Трудящимся массам, убеждал Чернышевский, вообще не следует предаваться иллюзиям и ждать благодеяний от царского правительства. Когда, писал он, люди дойдут до мысли, что им не от кого ждать пользы для себя, «они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться

за ведение своих дел». Чернышевский был уверен в том, что «ничьи посторонние заботы не приносят людям такой пользы, как самостоятельные действия по своим делам»¹⁷⁵.

Практическая деятельность Н.Г. Чернышевского освещается английскими и американскими историками весьма схематично. В большинстве работ отмечается, что идейный руководитель «Современника» играл центральную роль в революционном движении на рубеже 50–60-х годов XIX в. Но эта роль зачастую ограничивается идеологическим и моральным влиянием Н.Г. Чернышевского на «радикальную» молодежь. Нравственные принципы русского демократа, писал И. Берлин, его утилитаризм, а также признание примата социальной революции над политическими реформами – все это как нельзя лучше соответствовало настроениям «сурогового поколения молодых разочарованных»¹⁷⁶. Однако в практических делах Чернышевский, по мнению Берлина, активного участия не принимал.

Аналогичной точки зрения придерживаются многие авторы. Так, Ф. Рэнделл утверждал, что к началу 1860-х годов обозначился психологический разрыв Чернышевского с революционной молодежью. Хотя, писал российский, Чернышевский и предпринимал кое-какие революционные шаги, но к 1861 г. он перешагнул порог тридцатилетия, а в таком возрасте революционность обычно спадает. «Он больше не чувствовал себя самой радикальной фигурой, – считал Рэнделл. – Он хотел революционных перемен с возможно меньшим насилием и на крестьянский топор указывал скорее как на угрозу, а не реальное орудие борьбы». Не случайно, подчеркивал Рэнделл, М.И. Покровский называл Чернышевского предшественником мещанства¹⁷⁷. Разрыву Чернышевского с революционной средой помешало, по мнению Рэнделла, только то, что он «вовремя» попал в тюрьму и стараниями царизма превратился в героя¹⁷⁸. Подобную оценку можно считать характерной для немарксистской историографии. Еще И.А. Бердяев заявил, что истязание Чернышевского было «одним из самых постыдных действий» царизма. «Русская историческая власть нравственно себя убивала, создавая мучеников», – писал бывший веховец¹⁷⁹.

Реакционные историки стремятся всячески принизить значимость деятельности Н.Г. Чернышевского. А. Улам, в частности сообщая о связях лидера «Современника» с революционным подпольем, о составлении им прокламации «Барским крестьянам...», тут же спешил указать на «демагогический» и «мистический» тон революционного памфлета Чернышевского¹⁸⁰. Улам хотел изобразить русских демократов политическими авантюристами, сорвавшими дело либерализации страны.

Иначе смотрел на практическую деятельность Н.Г. Чернышевского Е. Ламперт. Чернышевский, писал он, был талантливым просветителем, хорошо понимавшим характер русского общества и «умевшим соединить личный протест против несправедливости с уравновешенным взглядом на историю». Руководи-

тель демократов был, по мнению Лампerta, слишком трезвомыслящим человеком, чтобы принимать участие в каких-либо серьезных практических делах. Лампert возражал против «необоснованных преувеличений» советских историков (М.В. Нечкиной, В.Г. Баскакова, В.Н. Шульгина и др.), считая, что они недооценивают политической мудрости Чернышевского¹⁸¹.

Примерно такую же позицию отстаивал и У. Верлин. Истинное значение Чернышевского, подчеркивал он, определяется его ролью «русского энциклопедиста», а не кратковременной вовлеченностью в революционные заговоры. Некоторые наблюдения Верлина не лишены оснований. Он не отрицал того, что Чернышевский мог быть автором прокламации «Барским крестьянам...». Во всяком случае, признавал Верлин, дух этого документа вполне соответствовал идеям Чернышевского, публикация же в 1862 г. «Писем без адресса» свидетельствовала о том, что руководитель революционных демократов был свободен от политического догматизма «и автоматически не отрицал ценности временного сотрудничества с другими группами, добивавшимися прогрессивных преобразований»¹⁸². И все же Верлин полагал, что советские исследователи преувеличивают меру вовлеченности Чернышевского в революционные дела. «При нынешнем знании событий начала 1860-х годов, — писал он, — на вопрос о прямом участии Чернышевского в революционном движении не может быть дано достоверного ответа»¹⁸³.

В высказываниях Е. Лампerta и У. Верлина слышен отчетливый отзвук либеральных оценок деятелей 1860-х годов. Однако есть в них и очевидное рациональное зерно. Деятельность Н.Г. Чернышевского действительно не была столь прямолинейно революционной, как это порой утверждается в советской историографии.

Особо следует остановиться на оценках важного момента в общественной жизни России — встречи А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского в Лондоне летом 1859 г. В большинстве работ эта встреча расценивается как частный эпизод, последовавший за публикацией известной статьи Герцена «Very dangerous!!!». Итог встречи обычно расценивается как свидетельство растущих разногласий между Герценом и революционерами-разночинцами. Вообще-то, писал Р. Хейр, Чернышевский хотел привлечь Герцена на свою сторону, но их беседа «имела только один позитивный результат: два ведущих деятеля «прогрессивного» лагеря России решительно не согласились друг с другом». Герцен, подчеркивал Хейр, остро чувствовал «опасность от энергичных радикалов, которые принесли бы больше вреда, чем пользы, в своем стремлении сделать слишком много и слишком быстро»¹⁸⁴. Так же оценивал итоги встречи и Т. Масарик. Неудача переговоров была, по его мнению, предопределена несовместимостью позицийклонившегося к либерализму Герцена и решительно настроенных разночинцев. Столк-

новение Герцена и Чернышевского, по мнению Масарика, лишь усилило нараставшее отчуждение, резко проявившееся к середине 1860-х годов и запечатленное на страницах брошюры А.А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела»¹⁸⁵. О неизбежности расхождения «либерала» Герцена с революционером Чернышевским писал и Б. Пейрс. Встреча в Лондоне, подчеркивал он, «только убедила обоих ее участников, что разрыв между либералами и радикалами стал неизбежен»¹⁸⁶.

Социологическую основу под «конфронтацию» Герцена с Чернышевским подводила американская исследовательница Д. Харди. По ее мнению, встретившиеся в Лондоне лидеры русского общественного движения олицетворяли два разных поколения интеллигенции: «Сыновья, которых представлял Чернышевский, смотрели на людей 40-х годов как на безнадежно отсталых, нерешительных деятелей, способных только на мечты и разочарования». Новое же поколение стремилось к действиям, чего якобы Герцен ни понять, ни принять не мог¹⁸⁷. Подобное же суждение высказывал и Н. Перейра¹⁸⁸.

Многочисленные исследования советских историков (М.В. Нескиной, И.Н. Новиковой, Ю.Н. Короткова, И.В. Порохова), разрабатывающих вопрос и показывающих роль Герцена и Чернышевского в создании общероссийской организации «Земля и воля», современные буржуазные исследователи игнорируют. Обусловливается это не просто пренебрежением к приводимым советскими авторами аргументам и фактам. Суть дела заключается в том, что представления о глубокой основе русского революционно-демократического движения, его богатом опыте и традициях никак не вписываются в доминирующие на Западе концепции верхушечности революционного процесса в России, его экстремистских тенденциях.

Особой заостренностью отличаются буржуазные оценки исторического значения Н.Г. Чернышевского. Это, разумеется, не случайно. Идейно-политическое наследие великого демократа оказало мощное воздействие на развитие освободительного движения в России.

Многие буржуазные авторы утверждают, что деятельность Н.Г. Чернышевского сыграла отрицательную роль в политическом развитии России. Публицистика Чернышевского, писал М. Карпович, имела резкую антилиберальную направленность, что привело к росту среди молодежи враждебного отношения к умеренности, «к презрению к политическим формам вообще и к конституционализму в частности»¹⁸⁹. А. Улам также утверждал, что деятельность руководимого Чернышевским «Современника» изменила ход русской истории в направлении к экстремизму¹⁹⁰. А «жертва Чернышевского», считал Улам, лишь усилила кристаллизацию ненависти в среде русской общественности и способствовала вовлечению молодежи на путь конспираций. Все это якобы подготовило психологическую почву для катастрофы 1866 г. и последовавших террористических акций, заблокировавших путь к либеральной России¹⁹¹.

Конечно, буржуазные историки знают, что усилению влияния на массы идей Чернышевского способствовала защита им интересов крестьянства. Но, как правило, об этой стороне мировоззрения русского революционера сообщается скромно. Его социальные идеи характеризуются как совершенно безжизненные, лишенные всякого реального основания. Возможно, писал Р. Хейр, что только воспоминание о русской пословице «на безрыбье и рак раб» заставляет некоторых «снисходительных европейцев» признавать Чернышевского мыслителем применительно к России, «потому что там он был Гулливером среди интеллектуальных лилипутов»¹⁹².

Одним из «снисходительных европейцев» был и Ф. Рэнделл. По его мнению, негативное отношение западных исследователей к автору романа «Что делать?» обусловлено их неспособностью проникнуться духом времени, а также преобладанием в их среде антикоммунистических настроений. Сам Рэнделл считал, что если Чернышевского нельзя включить в первую дюжину русских писателей, то места во второй он во всяком случае заслуживает¹⁹³. Однако даже такая оценка многим буржуазным авторам кажется чересчур щедрой¹⁹⁴.

Англо-американские историки настойчиво выступают против марксистского понимания исторической роли Н.Г. Чернышевского. О «культе» революционного демократа в советской литературе писал, в частности, Р. Хейр, «Канонизация» Чернышевского произошла, по его мнению, потому, что советские идеологи ведут усиленный поиск собственных первооткрывателей во всех областях знания. Именно поэтому, заявил Хейр, учение Чернышевского объявлено вершиной домарковой общественно-политической мысли¹⁹⁵.

Марксистской науке Р. Хейр принципиально отказывал в способности дать объективную оценку Чернышевскому. Он даже встал на защиту русского демократа от «утилитарного» подхода советских исследователей. Конечно, писал он, определенные черты в мировоззрении Чернышевского очень импонируют советским авторам (например, вражда к либералам, признание социальной детерминированности литературы и искусства и т.д.), однако оно сложнее и многообразнее, чем его изображают советские исследователи¹⁹⁶.

Подоплека такого подхода очевидна. Буржуазный автор заинтересован в отрицании поступательного развития русской революционной мысли, с одной стороны, и в признании социальной равноценности разных социалистических доктрин — с другой. Когда Хейр заявляет, что Чернышевский «не хуже» Маркса, это значит, что, с его точки зрения, оба мыслителя одинаково несостоятельны.

С большой энергией повел «реабилитацию» Н.Г. Чернышевского американский историк Дж. Скэнлен. Марксистские авторы, по его мнению, искажают идеи русского мыслителя. Как уверял Скэнлен, советские исследователи руководствуются не поиском истины, а стремлением подчинить свои выводы априор-

ным постулатам или, по его выражению, «идолам». Таковых он находит три: «идол флага», или русского национализма, «идол Святого писания», т.е. произведений Маркса, Энгельса и Ленина, и, наконец, «идол статус-кво», или силы авторитета¹⁹⁷.

Советские исследователи, считал Скэнлен, обязаны доказывать, что идеи Чернышевского не являлись простым отражением идей западноевропейских мыслителей. Охарактеризовав выводы В.Г. Баскакова, И.Я. Шипанова, А.А. Азнаурова и других авторов как бездоказательные, Скэнлен заявил: «Без сомнения, никто бы больше самого Чернышевского не удивился, услышав, что его главными учителями были А. Герцен и В. Белинский»¹⁹⁸. Сам автор был уверен, что решающую роль в становлении идей русского демократа играли западные источники.

Само определение Чернышевского как революционного демократа Скэнлен объявил результатом попыток отвести ему подобающее место в генеалогии большевизма. Подлинный же Чернышевский, по оценке американского историка, был всего лишь последователем английских утилитаристов и не являлся сторонником классовой борьбы. Как и Хейр, Скэнлен выступал в роли «защитника» русского демократа от pragmatических оценок советской историографии¹⁹⁹.

Приписывать высокую оценку идей Н.Г. Чернышевского нелепому желанию видеть русский приоритет во всякой науке можно лишь при непонимании смысла революционно-демократической идеологии и фальсифицируя мотивы советских исследований. В советской литературе теории русских революционеров-демократов действительно оценены как вершина домарксистской материалистической мысли. Однако сделано это не из «патриотических» побуждений, а на основе объективного анализа достижений мыслителей, сумевших в силу целого ряда причин вплотную приблизиться к историческому материализму. Творческий подвиг революционных демократов советские историки никогда не объясняли какими-то особыми дарованиями русского ума. Этот подвиг был обусловлен и остротой социально-политической ситуации в России, и гуманистическими традициями передовой русской мысли, и интенсивным освоением прогрессивных учений европейских мыслителей. Не избранность нации, а глубина классовых противоречий и направленность умов передовой интеллигенции на решение острейших социально-экономических и политических проблем способствовали прогрессу демократической идеологии в России. К. Маркс и Ф. Энгельс многократно называли Н.Г. Чернышевского великим русским мыслителем, ученым, критиком. Труды вашего учителя Чернышевского, писал Маркс членам Русской секции I Интернационала, «делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века»²⁰⁰.

Нередки случаи, когда реакционные зарубежные авторы

откровенно пренебрегают фактами, утверждая, что Чернышевский не связывал своих теорий с классовой борьбой. Можно напомнить, что уже в юности Чернышевский писал: «Вот мой образ мысли о России: исодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличится угнетения и т.д. — что нужды?»²⁰¹ А когда раскрылся грабительский характер крестьянского освобождения, Н.Г. Чернышевский без колебаний встал на путь подготовки народной революции. «И он протестовал, — по словам В.И. Ленина, — проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который вывел бы Россию на дорогу открытой борьбы классов»²⁰².

Несостоятельность утверждений Скэнлена и его единомышленников очевидна. Даже Р. Хейр, историк, не питавший никаких симпатий к советской исторической науке, справедливо упоминал о тех доносах на Чернышевского, с которыми обращались русские помещики в министерство внутренних дел. «Они, — писал Хейр, — обвиняли его (и это обвинение было справедливым) в разжигании классовой ненависти в стране, во всевозможных усилиях по насаждению в крестьянской среде беспочвенной подозрительности и недоверия к намерениям правительственные органов». Можно спорить о том, писал или не писал Чернышевский прокламацию к крестьянам, заключал Хейр, но вся его деятельность вполне объясняет его арест: царское правительство хорошо разобралось в классовой направленности идей и поступков Чернышевского²⁰³.

Абсурдно и приписывание советским исследователям мифического «идола статус-кво». Занятая Скэнленом позиция, «защитника Чернышевского весьма шатка». Он был более всего озабочен тем, чтобы показать так называемую многогранность русского демократа, а проще говоря, оттенить и преувеличить идеалистические и позитивистские черты его мировоззрения.

Превратно оценивал состояние марксистской историографии проблемы и Н. Перейра. Над советскими историками, писал он, слишком довлеют ленинские дефиниции. Причем это относится как к «консерваторам» (в их число Перейра включил М.В. Нечкину, В.Г. Баскакова, А.А. Азнаурова и др.), так и к «либералам» (например, к Б.П. Козьмину или С.А. Рейсеру). Последние, по оценке Перейры, «пытались с большим риском для своей карьеры придать хотя бы видимость сбалансированности в оценках Чернышевского». «Ортодоксальным» же авторам, заявлял буржуазный историк, важно поставить Чернышевского на высокий пьедестал в ряду предшественников большевизма, поскольку из всех деятелей XIX в. он «идеологически и психологически» более всего соответствует советскому образу жизни²⁰⁴. На наш взгляд, Перейра стремился развенчать великого революционера, изобразить его заурядным подражателем западным утилитаристам, сумевшим оказать силь-

ное влияние на русскую молодежь лишь благодаря скучности духовной жизни России.

Откровенной пристрастностью отличаются и многочисленные аналогии, которые проводят буржуазные западные авторы, сравнивая Чернышевского с В.И. Лениным, с большевиками. Среди таких историков весьма распространен, например, тезис о том, что именно от Чернышевского В.И. Ленин унаследовал мысль о возможности совершения социалистической революции в «отсталой», «небуржуазной» стране. Так, Ф. Рэнделл, указав на «чисто моральную» критику Чернышевским капиталистического строя, заявил, что взгляды русского демократа очень заинтересовали стареющего Маркса «и овладели умом молодого Ленина. Вариация этих идей стала основополагающей частью идеологии большевиков»²⁰⁵.

Мысль о принципиальной близости антикапитализма Чернышевского и русских марксистов развивают многие авторы. М. Рэн, в частности, утверждал, что В.И. Ленин и его сторонники полностью разделяли уверенность Чернышевского в возможности перехода России к социализму путем обобществления сельского хозяйства²⁰⁶. Считая, что русская общественная мысль извечно делилась на «рационализм» и «национализм», Л. Шапиро утверждал, будто Чернышевский занимал связующее место между П.И. Пестелем и В.И. Лениным. Сторонники этой линии, писал Шапиро, стремились привести в жизнь «рационально разработанную утопию», привлекая одновременно традиционные национальные элементы «для более успешного воплощения теорий в практику»²⁰⁷. Все эти утверждения легко вписываются в обычные представления буржуазных историков об исключительной самобытности русской революции, о ее чисто национальных корнях.

В работах Д. Мирского, Г. Струве и других исследователей Чернышевский рисовался исключительно в негативных тонах. Читателю внушалось представление о нем как о сухом и нудном доктринере, плохом романисте, вульгарном утилитаристе, проповеднике грубого подчинения морали, эстетики и культуры задачам революционного переустройства мира. Буржуазных авторов в этом случае более всего беспокоила проблема поиска корней «большевистского тоталитаризма», а не решение научных задач. Позднее в англо-американской литературе появилось стремление освободить Чернышевского от ответственности за советский строй. Таким стремлением отмечены работы У. Верлина, Ф. Рэнделла, Н. Перейры. Возражая против откровенно примитивных оценок Чернышевского, Ф. Рэнделл, в частности, заявил об отсутствии оснований возлагать на него вину за «жесткую доктрину социалистического реализма». Чернышевский, по мнению Рэнделла, не хотел ущемления индивидуальности и был противником централизованной государственной системы. Западных интерпретаторов, считал Рэнделл, ввел в заблуждение то, что Чернышевского очень любил Ленин, а также то, что его роман превратился в обязательную

книгу для советской молодежи²⁰⁸. Близкис выводам Рэнделла суждения высказывал и Н. Перейра. Однако их не следует преоценивать. Взгляды Ф. Рэнделла и Н. Перейры вполне соответствуют обычным для буржуазной историографии стремлениям противопоставить результаты революционного движения идеалам его носителей. Н.Г. Чернышевский характеризуется ими как убежденный гуманист и борец за права человека.

Обращает на себя внимание тот факт, что интерес к Чернышевскому со стороны буржуазных историков оживился в годы, когда на Западе прошли бурные выступления студенческой молодежи, бросившей вызов капиталистическому истеблишменту. В некоторых работах (например, У. Верлина, А. Глисона) прозвучала определенная «американизация» русской революционной демократии вообще и облика Н.Г. Чернышевского в частности. При описании русских революционеров появилась соответствующая терминология: «движение протеста», «бунт молодежи», «представители интеллектуальной элиты» и т.п. Однако научного смысла такие аналогии не несут. Русские революционеры, во главе которых стоял Н.Г. Чернышевский, были прежде всего идеологами крестьянской демократии, а не просто носителями студенческого радикализма. Совпадение некоторых психологических характеристик революционной (или «бунтующей») молодежи еще не дает оснований для отождествления разнородных в классовом отношении политических явлений.

В буржуазной историографии, таким образом, выдвигаются разнообразные суждения о мировоззрении и практической деятельности русских революционеров-демократов. Но только в трудах авторов либерально-объективистского направления (Ф. Вентури, У. Верлина, С. Шварца, М. Патридж²⁰⁹) содержатся более или менее объективные оценки родоначальников народнического социализма. В большинстве же работ преобладают негативные или откровенно тенденциозные характеристики.

Глава 4

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО 1870-х – НАЧАЛА 1880-х ГОДОВ В ОСВЕЩЕНИИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

История революционно-народнического движения 1870-х – начала 1880-х годов давно стала одной из центральных тем в англо-американском буржуазном россиведении¹. Неослабевающий интерес зарубежных исследователей к идеологии и практической деятельности «семидесятников» объясняется рядом причин, и прежде всего, конечно, тем, что народничество действительно было явлением крупного исторического масштаба. В.И. Ленин определял его как целое миросозерцание, как громадную полосу общественной мысли, начиная от Герцена и кончая либеральным народничеством конца XIX в.² Уже со временем формирования народничества для него было характерно сочетание демократической и либеральной тенденций: в 60–70-х годах определяющей в его развитии была первая, а с середины 80-х годов все более преобладала вторая. Революционное народничество – это идеология боевых демократов, решительно боровшихся за свержение самодержавия, за максимальное удовлетворение интересов крестьянской массы. При этом радикальные демократические требования облекались ими тогда в форму крестьянского общинного социализма. Силы демократии и социализма, писал В.И. Ленин, сначала смешивались воедино «в утопической идеологии и в интеллигентской борьбе народовольцев и революционных народников», а с 90-х годов прошлого века они начали расходиться «по мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек-пропагандистов к борьбе самих революционных классов»³.

В 70-е – начале 80-х годов XIX в. русскими демократическими деятелями был внесен крупный вклад в напряженные поиски правильного революционного учения. В эти годы освободительная борьба отличалась высоким гражданским мужеством, героизмом и самоотверженностью, упорным стремлением проложить путь к своему народу и уничтожить ненавистный самодержавный строй.

Внимание буржуазных исследователей привлекает размах революционной борьбы 1870-х – начала 1880-х годов. Но экскурсы в историю народничества активно используются и для поиска специфических корней большевизма. Р. Пайпс, например, называет народничество идеологической основой появления русского марксизма. Народнические теории и практика, утверждал он, «представляют собой такое историко-культурное

явление, которое имеет огромное значение не только для России, но и для всего современного мира»⁴.

В последние десятилетия чрезвычайно активизировались попытки буржуазных идеологов и публицистов изобразить русское революционное народничество в качестве предтечи современных экстремистских и даже террористических выступлений. Народническая проблематика остается предметом остройшей идеологической борьбы.

1. Идеология революционного народничества в англо-американской историографии

Большие усилия английских и американских историков направлены на то, чтобы выявить своеобразие народнической идеологии. Отвергая классовый подход в исследовании социальных процессов, буржуазные авторы пытаются охарактеризовать народничество, исходя прежде всего из оценки положения интеллигенции, ее мировоззрения и настроений. Русское народничество, писал И. Берлин, не отличалось четкой политической определенностью: это было широкое движение радикальной интеллигенции, морально и политически осуждавшей правительство и социальную систему своей страны и посвятившей себя ее полному разрушению⁵. Столь расплывчатое определение логически вполне соответствует общей для буржуазной историографии концепции русской интеллигенции как инородного тела в общественном организме России.

Вообще при анализе народнической идеологии английские и американские историки испытывают немалые трудности. Опираясь на русских теоретиков, которые утверждали, что народничество — это порождение сознания интеллигенции, стремившейся найти для себя прочную опору, многие буржуазные исследователи приходят к выводу о принципиальной невозможности рассматривать народничество как связную систему взглядов. Народничество, отмечала Д. Харди, не могли ясно определить ни те люди, которые боролись за осуществление его целей, ни историки, изучавшие его⁶. А.Г. Роджер подчеркивал, что с момента своего возникновения народничество представляло собой скорее «амальгаму эмоций» в сочетании с самыми противоречивыми идеями, чем определенную социально-политическую теорию⁷.

Весьма распространены в буржуазной историографии попытки дать своего рода «терминологическое» обоснование народничества, т.е. объяснить его сущность, исходя из анализа самого понятия «народничество»*. Если, рассуждают некоторые

*Слово «народничество» обычно переводится на английский язык как «populism» (популизм). Такой перевод представляется источным, тем более что понятие «популизм» широко

зарубежные авторы, русская интеллигенция охотно вставала под знамена народничества, значит, она ощущала собственную удаленность от народа и стремилась эту удаленность преодолеть. Лишенные почвы русские интеллигенты, подчеркивал Г. Фишман, искали «воображаемую стабильность в крестьянских массах, которые они наделяли золотыми добродетелями и от которых получали мистическую поддержку»⁸. Примерно так же определял суть народнического движения и Дж. Биллингтон. Русская интеллигенция, утверждал он, остро ощущала отрыв от своего «взбаламученного народа». Именно поэтому для нее был столь характерен отказ от «божественного Рафаэля» и одновременно стремление окунуться в океан реальной жизни серых и грубых масс народа. Поскольку положение русского народа было, мягко говоря, незавидным, постольку тяга интеллигенции к народу сочеталась с ее субъективными устремлениями к решительному улучшению условий экономической и политической жизни трудящихся масс. Вот почему народничество, подчеркивал Биллингтон, можно квалифицировать как «антиавторитарное движение, направленное на радикальную трансформацию русского общества»⁹. Самое же существенное в нем, с точки зрения буржуазного историка, заключалось в интеллигентском стремлении навести мосты между собой и бескрайним миром «примитивной крестьянской империи»¹⁰.

Характеризуя народническую идеологию, западные историки обычно отмечают ее социалистическую направленность. «Народническое движение, — писал Ф. Гросс, — было аграрно-социалистическим движением студентов и молодых интеллектуалов с сильным влиянием раннего русского анархизма»¹¹. Лейтмотивом народничества называл самобытный аграрный социализм А. Ярмолинский¹². Как форму аграрного социализма, основанного на идеализации русского крестьянства, трактовали народничество авторы «Русской философии»¹³.

Среди современных английских и американских историков немало последователей исторической концепции Ф. Вентури, который рассматривал народничество как доктрину русского крестьянского социализма и одновременно как страницу в истории мирового социалистического движения. Фундаментальные основы русского народничества, подчеркивал он, были заложены А.И. Герценом. Развитие социалистических идей в Европе, а также опыт революций 1848–1849 гг., писал Вентури, обусловили герценовское недоверие к буржуазной демо-

применяется для характеристики мелкобуржуазного антимонополистического движения американских фермеров конца XIX в. Популизм и народничество действовали в резко различных социальных средах и имели разное классовое содержание (см.: Супоницкая И.М. Современная американская историография популизма// Вопросы истории. 1986. № 6. С. 155–162).

кратии, а также его веру в возможность самостоятельного развития социализма в России на основе сельской общины и убежденность в необходимости создания революционных сил, готовых посвятить себя народу¹⁴. Эту точку зрения на революционное народничество, как на единый по своим основным идеологическим характеристикам этап, начавшийся с эпохи отмены крепостного права и завершившийся разгромом «Народной воли», разделяют многие западные исследователи. Со временем герценовского призыва к «изгнанникам науки» идти в народ, заявил М. Рэн, и началось народническое движение русской интеллигенции¹⁵. Примерно так же рассматривал революционное народничество и М. Карпович. Народников он называл «ранними русскими социалистами», вооруженными идеями Герцена и Чернышевского и искавшими путь к светлому будущему не в парламентской демократии, а в крестьянской общине, которые «добивались более или менее немедленной социалистической революции, а не постепенного продвижения к социализму путем длительной эволюции»¹⁶.

Мысль Вентури о равнозначности понятий «народничество» и «русский крестьянский социализм» в буржуазной историографии практически не оспаривается. Однако далеко не все авторы разделяют мнение о том, что народничество – это составная часть мирового социалистического движения. Ряд исследователей считает, что Вентури недооценивал российскую специфику в определении народничества, самобытность и даже исключительность последнего. А. Гершенкрон, в частности, считал, что народничество принципиально отличалось от западноевропейского социализма, что оно являлось в первую очередь порождением реакции русской интеллигенции на экономическую и политическую отсталость страны. Радикализм же народников 60–70-х годов был «естественным ответом интеллигенции, отрезанной абсолютом от нормальных профессиональных занятий и ограниченной областью чистой мысли, в пределах которой, несмотря на строгости цензуры, она могла действовать с такой степенью свободы, которая кажется совершенно невероятной по меркам современной тоталитарной диктатуры». Именно такая вынужденная отвлеченность народнической мысли, утверждал Гершенкрон, порождала столь характерные для русской интеллигенции колебания от радикального анархизма до не менее радикальной апологии «всемогущего якобинского государства»¹⁷.

Весьма близок к А. Гершенкрону и М. Малиа. Ни экономические условия, ни политический строй, ни культурный уровень народа, заявлял он, не дают оснований для утверждений об однозначности европейских социалистических теорий и русского народничества. Реальной проблемой в России, писал Малиа, была борьба за ликвидацию старого строя в его самом простом и грубом выражении: политического самодержавия и узаконенного крепостничества. И эту борьбу повела исключительно кучка интеллектуалов, объявивших себя защитниками

интересов крестьянства¹⁸. Малиа, правда, замечал, что найти общее между народничеством и западными социалистическими теориями можно, но для этого нужно отказаться от понимания социализма как порождения противоречий капиталистического развития. В конце концов он пришел к выводу, что любой социализм — это не что иное, как проявление наиболее решительного отрицания «старого режима», а питательной почвой для него является беспокойная обстановка ранних этапов индустриализации. По мере утверждения капитализма, считал Малиа, социализм все более теряет свой воинствующий характер, уступая место «разумному» либерализму¹⁹. В своем исследовании о «русском социализме» он по существу снисходительно отводит социализму роль своего рода болезни роста «индустриального» общества.

Спор А. Гершенкrona и М. Малиа с концепцией Ф. Вентури в большей мере представляется сколастикой. Неправомерно само противопоставление народничества «западному социализму». Последний никогда не существовал как единое целое, и опирание таким понятием возможно лишь при условии игнорирования классового содержания общественно-политических учений. Впрочем, любой социализм (в том числе и народнический) всегда толковался буржуазными идеологами как социальная утопия, ис имевшая реального политического содержания.

Нельзя, конечно, сказать, что в англо-американской историографии нет работ, содержащих более или менее обстоятельный анализ революционно-народнической идеологии, ее логической структуры и основных компонентов. В работах историков либерально-объективистского направления (например, в трудах Е. Лампера, Дж. Майера, Т. Андерсона, Ф. Вентури) содержатся порой интересные и продуктивные оценки идеологии народничества. Так, Е. Ламперт, выясняя особенности народнического мировоззрения, обратился к анализу социально-экономического положения пореформенной деревни. Вера народников в возможность некапиталистического развития России, отмечал автор, основывалась на сохранении общины с периодическими переделами земли. Рост опасений за судьбу этого института в условиях наступления капитализма вызвал усиление революционной активности народников в 70-х годах. Программы революционных народников, подчеркивал Ламперт, вполне соответствовали экономическим и политическим интересам крестьянских масс. Автор, таким образом, признавал, что мировоззрение революционно-демократической интеллигенции в конечном счете отражало классовые интересы крестьянства²⁰.

В исследовании Ф. Вентури содержатся целые главы, посвященные крестьянскому и рабочему движению, положению студенчества и другим факторам становления революционно-народнического мировоззрения. Серьезный подход к данной проблеме отличает и работу Дж. Майера о революционно-народнической эмиграции в Цюрихе. Под термином «народничество», писал автор, мы понимаем такое общественное течение русской ин-

ттэллигсции, последователи которого рассматривали народ как реальную политическую силу и своей задачей считали «сделать эту силу сознательной и привести ее в движение по направлению к социальной революции», которая дала бы возможность России миновать стадию капитализма и установить новую социальную организацию, основанную на федерации общин²¹.

Как связную и до известной степени последовательную доктрину оценивал революционное народничество и американский исследователь Т. Андерсон. К основным и, по его мнению, необходимым элементам народнической идеологии он относил отрицание детерминированности исторического процесса и признание народниками возможности «свободы выбора» развития страны, их непримиримую вражду к самодержавию, ко всякой центральной власти, веру в социалистическую природу крестьянской общины, подчинение политических задач экономическим, признание «примата справедливости над свободой», лозунг социализма как формы общественного устройства, наиболее соответствовавшей потребностям нации и народным желаниям²².

Весьма близок Т. Андерсону Д. Оффорд. В своем недавнем исследовании он употребил термин «народничество» в двух смыслах. Народниками в узком смысле он назвал деятелей демократического движения 1870-х годов, отрицательно относившихся к политической борьбе. Народничество же в широком смысле объединяло, по его мнению, последователей учения, сторонники которого считали общину уравнительно-демократическим институтом и основой будущего русского социализма. Важнейшим компонентом народничества Д. Оффорд признал идеализацию роли интеллигенции в общественной жизни²³.

Нужно отметить, что в англо-американской историографии обстоятельно разрабатывается вопрос о такой существенной стороне народнической идеологии, как идеализация роли проповедиенного меньшинства в развитии общества. А. Вусинич, в частности, подчеркивал, что характерной чертой мировоззрения народников было представление об авангардной роли интеллигенции в создании нового общества, «свободного от классового антагонизма». Как правило, в представлении народников, по мнению этого автора, «критически мыслящие личности являлись подлинными творцами социального прогресса»²⁴. О том же писали Дж. Биллингтон, И. Берлин, Н. Рязановский и многие другие. Буржуазные историки весьма часто противопоставляют «творческую» сторону народнического мировоззрения марксизму, которому приписывают веру в слепое действие безликих социально-экономических законов²⁵. Кроме того, западные авторы нередко подчеркивают защиту народниками прав личности в будущем обществе. Вера в индивидуальную свободу, отмечал И. Берлин, была «красногольным камнем народнического гуманизма»²⁶. Марксизм же, по оценке буржуазных идеологов, направлены на поглощение личности коллективом и потому якобы «менее гуманен», чем народничество.

Буржуазные исследователи правильно подмечают некоторые реально существовавшие стороны народнического мировоззрения. Революционных народников действительно отличали субъективная социология, непримиримость к самодержавию, идеализация общины и лозунги социализма. Однако, оставаясь на позициях буржуазного объективизма, западные историки уходят от определения классового содержания народничества. Они практически не стремятся понять, что скрывалось за оболочкой народнических доктрин, в чем заключалась их внутренний смысл, их сущность. При анализе элементов народнической идеологии они не пытаются подняться до научного понимания народничества в его широком историческом смысле.

Испытывая большие трудности в обосновании идеологической определенности революционного народничества, многие буржуазные исследователи предпринимают попытки определить его сущность с помощью психологического анализа, основу для которого, по их мнению, следует искать в сфере психологических характеристик русской интеллигенции. Английский историк Р. Уортман, в частности, заявил о своем несогласии с выводом Р. Пайпса о невозможности дать широкое историческое определение народничества. По убеждению Р. Уортмана, Пайпс игнорировал связь между народничеством и крестьянством. Народническое мировоззрение, полагал Уортман, обладало достаточной определенностью, вытекавшей из отношений демократической интеллигенции к крестьянству, марксисты «не занимались изобретением термина для обозначения враждебной себе фракции, но противостояли вполне реальному явлению»²⁷. Целостность народнического движения, по оценке Уортмана, определялась «общим настроением и переживаниями» интеллигенции, «общей эмоциональной связью с крестьянством, достигавшей порой степени идеализации». Страхи, надежды, ожидания и другие чувства интеллигенции, подчеркивал этот автор, проявлялись в той или иной «идеологической формулировке», поэтому «единство этих (т.е. пореформенных. — М.К.) десятилетий было не столько идеологическим, сколько психологическим...»²⁸.

В основу народничества Уортман, таким образом, клал особый психологический тон, своеобразный комплекс ощущений русского интеллигента. Этот взгляд разделяют многие историки в Великобритании и США. Так, О. Рэдки заявлял, что народничество было прежде всего определенным умонастроением, «которое сплачивало людей, несмотря на расхождения по программным и тактическим вопросам»²⁹. Очередной вслед за нигилизмом ступенью психологической эволюции русской интеллигенции называл народничество Ф. Помпер. На стадии нигилизма, писал он, интеллигенция стремилась преобразовать жизнь масс, в эпоху же народничества ее охватило стремление «раствориться в массах»³⁰.

Очень часто социальные утопии народников объясняются изолированностью интеллигенции от народа, ее тягой к «круж-

ковщине» и непрактичностью. В кружках с их бесконечными дискуссиями и чаепитиями мысль народников, считают некоторые буржуазные авторы, погружалась в пучину безбрежных утопий³¹. Находившаяся во враждебном окружении русская интеллигенция, по их оценке, должна была чувствовать непреодолимую тягу к массам угнетенного крестьянства. Вот, почему Т. Лауз, например, решающим в народничестве считал «чувство солидарности». Страдая сама, писал он, интеллигенция «ощущала близость к другим угнетенным: крестьянам, рабочим, ко всей страдающей и отверженной части человечества»³². По мнению Дж. Биллингтона, такое тяготение к народу усиливалось еще и потому, что русская интеллигенция была лишена возможности прибегать к широкомасштабной эмиграции в Америку, как это практиковали революционные интеллектуалы Центральной Европы. По этой причине притягательная сила общинного крестьянства и была в России столь высокой³³. Сходные суждения можно встретить и в биографических очерках, посвященных русским революционерам.

Весьма популярной в западной литературе стала характеристика русских революционеров как донкихотов XIX в., ринувшихся защищать ничего не подозревавшее крестьянство. Дж. Бергман, например, создал образ В.И. Засулич как однокой натуры, легко впадавшей в депрессию или испытывавшей волнения. Вследствие этого, писал он, она избирала «подходящие идеологии» (народничество, а затем марксизм), которые выражали стремления улучшить положение тех классов, которые, по ее мнению, были еще менее счастливы, чем она сама, «помочь другим, короче говоря, становилась средством оказания помощи самой себе»³⁴.

В поисках психологических корней народничества западные авторы подчас ссылаются даже на некую предрасположенность русского характера к излишнему морализированию, к духовному самоанализу и отвлеченному философствованию. Как отмечал Е. Роув, образ Гамлета не случайно вызывал большие симпатии русской интеллигенции, постоянно искавшей ответы на «проклятые вопросы» бытия³⁵. О таких «недостатках» русской мысли, как склонность к догматизму и мифотворчеству, писали Т. Масарик, Г. Кон и другие россиееведы.

Большой популярностью среди западных авторов пользуется и тенденция объяснить народничество как проявление «покаяния», охватившего часть просвещенного русского дворянства к середине XIX в. Размышляя над положением зависимого крестьянства, замечал М. Раев, русские интеллигенты «испытывали муки унижения человеческого достоинства, и их чувство стыда стало той эмоциональной силой, которая вызвала появление «народничества» среди русской элиты»³⁶. Несколько более сложную картину нарисовал Р. Киндерсли, считавший, что в народничестве слились разные чувства, свойственные и дворянской, и разночинной интеллигенции. Если среди просвещенного дворянства преобладали чувства вины и долга перед

народом, то разночинцев отличало стремление к самоутверждению, вытекавшее из их представлений об общности их судьбы с судьбами народных масс. Но как бы то ни было, психологическую основу народничества составляли «простые и сильные чувства по отношению к народу»³⁷.

Метод психоанализа ведет буржуазных историков к откровенному субъективизму. Беря его на вооружение, М. Малиа, например, выражал несогласие с подходом Ф. Вентури, «представляющего всю народническую мысль, включая и учение Герцена, как результат разумного отражения объективных социальных и политических условий как в Европе, так и в России, и особенно положения русских крестьян». Сам Малиа считал, что демократический идеал народничества вырос в России не как следствие прямого отражения положения масс, а в результате настроений «относительно привилегированных личностей», которые в силу собственной духовной эволюции развили «чувство собственного достоинства в идеал достоинства всех людей»³⁸.

Трактовки, каким следовали Р. Уортман, Р. Киндерсли или М. Малиа, возникли уже много лет назад. «Психологической загадкой» называл свою народникам идеализацию крестьян А. Тун, один из первых буржуазных историков народничества. Психологическим состоянием русской интеллигенции объяснял особенности революционного народничества Д.Н. Овсяннико-Куликовский³⁹. Преувеличивали значение дворянского «покаяния» в возникновении народничества и другие либеральные исследователи, например Р.В. Иванов-Разумник и Е.А. Соловьев (Андреевич). Такие же мотивы были свойственны и самим теоретикам народничества, прежде всего П.Л. Лаврову и Н.К. Михайловскому. Первый, как известно, утверждал, что в основе перехода личности к революционной деятельности лежат нравственные и психологические мотивы. Второй преувеличивал в этом отношении роль «непреодолимой потребности самообургания, самонаказания, покаяния», свойственной русской интеллигенции⁴⁰.

К интеллигентской психологии при объяснении происхождения народничества обращались и сторонники консервативных взглядов, например веховец С. Франк и Д. Мережковский. Н. Бердяев также уверял, что в основе народничества лежало чувство оторванности интеллигенции от народа. «Чувство вины перед народом, — писал он, — играло огромную роль в психологии народничества»⁴¹.

Конечно, историк должен учитывать психологический фактор при анализе причин возникновения того или иного движения. В разрыве передовых интеллигентов с традициями своих классов, в переходе на чреватый тяжкими лишениями революционный путь нравственный и психологический моменты не могли не играть значительную роль. Известное значение имело и пробудившееся у некоторых прогрессивных представителей дворянства чувство «покаяния», в котором отразился протест

против варварского угнетения трудящихся масс России. Прав был Б.П. Козьмин, отметивший, что наименование «кающиеся дворяне» в свое время привилось «потому, что оно очень удачно формулировало психологические особенности интеллигентов такого типа»⁴². Однако при всей важности социально-психологических факторов их значение нельзя преувеличивать. Ис психология личностей или даже целых социальных слоев, а порождающие ее объективные (в первую очередь экономические) условия играют решающую роль в общественно-политических движениях⁴³. Психологизм буржуазной историографии органически вырастает из игнорирования социально-экономической обусловленности революционно-народнической идеологии, из оценки интеллигенции как надклассовой силы, из стремления доказать незакономерность революционного движения.

Надо заметить, что современные западные исследователи настаивают на развитии психологических интерпретаций истории революционного народничества. Американский историк А. Поллард в рецензии на монографии Б.С. Итенберга «Движение революционного народничества» (М., 1965) и «Народная воля» (М.; Л., 1966) С.С. Волка отмечал основной недостаток этих работ: советские авторы «увлеклись» анализом состояния пореформенного крестьянства и иных социально-экономических предпосылок, но якобы не учли главного – влияния происходивших в России перемен на «психологию различных групп самой интеллигенции»⁴⁴. И. Рязановский, также подчеркивавший первоочередное значение нравственных импульсов интеллигенции, заявил: «...Вентури, Итенберг и другие историки при всей своей иссоминской эрудиции не могут убедить читателя, что в основе народнического движения лежали какие-либо рациональные начала»⁴⁵.

Отказ сторонников «психологической» интерпретации от выявления «рациональных начал» народничества в сущности мало чем отличается от прямых утверждений о несостоительности понятия «народничество» в широком историческом смысле. Поэтому расхождения между Р. Уортманом и Р. Пайпсом в определении идеологических основ народничества не носят принципиального характера. Эти историки сходятся в основном – в отрицании объективной сущности народничества, в стремлении опровергнуть его ленинскую концепцию. Вместе с тем приходится признать, что изучение социально-психологической стороны революционно-народнического движения остается очевидным пробелом в советской историографии. Жесткий упор на социально-экономическую детерминированность исторического процесса обусловил чрезмерный консерватизм советской историографии по отношению к психологическим аспектам научного исследования.

При всем различии современных буржуазных интерпретаций революционно-народнической идеологии можно выделить некоторые наиболее характерные пути решения данной проблемы в

англо-американской лигратуре. Во-первых, особенности революционно-демократической идеологии объясняются на основе признания ее одним из проявлений чисто интеллигентской активности и обусловливаются либо духовными качествами русской интеллигенции, либо ее специфическим положением в общественном организме царской России. Во-вторых, в буржуазной историографии преобладает тенденция «деидеологизации» народничества, направленная на борьбу против его марксистско-ленинской концепции. В-третьих, анализ народнических взглядов носит ограниченный, формальный характер. Буржуазные историки подчас весьма подробно перечисляют компоненты, составляющие систему народнических воззрений, но не всегда выявляют объективный исторический смысл этих идей.

Указанные принципы вполне соответствуют субъективно-идеалистической методологии буржуазной науки. Отрицание принципа историзма, игнорирование классовых, материалистических критериев приводят на практике к тому, что буржуазные авторы пытаются лишить революционно-демократическую идеологию качественной определенности, изобразив ее как крайне аморфную сумму идей и взглядов, своеобразную «материнскую среду», из которой черпали идеи революционеры последующих поколений. Большинство англо-американских историков оценивает крестьянский общинный социализм только как разновидность бессодержательной социальной утопии, к которой причисляется и марксизм. Так, И. Берлин утверждал, что народничество и марксизм в равной мере представляют несбыточную мечту человечества о «золотом веке», а Ф. Бархурн все различие между ними видел только в том, что народничество исходило из стремления предотвратить развитие капитализма, а марксизм — из стремления его разрушить⁴⁶.

В буржуазной историографии встречаются работы, в которых подчеркивается принципиальное различие между народничеством и марксизмом. В весьма интересной статье С. Шварца, например, правильно отмечается иллюзорность надежд народников на спасение России от капитализма. «Русский марксизм, — писал он, — развился и вырос в борьбе против этого экономического романтизма»⁴⁷. Но при этом автор не дал оценку действенной стороны народнического «экономического романтизма», его демократической сущности.

Но, даже отмечая различия (или своего рода соперничество) между народничеством и марксизмом, буржуазные авторы непременно расценивают их как явления одного ряда, как социалистические доктрины в духовном арсенале русской интеллигенции; буржуазно-демократическое содержание народнических идей единодушно отрицается. Уместно вспомнить, что еще в 1911 г. В.И. Ленин вскрывал подлинный смысл подобных высказываний. «У нас, — отмечал он, — между прочим будь сказано, даже и по сю пору самые «левые» социал-народники понимают нередко слово «буржуазный»... как нечто вро-

дс... «политики», тогда как на самом деле термин буржуазная демократия есть единственно точная, с точки зрения марксизма, научная характеристика»⁴⁸. Именно неспособность отдельить реальное содержание народнических утопий от их теоретических оболочек ведет буржуазных историков к замалчиванию того факта, что революционное народничество отнюдь не исчерпывалось «аграрным» (т.е. крестьянским) социализмом.

Народничество действительно «представляет особую разновидность утопического социализма, свойственную странам с преобладанием сельскохозяйственного производства и крестьянского населения, со слабым развитием промышленности»⁴⁹. Но народники 70-х годов XIX в. были не просто социалистами-утопистами, а прежде всего революционными деятелями, ставившими насущные задачи решительного демократического преобразования страны, вполне отвечавшего реальным потребностям и нуждам трудящихся масс. В.И. Ленин выделял следующие основные компоненты народнического учения: «Элем[енты] демокр[атии] + утоп[ический] с[оциализ]м + + м[елко] б[уржуа]з[ные] реф[ормы] + реакц[ион-ность] м[елкого] б[уржуа]»⁵⁰. На разных этапах истории народничества удельный вес этих элементов был различным. В идентологии действенного народничества 70-х годов XIX в. утопический социализм был неразрывно связан с боевым революционным демократизмом. «Критикуют и справедливо критикуют «трудовое начало» и «уравнительность», как отсталый, реакционный, мелкобуржуазный социализм, и забывают, что эти теории выражают передовой, революционный мелкобуржуазный демократизм, что эти теории служат знаменем самой решительной борьбы против старой, крепостнической России», — писал В.И. Ленин⁵¹.

Нравственно-психологическое, а иногда и «религиозное» состояние русской демократической интеллигенции определяется в англо-американской историографии как основа мировоззрения революционных народников. Теоретическая же деятельность русских революционеров в большинстве работ либо замалчивается, либо получает негативную оценку. «Как интеллигентская, социальная, художественная, литературная или научная сила, — писал Т. Самуэли, — русская интеллигенция оказалась исключительно истворческой. Она сумела создать только одно: русское революционное движение. Но этого хватило, чтобы изменить ход мировой истории»⁵².

Широкой популярностью в буржуазной историографии продолжает пользоваться тезис о полной зависимости русской революционно-демократической мысли от общественно-политических учений Запада. По словам И. Берлина, опыт многолетних исследований убедил его в том, что по крайней мере на протяжении двух последних столетий в России не было ни одной социальной или политической доктрины, которая не пришла бы с Запада⁵³. Такая оценка русской политической мысли имеет очень давнюю, можно сказать вековую историю. О сугубо под-

ражательном характере социальных идей русских революционеров еще в начале века писали Е. Радлов, Т. Масарик и другие буржуазные авторы. Это положение охотно поддерживали и русские реакционеры, с особым негодованием писавшие о «заземленности» передовой общественной мысли России, о «неприятной» готовности демократических идеологов не отдавать слова от дела и бороться за практическое осуществление передовых теорий. Б. Яковенко, например, категорически утверждал, что все философское в России «родилось либо из прямого подражания, либо из бессознательного подчинения себя чужим влияниям, либо из электического стремления слепить воедино несколько господствующих чужих течений»⁵⁴.

С точки зрения большинства западных исследователей, существенное значение для формирования революционно-народнической идеологии имели два периода интенсивного усвоения русскими людьми европейской общественной мысли. Первый период – это время николаевского царствования. В эти годы торжества внутренней реакции, писал А. Ярмолинский, перед образованным русским обществом были закрыты возможности для политической деятельности, но зато оказалось в избытке время для умственных занятий, для чтения и философствования, для ведения дневников и беллетристики⁵⁵. И в это же время началось увлечение немецкой идеалистической философией. Николай I, замечал Р. Бирнс, считал очень опасными идеи французских просветителей и после 1830 г. распорядился посыпать русских студентов на учебу по преимуществу в Германию, а не в Париж⁵⁶. Однако в обстановке вынужденного политического бездействия идеалистическая философия Гегеля, Шеллинга, Фихте, Гердера оказала слишком сильное воздействие на формировалась русскую интеллигенцию. У русских интеллигентов, подчеркивал Дж. Биллингтон, развились неистребимое стремление к поиску исчесывающих ответов на абсолютные вопросы бытия⁵⁷. Люди сороковых годов, писал А. Келли, заложили характерные для русской интеллигенции традиции утопического мышления, и решающее значение для возникновения таких традиций имело воздействие германского идеализма⁵⁸.

С выдвижением на историческую сцену разночинцев начался, по мнению буржуазных исследователей, второй этап в восприятии в России идей западных мыслителей. На смену идеалистически настроенному дворянству пришли решительные и рационалистически мыслящие интеллигенты новой формации. Их психологическому складу в наибольшей степени соответствовали позитивистские и материалистические идеи Конта, Дарвина, Бюхнера, Молшотта и др. Кроме того, началась популяризация радикальных общественных учений Запада. А в результате, утверждал, например, А. Вусинич, различные социалистические теории «трансформировались в России в особую русскую форму – народничество, ядром которого являлась вера в потенциальные силы крестьянской общины»⁵⁹. О том, какие именно

идеи западных мыслителей привели к возникновению народничества, существует немало разнообразных мнений.

Общеизвестно, писал Р. Пайпс, что философские основы народничества «были созданы из материалов, взятых прямо с Запада, особенно из французской социалистической и позитивистской литературы и немецкого материализма». К теоретическим источникам народничества он отнес труды Прудона, Конта, Фейербаха, Маркса и др. В такой интерпретации народничество выглядит как сплав отдельных элементов западноевропейских учений, произвольно выдернутых из системы взглядов того или иного мыслителя. Определение теоретической стороны народничества автор осуществлял путем синтеза внешних идейных влияний, причем делал это, исходя из «похожести» некоторых народнических взглядов на те или иные положения западноевропейских теоретиков⁶⁰.

Такой прием распространен очень широко. Дж. Роджерс, например, считал, что в идеологии народничества сплелись идеи социал-дарвинизма и марксизма⁶¹. Дж. Биллингтон и И. Берлин отмечали сходство народничества с идеями примитивизма Ж.Ж. Руссо, которое проявилось в присущей народникам «романтической вере» в простой народ. Влиянием идей Руссо И. Берлин объяснял свойственные народническим программам отрицание капитализма и идеализацию крестьянства⁶². Рассуждая о всевозможных идейных заимствованиях, буржуазные авторы уходят от определения качественного своеобразия народнических теорий. Представляя революционное народничество как некую сумму идейных заимствований, они решительно отвергают его понимание как идеологии людей, объективно выступавших за наиболее прогрессивный и максимально выгодный для крестьянства «американский» путь капиталистического развития.

Популярные в буржуазной историографии утверждения о «примитивизме» народников, о якобы присущем им слепом преклонении перед архаичными формами народного быта лишены оснований. Они свидетельствуют либо о тенденциозности того или иного исследователя, либо о слабом знании предмета. Большинству русских революционеров было чуждо преклонение перед патриархальностью крестьянской жизни. Сельская община в их глазах сама по себе еще не являлась осуществлением социалистического идеала. На ее архаизм, «промежуточное состояние — между историей и геологией», указывал А.И. Герцен. «Тут нет большого достоинства, — писал он, — что мы неподвижно сохранили нашу общину, в то время как германские народы ее утратили»⁶³. Анализируя состояние крестьянской общины, Н.Г. Чернышевский отмечал, что гордиться сохранением этого остатка первобытной древности нечего, «как вообще никому не следует гордиться какой бы то ни было стариной...»⁶⁴. Крупные пороки общины М.А.Бакунин видел в патриархальности крестьян, в поглощении «лица миром», в сохранении варварии в царя и бога⁶⁵.

О понимании народниками существенного различия между общинным строем в России и идеалами социализма свидетельствует и созданная Н.К. Михайловским теория степеней и типов социального развития. Практики народнического движения 1870-х годов также видели негативные стороны крестьянской жизни и стремились не к «опрощению», а, напротив, к развитию лучших качеств народа. О необходимости просвещения масс говорил, например, участник «Хождения в народ» А.В. Ярцев. «А главное, — писал он, обращаясь к крестьянам, — только тогда вы добьетесь толку, когда будете сами хороши, не будете завидовать один другому, а будете смотреть один на другого, как на брата, и выручать один другого из беды»⁶⁶. Теоретик «Земли и воли» Г.В. Плеханов указывал, что переход к социализму означает замену «экстенсивной культуры земли интенсивной и первобытных сох орудиями, по самой природе своей требующими кооперации всех или нескольких членов общины»⁶⁷.

Идеализация крестьянства революционными народниками состояла не в том, в чем видели ее И.Берлин или Дж. Биллингтон. Она заключалась не в идиллических приукрашениях народной жизни и не в унаследованном якобы от Руссо «примитивизме», а в наивной надежде на возможность осуществления социалистической революции, используя общину, в несбыточном по тому времени стремлении осуществить одновременно и демократический, и социалистический переворот. Именно такую идеализацию борьбы с крепостничеством В.И. Ленин выделял как характерную особенность народничества⁶⁸.

Англо-американские историки очень часто пишут, что в теориях русских революционеров только повторялись идеи Фурье и Прудона, Сен-Симона и Буонарроти, Маркса и Ламенна и т.д. Примерно так же рассуждали и русские буржуазные историки. Веховец М.О. Гершензон, например, утверждал, что русская общественная мысль «делится не на этапы внутреннего развития, а на периоды господства той или иной иноземной доктрины»⁶⁹. Синтез позитивистской философии с идеями Дарвина и Маркса усматривал в идеологии народничества Д.И. Овсяннико-Куликовский. «Как и почему мог образоваться такой синтез? — спрашивал он. — Ответ не труден: Дарвина, Конта и Маркса брали не по существу... а идеологически — применительно к душевным запросам русских интеллигентов, ищущих миросозерцания и смысла в жизни»⁷⁰. К попыткам изобразить революционно-народническую идеологию как результат слепого заимствования модных западных учений прибегали и историки полицейско-охранительного направления — Ф.А. Гиляров, Н.П. Голицын и др., стремившиеся доказать беспочвенность социалистических идей в России.

Правда, современные буржуазные исследователи в отличие от русских «охранителей» предпочитают говорить не столько о «тлестворном» влиянии Запада, сколько о неумелом, некритическом и даже извращенном восприятии русскими интеллигентами

ми новейших социальных теорий. Многие западные авторы продолжают руководствоваться утверждениями Н.А. Бердяева о крайней идейной истерпимости русской интеллигенции, о ее «идейном фанатизме».

К рассуждениям об изначальном догматизме русской политической мысли буржуазные историки часто добавляют ссылки на «слабость» философской традиции в России, на низкую культуру социального мышления. Такое мнение высказывал еще Д.М. Уоллес⁷¹, а затем его повторяли Ф. Бархурн, Р. Хингли и многие другие авторы. Иногда, впрочем, английские и американские исследователи отмечают, что русскую политическую мысль «портили» условия внутреннего развития страны, в том числе и деспотический характер ее строя⁷². А Дж. Эндрю полагал, что на характере заимствований у западных мыслителей сказался регресс в развитии русской аристократии во второй половине XIX в.⁷³ Однако от всевозможных «добавок» существование подхода не меняется: современные буржуазные исследователи более всего стремятся доказать особый, «болезненный» (т.е. склонный к революционности) характер развития России в период ее «модернизации». Очевидная предвзятость рассуждений о якобы полной зависимости русской революционной мысли от идейного воздействия Запада давно доказана советскими и прогрессивными зарубежными исследователями.

Предлагаемые буржуазными историками решения вопроса о значении идейных влияний Запада грешат и слишком откровенной скользкой. Не может не удивлять то обстоятельство, что эти исследователи даже не ставят вопроса о том, почему на русских революционеров так сильно влияли одни западные мыслители (например, Фурье, Прудон или Маркс), а идейное влияние других было очень незначительным. Нет сколько-нибудь обстоятельный ответа на вопрос о времени восприятия русскими теорий западных мыслителей в их наиболее радикальной форме.

Анализ идеологии революционного народничества убеждает, что это была оригинальная система взглядов, занявшая достойное место в истории русской философской социалистической мысли во второй половине XIX в.⁷⁴ В лучших работах зарубежных исследователей оригинальность идейных поисков русской революционной демократии не ставится под сомнение. Ф. Вентури, в частности, подчеркивал самостоятельный характер теоретической деятельности революционных народников и ее соответствие задачам демократического обновления России⁷⁵. А. Валицкий считал несостоительными утверждения Е. Радлова, Г. Шпета и П. Яковенко о якобы неоригинальном характере русской общественной мысли. «Ее поразительная оригинальность, — писал он, — выясняется при условии ее изучения в контексте интеллектуальной истории России», с учетом собственных традиций и социальных реальностей страны⁷⁶. Однако в массе работ английских и американских авторов по-прежнему выражается мнение о подражательности русской рево-

люционной и социалистической мысли, о том, что политические идеи русских демократов представляют собой ухудшенные копии с различных западных оригиналов.

С принижением теоретического уровня революционно-демократической мысли связаны и широко распространенные в буржуазной историографии попытки вывести идейные основы народничества из славянофильства. Причем такие попытки отнюдь не противоречат суждениям о решающем влиянии заимствований у Запада. Дело в том, что большинство современных буржуазных авторов по-прежнему исходит из уверенности в том, что ведущим вопросом русской общественной мысли был (и остается) вопрос об отношении России к Западу. С первых же дней существования интеллигенции, подчеркивал Т. Самуэли, проблема «Россия и Европа» («Россия и Запад») «легла в основу каждого спора, каждой социальной теории, каждого политического движения»⁷⁷. Разногласия между народниками и марксистами по вопросу о перспективах развития страны, заключал Т. Лауз, есть не что иное, как продолжение «в более современной терминологии спора между славянофилами и западниками двух поколениями раньше»⁷⁸. Как продолжение славянофильской традиции характеризовали народничество Г. Кон, Р. Хейр, Х. Ситон-Уотсон и многие другие авторы. Одним из первых на Западе такие взгляды развивал Н.А. Бердяев. В течении двух столетий, писал он, Россия подвергалась влиянию Запада, и ее «культурные классы» ассимилировали одну западную идею за другой, поэтому русская мысль XIX в. была «либо западнической, либо славянофильской, иными словами, она пыталась ответить на вопрос, следует ли России быть частью западного или восточного мира». Современные западные российские и не скрывают своего согласия с подобными утверждениями русских буржуазных авторов. Л. Шапиро, в частности, заявил, что Петр Струве был по существу прав, когда писал, что народничество «являлось продолжением славянофильства, выступавшего против западничества»⁷⁹.

Родство народничества со славянофильством буржуазные историки устанавливают на основе сопоставления внешних, формальных проявлений этих общественных течений. Здесь вновь проявляется характерное искашение отделить сущность от явления, форму от содержания. Такой подход отличает, в частности, американского исследователя Я. Лаврина, специально разбирающего вопрос об идейной близости народничества и славянофильства. Эти доктрины объединяют, подчеркивал Лаврин, «искренняя любовь к крестьянству» и вытекающая из этого чувства идеализация общины. Автор, однако, даже не ставил вопроса о реальном содержании подмеченной им «любви к крестьянству». Между тем без его уяснения само сопоставление теряет смысл: «любовь» к русскому крестьянству декларировали и явно реакционные силы России. «Народники, — продолжал далее Лаврин, — не менее, чем славянофилы, ненавидели характер западной капиталистической цивилизации».

ции». Паконец, еще одна черта – националистическое мессианство как следствие веры в особые исторические пути России⁸⁰.

Почему стали возможными такого рода аналогии? Прежде всего потому, что и народничество, и славянофильство буржуазный историк определял лишь как проявление чисто интеллигентских настроений, кое в чем различных, во многом сходных, но при этом не выражающих никаких иных интересов.

Буржуазные авторы, конечно, видят, что народничество и славянофильство – явления не вполне тождественные. Однако различия между ними понимаются лишь как внешние несходства, как отличия между разными вариантами интеллигентской оппозиционности. Отмечая атеизм и антимонархизм революционного народничества, Я. Лаврин назвал его «секуляризованным славянофильством». Если, писал он, славянофилы искали ключ к избавлению русского общества от разъедавших его пороков в православии, то народники – в своих гуманитарных и утилитарных теориях. Точно такое же мнение высказывал и Н. Рязановский. Революционные интеллигенты, по его словам, могли пренебречь славянофилов, но это не мешает видеть определенные черты сходства между теориями народников и славянофилов. При всех различиях они были едины в расчетах на крестьянскую общину как на средство спасения России и в противопоставлении молодой России одряхлевшему Западу⁸¹. «Бунтующими славянофилами» назвал революционных народников Р. Таксер⁸².

Стремление тем или иным способом провести нить идейной преемственности от славянофильства к народничеству обусловлено характерным для буржуазной историографии отрицанием классовой сущности различных направлений общественной мысли. В русской буржуазной литературе также не было недостатка в попытках объяснить народничество как развитие славянофильских тенденций. Задолго до Н. Рязановского и Я. Лаврина русские либеральные историки указывали на 30–40-е годы XIX в. как на время «великого раскола», разбившего русскую общественную мысль на два главных крыла – западническое и славянофильское. Вскрывая научную несостоятельность либерально-буржуазной концепции, В.И. Ленин указывал, что «с такими категориями, как славянофильство и западничество, в вопросах русского народничества никак не разобраться». Народничество, подчеркивал он, в специфической форме отразило противоположность интересов труда и капитала, т.е. «такой факт русской жизни, который почти еще отсутствовал в ту эпоху, когда складывалось славянофильство и западничество...»⁸³.

В.И. Ленин категорически возражал против свойственных буржуазной науке попыток объяснить славянофильским наследием существо народнических теорий, их исторический смысл. Иное дело, когда речь идет о некотором сходстве логических моментов обеих доктрин, их отдельных положений. Кое-что об-

щее тут замстить можно. Так, славянофилы и народники считали общину наиболее перспективной для русских условий формой социально-экономической и политической жизни, верили в особый путь развития страны. Вполне вероятно, что мысль о русской сельской общине пришла А.И. Герцену через славянофильское посредство⁸⁴. Однако если Герцен видел в общине зародыш новых социальных отношений и связывал с ней надежды на социалистическое развитие России, то славянофилам община казалась надежной преградой проникновению в страну капиталистических отношений, чреватых бурными революционными потрясениями. Если народнический общинный социализм отражал революционно-демократические интересы крестьянства, то славянофильство в сущности представляло собой либерально-консервативную идеологию помещиков, выступавших за выгодный для себя путь буржуазного обновления России. О совпадении народнических воззрений с идеями славянофильства говорить, конечно, можно, но при этом приходится абстрагироваться от главного, от действительного исторического содержания изучаемых теорий⁸⁵.

Живучесть подхода к народничеству как к одному из проявлений идеологии широкого славянофильского крыла в русском политическом мышлении можно объяснить только политическими интересами современной буржуазии. Любой ценой буржуазные авторы стремятся охарактеризовать народнический – да и вообще русский – социализм как сугубо национальный. В действительности же народничество было прежде всего крестьянским (а позднее мещанским) социализмом. Даже для ряда западных исследователей ясна несостоительность отождествления народничества со славянофильством. О резком расхождении этих учений писали, например, Ф. Стэрр и Дж. Блюм⁸⁶. Реалистически оценивал значение славянофильских идей и Ф. Вентури. Славянофилы, подчеркивал он, могли стимулировать пробуждение интереса к прошлому России, к ее народу и традициям, но они ничего не сделали для активного противодействия правительству, «революционный дух не мог вырасти на почве их идей»⁸⁷.

Таким образом, проблема идейных основ и теоретических источников революционного народничества решается в англо-американской историографии с субъективистских и идеалистических позиций. Доказывая подчиненность революционно-народнической мысли западноевропейским идейным влияниям или ее зависимость от славянофильского наследства, буржуазные авторы выхолащивают социальное содержание ее идей. Объективная закономерность возникновения и развития социалистических теорий в России отрицается ими в принципе.

Формирование идеологии революционного народничества – процесс сложный и противоречивый. Ее родоначальники – А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, заложившие основы революционно-демократического мировоззрения пореформенной эпохи. На протяжении 60–70-х годов XIX в. сторонники этой

идеологии сохраняли вполне определенное единство, обусловленное классовым содержанием движения и защитой интересов трудящегося народа в условиях капиталистической России. Однако по мере возникновения новых вопросов социально-экономического развития страны и накопления опыта демократического движения существенно видоизменялось и миросозерцание революционеров-разночинцев.

Крупная роль в развитии революционной мысли принадлежала идеологам народнического движения 1870-х годов. Нужно при этом иметь в виду, что ими не было создано единой платформы практической деятельности. Суждения теоретиков народничества по ряду принципиальных идейных и тактических вопросов оставались и непоследовательными, и противоречивыми.

Внутренняя противоречивость идеологии революционного народничества, ее относительная подвижность – следствия отсутствия в пореформенной России сплоченного революционного класса. Отсюда и особая острота программно-тактических разногласий революционных народников 70-х годов, связанная с напряженным и мучительным поиском средств и путей осуществления революции в России, а также крутые «перепады» революционной мысли – от страстных надежд на крестьянское восстание до явных преувеличений возможностей «революционного меньшинства». Если на различных этапах истории революционного народничества преимущественным влиянием пользовались возвретия разных идеологов, то это было обусловлено не субъективными причинами, а той необходимой коррекцией, которую вносила в теорию практика борьбы. При всех идейных разногласиях решающее слово оставалось за этой практикой, а она не давала сколько-нибудь полного подтверждения взглядов ни одного из народнических идеологов, поэтому идеи П.Л. Лаврова, М.А. Бакунина, П.Н. Ткачева или Н.К. Михайловского в сознании участников движения зачастую переплетались, дополняли друг друга, но не имели вполне оформленной кристаллизации: среди революционеров той эпохи почти не было «чистых» лавристов или бакунистов.

Все это, разумеется, не дает основания обрекать революционное народничество на идейную «безотцовщину». Теоретическая деятельность многих участников революционного движения имела значение, но определяющий вклад в разработку идейных основ революционно-народнического движения 70-х – начале 80-х годов внесли Лавров, Бакунин, Ткачев.

В рамках данного исследования нет возможности дать сколько-нибудь исчерпывающий анализ англо-американской литературы, посвященной каждому из идеологов народничества. Это слишком большая задача, требующая отдельной работы. Напомним лишь, что в западной историографии до сих пор нет устоявшегося определения самого понятия «народничество», поэтому некоторые авторы, опираясь на распространенную в буржуазной литературе «демидеологизацию» народничества, вообще считают неправомерным выделять историческую роль его

теоретиков. «По какому-то странному курьезу истории, — писал О. Рэдки, — эти люди фигурируют как основатели народничества, тогда как в действительности их роль заключалась только в воодушевлении движения, пришедшего в упадок в начале XX в.»⁸⁸. Но такое мнение встречается редко. Гораздо шире распространены крайние преувеличения роли отдельных теоретиков в движении народников. Народничество зачастую определяется как механически составленная сумма идей разных авторов.

Подобный метод характерен для многих исследователей. Структуру народнических идей попытался, в частности, выявить Ярмолинский. Делал он это путем выявления идейного вклада, внесенного в народничество отдельными мыслителями. От Герцена, считал Ярмолинский, в идеологию народничества перешел принцип примата социализма над политической демократией; от Чернышевского — принцип утилитаризма в этике и эстетике и стремление прийти к социализму через общину; от Ткачева — непримиримое отношение к реформизму и принцип подчинения нравственности задачам революционной борьбы, обоснование необходимости революционной организации и революционного государства; от Лаврова — обоснование доктрины «критически мыслящей личности» и идея долга интеллигенции перед народом и т.д.⁸⁹ В принципе так же, хотя и с указаниями на несколько иные сочетания народнических идей, рассуждали С. Пушкин, Г. Эллисон и др. По мнению Эллисона, Лавров дал народничеству формулу прогресса, Михайловский обосновал социалистические возможности русского крестьянства, а Бакунин внес в движение призыв к революции⁹⁰.

Сами по себе отдельные положения разных теоретиков изложены в общем верно. Изъян такого анализа заключается в методе. Перечисляемая сумма идей представляется при этом в качестве теоретического инструментария революционной интеллигенции, преследовавшей якобы собственные цели. В результате исчезает всякое представление о революционном народничестве как идеологии (системе взглядов) крестьянской демократии.

Для западных историков вообще очень характерно стремление непременно найти ведущего идеолога революционного народничества 1870-х годов. Считается, что без направляющей руки того или иного лидера массовое движение передовой молодежи просто не могло бы состояться.

Среди авторов, полагающих, что специфику народничества следует искать не столько в идеях крестьянского социализма, сколько в нравственных или психологических импульсах интеллигенции, весьма распространена убежденность, что главным теоретиком движения 1870-х годов был П.Л. Лавров. С. Утехин, например, заявлял, что все народники 70-х годов «придерживались в той или иной мере социальной философии Лаврова, которого можно поэтому считать подлинным отцом народничества». А журнал «Вперед!», по мнению автора, «в течении

нескольких лет был главным органом русского народнического движения»⁹¹.

Современный исследователь лавризма А. Кимбалл утверждал, что ни один идеолог не имел большего влияния на русское революционное народничество, чем Лавров⁹². Об определяющем значении этических взглядов Лаврова на характер революционного движения в России писал и Ф. Уолкер⁹³.

Главным аргументом для признания за П.Л. Лавровым роли «отцом народничества» служит, по мнению западных авторов, то, что он сумел найти теоретический выход для тех эмоций, которые овладели русской интеллигенцией вскоре после отмены крепостного права. «Подчеркнув роль личности, — отмечал Т. Андерсон, — и указав на ту большую цену, которую заплатило большинство ради создания цивилизации меньшинства, он затронул чувствительные струны кающихся дворян и сформулировал кredo для народников 1870-х годов, желавших вернуть долг народу»⁹⁴. Иными словами, ведущая роль Лаврова в идейной жизни демократической интеллигенции заключалась, по мнению автора, в теоретическом обосновании дворянского покаяния.

Однако можно ли на самом деле считать П.Л. Лаврова «отцом народничества»? Нет, конечно. Революционеры (например, Д. Клеменц, Н. Чарушин, С. Кравчинский) решительно возражали против изображения лавризма как господствующего направления в народнической мысли 1870-х годов. И, пожалуй, лучше всех об этом сказал сам П.Л. Лавров: не «Вперед!» пробудил революционное движение, «ни одно издание, ни одна частная группа людей не может вызвать историческое движение — «Вперед!» был в ряду других изданий, других веяний времени и побуждений, возникавших рядом с ним, одним из эпизодов движения, одним из проявлений исторически возможной потребности»⁹⁵.

Очевидное несоответствие реального положения дел привозглашению Лаврова «отцом народничества» отмечают и те западные исследователи, которые избегают делать произвольные выводы и лучше знают предмет. Так, Б. Сапир справедливо заметил, что журнал «Вперед!» не сумел привлечь многочисленных последователей. «Политическое учение его редактора, — писал он, — осталось в стороне от основного русла революционной мысли 70-х гг., в которой доминировали идеи М.А. Бакунина»⁹⁶. Дж. Майер подчеркивает, что основную массу радикальной молодежи не устраивали призывы Лаврова к длительному самообразованию. Автор, на наш взгляд, верно подмечает, что народническая молодежь по-разному оценивала «Исторические письма» и ту платформу реальных действий, которую ей предлагала редакция «Вперед!». Революционеры высоко оценивали призывы «Писем» к действию, но скептически относились к программе развития народного сознания до уровня «критически мыслящих личностей»⁹⁷.

Те западные авторы, которые сводят сущность народничества к импульсивному стремлению русской интеллигенции к народу, к поискам в нем спасительного идеала, предпочитают роль главного идеолога 1870-х годов отводить М.А. Бакунину. Такого мнения придерживался Т. Масарик⁹⁸. Как ведущего идеолога революционного народничества характеризовал М.А. Бакунина видный английский историк Э. Кэрр⁹⁹. «Из трех соперников (наряду с Лавровым и Ткачевым. — М.К.) он (Бакунин. — М.К.) был, — писал Д. Харди, — самым пламенным борцом за крестьян, бардом жакерии, наследником традиции Пугачева»¹⁰⁰.

О М.А. Бакунине и бакунизме на Западе существует значительная и очень разнообразная литература, интерес к этой теме подогревается возрождением анархистских тенденций в общественной жизни ряда капиталистических государств¹⁰¹. Не касаясь оценок роли М.А. Бакунина в международном социалистическом движении, заметим, что многие западные исследователи говорят о нем как о наиболее последовательном выразителе психологии русских интеллигентов. Сила воздействия Бакунина, по мнению А. Келли, заключалась не в его конкретных политических воззрениях, а в раскрытии «психологии утопизма». Идеал полной свободы, реализуемый посредством очищающего и возрождающего разрушения, подчеркивал он, был чрезвычайно притягателен для интеллигентов, «отчужденных от статичного и авторитарного общества»: такие «интелликуалы» более всего тяготели к планам всеобъемлющего переустройства общества, мечтая о наступлении «золотого века», когда будет гармония интересов личности и коллектива. По мнению Келли, такие настроения русских интеллигентов выразились уже в идеологии А.И. Герцена и его последователей — социалистов, которые выдвинули утопию, явившуюся «продуктом их собственных, а не народных устремлений и идеалов». Но если Герцен все же стремился согласовать свои идеи с «общественными и историческими реальностями», то Бакунин отвергал какой-либо компромисс между действительностью и идеалом, и «в этом отношении он представлял собою крайнее выражение революционного типа», который легко обнаружить и в наше время¹⁰². Причины популярности бакунинских идей автор, таким образом, объясняет психологической неустойчивостью интеллигентов-отщепенцев. Само собой разумеется, что при подобном подходе невозможно говорить о классовом смысле российского бакунизма. Это течение как бы растворяется в иррациональной психике взбунтовавшихся «интеллигентов».

Господствующими в англо-американской историографии остаются оценки М.А. Бакунина как проводника безудержной анархии, разнуданных страстей и революционного насилия. Дж. Кларксон, например, утверждал, что наиболее ярким воплощением бакунинских идей стало образование в 1869 г. руководимого С.Г. Нечасевым тайного общества «Народная рас-

права»¹⁰³. Как отмечал Э. Карр, о Бакунине слишком часто пишут, что он был «апостолом анархии», но нередко забывают о его требовании создать сплоченную и хорошо организованную партию, «объединенную не только общими идеалами, но и узами безусловного подчинения абсолютной власти революционного диктатора»¹⁰⁴.

Безусловно, умалять или отрицать крупную роль М.А. Бакунина в развитии революционного народничества нельзя. Однако первопричина бакунинской популярности заключалась не в простом созвучии его идей психологии интеллигентов, а в демократической направленности его теорий, в защите интересов эксплуатируемых масс. Революционерам 1870-х годов импонировали призывы Бакунина ориентироваться на осознанные самим народом помыслы и желания, они с одобрением воспринимали бакунинские указания на необходимость оказать помощь народу.

Пламенный призыв к борьбе против деспотического государства и вообще всех угнетателей народа, прозвучавший в бакунинских прокламациях конца 60-х годов, в книге «Государственность и анархия» и особенно в «Прибавлении А», встретил горячий отклик у революционных народников. Русские революционеры 1870-х годов испытывали, конечно, ощущимое влияние анархистских идей Бакунина об идеале будущего строя. Но в гораздо большей степени их привлекали указания Бакунина на направление революционной деятельности. «Люди рвались к делу, — вспоминал видный народник М.Ф. Фроленко, — спрашивали, каким путем поднять народ... и, несогласные ждать, ухватились за Бакунина»¹⁰⁵.

Как справедливо отмечали Н.Ю. Колпинский и В.А. Твардовская, бакунизм в России «стал одним из идейных выражений борьбы крестьянских масс, страдавших больше от крепостничества, чем от капитализма»¹⁰⁶. Бакунинские идеи, несомненно, усиливали революционный накал «хождения в народ». Однако и М.А. Бакунину нельзя отводить роль идейного вождя революционного народничества в целом. Отношение к нему со стороны большинства русских революционеров всегда было достаточно критическим. Далеко не все идеи и рекомендации Бакунина встречали понимание в массе участников народнического движения (например, принципиальный отказ от длительной социалистической пропаганды в народе, апология разбоя). В 70-е годы в русской революционной среде сохранялись объективные условия для популярности анархистских иллюзий (преобладание массы мелких товаропроизводителей и наличие активной бессословной интеллигенции). Но со всей определенностью можно утверждать, что революционное народничество никогда не ограничивалось бакунизмом, в идейном отношении оно было гораздо сложнее и богаче учения русского теоретика анархизма.

Значительное распространение в англо-американской историографии получило признание роли ведущего теоретика интел-

лигентской революционности за П.Н. Ткачевым. К редактору «Набата» как идеологу революционного меньшинства, «интеллигентской элиты», популяризатору идей захвата власти с целью установления диктатуры революционного правительства западные историки относятся с пристальным вниманием. Любопытно, что при определении исторического места П.Н. Ткачева в их среде встречаются диаметрально противоположные точки зрения. Часть исследователей считают, что именно в их трудах революционно-народнические теории были изложены наиболее последовательно. Ф. Вентури, например, писал, что якобинские взгляды Ткачева были, несомненно, народническими и как раз в силу своей «тактической оригинальности» они выявили «некоторые из наиболее глубоких и сокровенных аспектов самого народничества». В спорах с Энгельсом, подчеркивал Вентури, Ткачев опирался на классические аргументы народничества, «впервые открыто столкнувшегося с марксизмом»¹⁰⁷.

По мнению Ф. Вентури, в теориях Ткачева последовательнее всего выразилась интеллигентская сущность народничества. Такую же точку зрения отстаивал и Ф. Дан, писавший, что Ткачев сумел соединить в своих взглядах писаревский рационализм с бакунинским динанизмом, но при этом в противовес Бакунину и Лаврову призвал интеллигенцию принять на собственные плечи ношу творцов общественного развития. Будучи решительным противником либерализма, подчеркивал Ф. Дан, Ткачев выдвинул идею революционного государства, власть в котором должна принадлежать «людям будущего», т.е. интеллигентскому меньшинству¹⁰⁸.

В англо-американской литературе, однако, имеется немало работ, авторы которых не признают П.Н. Ткачева идеологом народничества. А. Уикс, например, утверждал, что теория захвата власти силами революционной интеллигенции была несовместима с народническим демократизмом¹⁰⁹. С точки зрения Т. Андерсона, идеи Ткачева означали отход от народничества в сторону заговора¹¹⁰. Такая же оценка дана и в обстоятельной монографии американской исследовательницы Д. Харди. Решение вопроса о принадлежности Ткачева к народничеству зависит, разумеется, от общего подхода западных авторов к этому общественному явлению. Д. Харди, в частности, склоняется к бердяевскому пониманию народничества как проявления интеллигентской веры в крестьянство и жизненную силу традиционных форм народного быта. Она потому и отрицала причастность Ткачева к народничеству, что он не верил в творческие возможности крестьянства, в его готовность к немедленному установлению социалистического строя. По мнению автора, Ткачев оказался гораздо более реалистичным теоретиком, чем такие типичные, с ее точки зрения, народнические мыслители, как П.Л. Лавров или М.А. Бакунин¹¹¹. Сходное мнение высказывал и С. Бэйрон. «Ткачев, — писал он, — слабо верил в революционные возможности крестьян и возлагал в связи с этим ответственность за про-

введение революции исключительно на интеллигенцию»¹¹².

В последние годы наметился определенный сдвиг в сторону более объективного освещения идей и деятельности П.Н. Ткачева. Немало интересных наблюдений содержит уже упомянутая работа Д. Харди. Автор основательно изучила становление личности своего героя, влияние на него политической обстановки эпохи падения крепостного права, условий студенческой жизни того времени. Она сумела убедительно показать определяющее влияние идей Н.Г. Чернышевского на молодого Ткачева, прежде всего на восприятие последним идей о решающей роли экономического фактора в общественной жизни людей. Весьма удачно, на наш взгляд, охарактеризованы в книге отношения П.Н. Ткачева с С.Г. Нечаевым. Справедливо отметив определенную близость воззрений того и другого, Д. Харди подмечает и крупные различия между ними: идеи Ткачева отличались определенностью и достаточной зрелостью, а взгляды Нечаева оставались весьма неясными и противоречивыми. Нечаевские представления о героях революции, по мнению исследовательницы, можно квалифицировать как извращение взглядов Чернышевского и Ткачева на эту проблему¹¹³.

Многие англо-американские историки, освещая идейную жизнь революционных народников, полностью переносят на российскую почву фракционные споры, имевшие место внутри русской политической эмиграции начала 70-х годов XIX в. К 1873 г., утверждал А. Ярмолинский, разногласия между лавризмом и бакунизмом были перенесены в Россию и проявились в возникновении двух основных направлений «хождения в народ»¹¹⁴. Взгляды практиков народнического движения Ф. Дан квалифицировал либо как лавристские, либо как бакунистские. Некоторые авторы (например, Д. Мейнард и Д. Гехт) утверждают, что идеи Лаврова господствовали в народничестве в начале 70-х годов, а затем были вытеснены бакунизмом.

В основе таких взглядов — отрицание того, что определяющее значение в поисках правильной революционной теории имели условия социально-экономического развития, массовое движение и опыт борьбы революционеров.

2. Освещение практической деятельности революционных народников 1870-х — начала 1880-х годов

Вопросам практической деятельности революционных народников англо-американские историки уделяют значительно меньше внимания, чем идейным и психологическим характеристикам движения. Это легкообъяснимо: именно в духовной жизни демократической интеллигенции буржуазным авторам легче искать ключи к решению коренных проблем всего русского ре-

волюционного процесса. Практическая же деятельность народников служит, как правило, лишь самой общей иллюстрацией буржуазных концепций. Сказывается, конечно, и ограниченность источников базы англо-американского россисведения.

Народничество 70-х годов XIX в. в большинстве случаев характеризуется как движение возбужденного студенчества, начавшееся с попытки вполне искренней пропаганды, а завершившееся актами революционного насилия и террора¹¹⁵. О «мирном» и «революционном» этапах в истории народничества писали Х. Ситон-Уотсон, М. Флоринский, Л. Шапиро и другие авторы. Такая позиция – результат свойственного буржуазной историографии стремления лишить революционное народничество классовой определенности, представить его эволюцию только как следствие вызываемых внешними причинами колебаний интеллигентской психологии.

Некоторые западные исследователи, впрочем, ставят под сомнение правомерность деления «старого» народничества на «мирное» и «революционное». Отличие народовольчества от «рождения в народ», отмечал Д. Мейнард, нельзя квалифицировать как отличие революционного направления от мирной пропаганды. Соглашаясь с такой точкой зрения, Л.Хаймсон подчеркивал, что расхождения в практической деятельности революционных народников сводились к выбору путей свержения существовавшего тогда строя¹¹⁶.

Для ряда буржуазных авторов характерен устойчивый интерес к поиску истоков так называемого русского революционного экстремизма. Реакционные идеологи не устают твердить, что насилие, исзуитская мораль и жестокость имели якобы давнюю и устойчивую традицию в революционном движении России. По этой причине англо-американские исследователи проявляют особое внимание к известному эпизоду в общественной жизни конца 60-х – начала 70-х годов прошлого века, связанному с деятельностью С.Г. Нечаева. О самом Нечаеве и о созданном им обществе «Народная расправа» написано уже немало работ, и основная их часть имеет откровенно антиреволюционную и антисоветскую направленность¹¹⁷.

О каких-либо реальных достижениях зарубежных исследователей деятельности С.Г. Нечаева говорить не приходится. Буржуазных историков интересует не столько фактическая история нечаевского дела, сколько поиск неких потаенных пружин, идейных и психологических корней революционного авантюризма. Примером тому служит обширная монография американского историка Ф. Помпера, который поставил перед собой задачу раскрыть прежде всего «психологию нечаевщины». Нечаев, по его мнению, олицетворял целую традицию социального примитивизма, безнравственности и насилия, свойственную якобы русскому революционному движению и вообще любым длительным революционным процессам. И хотя, замечал Помпер, русские революционеры «на некоторое время» отвергли приемлемые Нечаевым методы шантажа и мистификаций, «нечасвщина»

продолжала жить вплоть до завершения революционного движения. Нечасва следует считать «подлинным предшественником» «диктаторов двадцатого столетия», заявил автор и свои выводы подкрепил традиционными для буржуазной социологии рассуждениями о патологическом перерождении революционного сознания¹¹⁸. Написанная в стиле академического исследования, работа Помпера по своему объективному смыслу мало отличается от работы М. Правдина, решившего доказать, что политический портрет В.И. Ленина был как бы зеркальным отражением Сергея Нечасева¹¹⁹. Ф. Помпер, правда, отвергал как «излишне прямолинейные» попытки простого навешивания нечесвских ярлыков на русских революционеров. Однако от поиска «психологических параллелей» он не отказывается¹²⁰.

Постулируя «моральное лидерство» С.Г. Нечасева, западные историки дают самыс противоречивые оценки его идеяным позициям. Г. Коул, например, писал о Нечасеве как о последователе Писарева, поклоннике культа крайнего индивидуализма. Как полагал А. Келли, Нечасева в принципе нельзя отдельять от Бакунина¹²¹. Бакунистской называли платформу Нечасева Дж. Джоул, Ф. Помпер и другие авторы¹²². По мнению же Е. Лампера, о Нечасеве следует говорить как о якобинце, «подлинным учителем» которого «был Ткачев, идеолог якобинства и политической диктатуры, открытый противник анархии и прямой предшественник Ленина»¹²³. Более объективной представляется точка зрения Д. Харди. По ее оценке, идеи Ткачева сильно отличались от примитивных воззрений Нечасева и даже «невозможно определить, в какой мере взгляды Ткачева совпадали с нечесвскими, так как воззрения Нечасева трудно оценить». Революционер нечесвского типа, подчеркивала Харди, «был извращением тех революционных геросов, о которых писали Чернышевский и Ткачев»¹²⁴.

На конкретные обстоятельства «нечесвской истории» реакционно настроенные буржуазные авторы особого внимания не обращают. Возвышенная роль организатора «Народной расправы», они преследуют очевидную цель – дискредитировать революционное движение, представить его социальной патологией, питательной средой для всякого рода экстремистских и аморальных явлений.

В революционных кругах России все то темное и непрятливое, что было связано с «нечесвщиной», всегда встречало принципиальный отпор. Большинство демократического студенчества с недоверием отнеслось к авантюристическим лозунгам и деятельности С.Г. Нечасева. Хорошо известно, какую неудачу потерпело царское правительство, когда решило воспользоваться открытым судом над нечесвцами для очернения революционного движения. На суде выяснилось, что рядовые участники «Народной расправы» не знали о мистификаторских методах Нечасева и исповедуемых им принципов не разделяли. Зато разбирательство показало, что у революционно-демократического движения в России есть глубокие причины, что демократи-

ческая интеллигенция вдохновлялась благородными идеями освобождения своей родины. Н.А. Чарушин вспоминал, что у прогрессивной молодежи установилось противоречивое отношение к этому громкому политическому делу: «К людям, участникам процесса – положительно, а к организации как таковой, с которой эти люди были связаны, безусловно, отрицательно... Хорошие люди, неожиданно для себя оказавшиеся членами организации, основанной на обмане, с несуществующим таинственным комитетом, стоящим якобы во главе обширного заговора, решительные действия которого ожидались в самом непродолжительном времени, должны были безоговорочно подчиняться одному лицу – Нечаеву, как единственному открытому представителю этого таинственного комитета»¹²⁵. Аналогичная оценка процесса встречается во многих воспоминаниях участников революционного подполья¹²⁶.

Высокий гуманизм русского революционного движения был несовместим с доведенным до крайности принципом: «цель оправдывает средства». Ф. Помпер напрасно искал глубокие психологические корни «нечаевщины». Это явление было порождено вполне конкретными причинами, и в первую очередь тупой и жестокой реакцией, утвердившейся в России во второй половине 1860-х годов. Развитию «нечаевщины» способствовала и слабая организация демократических сил, не сумевших преодолеть последствия кризиса 1863-1864 гг. В такой обстановке у некоторой части разночинной молодежи вполне могло произойти снижение уровня революционной морали, как это случилось, скажем, с членами ишутинского «Ада» и с Нечасвым. Всякие попытки преувеличить значение «нечаевщины» лишены оснований.

Из народнических кружков начала 1870-х годов только Большое общество пропаганды, кружки «чайковцев», вызвали особый интерес ряда зарубежных историков. Нельзя не согласиться с замечанием М. Миллера, указавшего, что исследователь не может игнорировать эту организацию, «сумевшую создать поистине всероссийскую сеть филиальных групп, в которых началась революционная деятельность многих участников позднейшей «Земли и воли», Исполнительного комитета «Народной воли» и марксистских кружков начала 80-х годов»¹²⁷. М. Миллер достаточно точно отметил и основные этапы деятельности «чайковцев» – от самообразования и «книжного дела» до пропаганды в рабочей и крестьянской среде. Зенит активности чайковцев пришелся, по мнению автора, на время с 1872 по 1874 г., когда у революционеров неуклонно нарастало стремление к «хождению в народ»¹²⁸.

Большой интерес вызывает и отличающаяся высоким профессионализмом работа А. Ноулса, посвященная просветительской деятельности «чайковцев». Автор сумел по достоинству оценить высокие моральные качества революционных народников и показать особенности идеологической подготовки похода молодежи в деревню¹²⁹. Объективную оценку деятельности «чай-

ковцев» дал и Ф. Вентури. Он отметил выдающуюся роль М.А. Натансона как «подлинного основателя» организации. Заслуживает внимания и высказанная этим автором мысль о том, что в мировоззрении «чайковцев» произошло слияние «модифицированного анархизма Бакунина» с социалистическими идеями Лаврова. «Чайковцев», подчеркивал Ф. Вентури, можно поэтому назвать первыми представителями «классического» народничества 1870-х годов¹³⁰.

Освещая историю «чайковцев», английские и американские исследователи заостряют внимание на проблеме столкновения радикальной интеллигенции с народными массами. Делается это, конечно, не случайно. Даже в своих лучших исследованиях буржуазные историки исходят из идеалистического понимания народничества как неклассового, сугубо интеллигентского явления, а его центральная задача сводится к «снаведению мостов» между двумя разнородными социальными группами – просвещенным меньшинством и массами крестьянства. «Чайковцы» при таком подходе представляются пионерами специфических действий русской интеллигенции по поиску социальной опоры.

Естественно, что столь неординарное явление, как «рождение в народ», не могло не привлечь пристальное внимание буржуазных авторов. В большинстве их работ это явление оценивается как совершенно самобытное, необычайно романтическое и в целом не опасное для русского правительства. Причем под «рождением в народ» англо-американские историки понимают только известный поход русской молодежи «в крестьянство» весной и летом 1874 г., следуя в этом отношении за некоторыми современниками и мемуаристами. В советской историографии это понятие трактуется значительно шире и включает в себя всю совокупность действий, направленных на то, чтобы «поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества...»¹³¹.

Многие западные историки пишут о «рождении» как о явлении совершенно исключительном, возможном только в «уникальной» среде русской интеллигенции. Наивный энтузиазм и идеализм молодых интеллигентов, отмечал Л. Шапиро, вызвали эту «великую миссионерскую волну», «один из наиболее трогательных эпизодов в русской истории»¹³². «Детским крестовым походом» называл «рождение в народ» А. Ярмолинский. О крайней аморфности и неорганизованности движения писали Е. Алленинген, А. Педлер и многие другие авторы. Зачастую «рождение» сводится ими к нравственному порыву «кающихся дворян»¹³³. Ф. Помпер же считал, что именно во время похода в деревню ярче всего раскрылся религиозный характер народнического движения¹³⁴.

Содержание деятельности народников в период «рождения» западные авторы усматривают в сугубо мирной пропаганде, в проповеди до крайности наивных идеалов. Подчеркивая «безобидный» характер «рождения», буржуазные историки, однако,

не забывают отметить, что в «русских условиях» наивные социальные мечты легко вели к повышенной революционности. Само «хождение в народ» трактуется как романтическое начало грозной бури с самыми зловещими последствиями. При этом читателя убеждают, что в странах «цивилизованных» и либеральных не может быть ни такого «начала», ни такого «конца».

Итоги «хождения» английские и американские исследователи обычно оцнивают как полный и вполне естественный провал попыток радикальной интеллигентии пробиться к народу. О «явной неудаче» революционных народников писали Б. Пейрс, Х. Ситон-Уотсон, М. Флоринский и многие другие авторы. Лишь в очень немногих исследованиях отмечены определенные успехи народнической деятельности в массах, в частности среди рабочих.¹³⁵

История «Земли и воли» 1870-х годов не принадлежит к числу популярных сюжетов в англо-американском российском изучении. Об этой крупнейшей народнической организации буржуазные историки обычно упоминают вскользь, как о промежуточном звене между «мирной» пропагандой и террором. Например, А. Улам, в частности, заявлял, что «вторая «Земля и воля» представляла собою нелегкий компромисс между идеями Лаврова и определенными организационными принципами нечаяевской «Народной расправы», прикрытой к тому же риторикой, унаследованной от вдохновителей землевольцев 60-х годов: Герцена и Огарева»¹³⁶. Внимание буржуазных авторов привлекает только «дезорганизаторская» деятельность землевольцев (устройство побегов, подготовка покушений и т.п.), которая, по замечанию Улама, имела черты «поразительного сходства с «Катехизисом революционера» Бакунина и Нечаева»¹³⁷. Установив такую близость, Улам заключил, что «Земля и воля» стояла у истоков традиции, развитие которой привело к созданию ленинской партии с ее «идеей партийной дисциплины, подчинения отдельного революционера коллективной воле» своих товарищей¹³⁸. Аналогично оценивали землевольчество М. Флоринский, Э. Кренкшоу и другие авторы.

Позиция А. Улама весьма характерна. Он всеми силами стремился соединить землевольчество линиями преемственности, с одной стороны, с нечаяевщиной, а с другой — с большевиками. В.И. Ленин действительно считал землевольческую организацию превосходной и отмечал, что она «нам всем должна бы была служить образцом». Однако Улам «забыл», что В.И. Ленин указывал и на историческую ошибку революционных народников: «...они опирались на теорию, которая в сущности была всецело не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать свое го движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества»¹³⁹. Отождествлять землевольчество с большевизмом — значит игнорировать принципиальное различие между партией революционного класса и нелегальной организацией интеллигентов-

демократов, лишенной опоры в массах.

Столь же произволен и вывод А. Улама о близости землевольцев к Нечаеву. Борьба А.Д. Михайлова и его единомышленников за реализацию принципа подчинения личности коллективу не имела ничего общего с нечаевским «генеральством», с его политикой слепого подчинения целого коллектива воле одного руководителя. Установившаяся в «Земле и воле» атмосфера взаимного доверия, свободного выбора революционером того или иного вида деятельности, практика откровенных дискуссий и даже съездов не могли быть унаследованы от нечаевской «Народной расправы». Утверждать обратное можно, только отказавшись от объективного анализа.

Наиболее крупным объектом современных буржуазных исследований революционно-народнической деятельности остается деятельность «Народной воли». Сам по себе этот факт не может вызвать удивление. Создание самой крупной организации революционных народников и начало беспримерной по своему накалу политической борьбы с самодержавием были событиями выдающегося исторического значения. Однако подавляющее большинство английских и американских авторов обращаясь к истории народовольчества не для того, чтобы воздать должное мужеству борцов против самодержавного деспотизма. Как правило, они стремятся внушить читателю негативное мнение о «Народной воле», доказать, что ее деятельность была исключительно разрушительной, имевшей самые печальные последствия для истории России. Может показаться, заявил А. Беркес, что, убив Александра II, «возможно лучшего царя в современной России», народовольцы совершили политически безрассудный шаг, поскольку за 1 марта 1881 г. последовал период жестокой реакции. Но если иметь в виду историческую перспективу, писал он далее, то можно сказать, что борьба народовольцев предопределила успех революционеров в России. Справоцировав наступление реакции, «Народная воля», утверждал Беркес, поставила общество и власть в России на совершившись непримиримые позиции и тем самым обрекла на историческое поражение сторонников либерального развития¹⁴⁰. Этот автор в сущности следовал логике А. Улама, с той только разницей, что последний отводил роль поворотного пункта в русской истории каракозовскому покушению 1866 г.

Многие современные буржуазные идеологи продолжают давнюю традицию изображения народовольцев как кровожадных террористов, видевших в политических убийствах цель своей деятельности¹⁴¹. В целом ряде работ возникновение народовольчества трактуется как торжество сторонников революционного насилия в освободительном движении. Такое развитие, замечал Дж. Биллингтон, было вполне закономерно, так как русская общественная мысль не знала здоровой умеренности и постоянно оказывалась между Сциллой реакции и Харибдой революционного экстремизма¹⁴². Среди незрелой русской молодежи, втолкал сму Р. Пайпс, насилистенные методы борьбы оказались

особенно заразительными. Начавшийся в 1878 г. и длившийся три года террор социалистов-революционеров продолжал усиливаться даже после того, как стало ясно, что ему не удастся ни парализовать правительство, ни побудить крестьян к бунту. Под конец он превратился в террор ради террора и осуществлялся (с замечательной ловкостью и отвагой) просто, чтобы доказать, что он осуществим; «шел спор о том, у кого воля сильнее: у кучки революционеров или у всего истеблишмента империи»¹⁴³.

С точки зрения таких исследователей, террор народовольцев можно считать практически неизбежным делом: его популярность объясняется естественной реакцией склонной к экстремизму интеллигенции на тяжелую неудачу, постигшую ее в период «хождения в народ». Народ, считал О. Рэдки, не ответил на призывы «юных свангелистов», чем и толкнул их на дорогу террора¹⁴⁴. Индифферентность масс к революционным проповедям, писал М. Флоринский, была главной причиной того, что «идеалистическая пропаганда «чайковцев» деградировала в сторону кровавого террора»¹⁴⁵. «Хождение», по А. Уламу, показало, что крестьянам безразличны народнические призывы, а рабочих больше интересуют «узкие» экономические вопросы. Для работы в массах требовались и время, и терпение. «Но по своему темпераменту, — заявлял Улам, — большинство народников были неспособны к такому самоограничению. Они были молоды и нетерпеливы»¹⁴⁶.

Народовольчество при таком подходе характеризуется как проявление интеллигентского экстремизма, перешедшего в террор без сколько-нибудь разумных или ясно осознанных целей. Цареубийство объявляется главной и едва ли не единственной целью «Народной воли», а сама революционная организация изображается как прямая наследница «нечасвщины». Даже рабочих, уверял Улам, народовольцы вовлекали в свою деятельность с помощью подкупа. И если в своих изданиях они мало писали о терроре, то делали это для того, чтобы создать видимость серьезности собственных планов¹⁴⁷. На возрождение «нечасвщины» в «Народной воле» указывал и Ф. Помпер¹⁴⁸. Поддержка прогрессивной английской и американской общественностью русских революционеров характеризуется современными реакционерами как исторический парадокс. Так, Дж. Гуд объяснял возникавшие на Западе движения солидарности с «Народной волей» хитростью и коварством русских революционеров. С.М. Кравчинский и его друзья, заявил он, старательно вводили в заблуждение добросовестную западную публику, внушая сий мысль об умеренности своих политических требований¹⁴⁹.

Очень часто история «Народной воли» освещается с позиций буржуазного либерализма, когда истоки «революционного насилия» отыскиваются не столько в присущих русским интеллигентам психологических свойствах, сколько в политических условиях, сложившихся в России к концу 1870-х годов. С этой

точки зрения «интеллигентский романтизм» не обязательно должен был перерasti в терроризм; он вполне мог бы сойти на нет, если бы не грубые распри и неумелость царского правительства. Само правительство, подчеркивал Ф. Вентури, повинно в кристаллизации народовольческой тенденции прямой борьбы против государственного строя. Народническое движение, уверял У. Уолш, могло бы тихо угаснуть, если бы правительство не ударило в панику и не обрушилось на молодежь с бессмысленными и повальным арестами¹⁵⁰. Точно такую же позицию отстаивали А. Келли, Д. Гехт, Г. Коул и многие другие авторы. «Народная воля» в их глазах осталась организацией террористов-экстремистов, но вина за ее возникновение возлагалась на самодержавие. Современные буржуазные авторы активно используют тезис о «трагическом» противоречии средств народовольческой деятельности ее целям. Т. Андерсон, например, называл «невероятным» расхождение между «очевидно разумными» требованиями «Народной воли» и террористическими методами ее борьбы¹⁵¹. В данной интерпретации народовольческое движение лишается закономерной социальной обусловленности и объявляется результатом отсутствия в России гражданских свобод, которые царизм вполне мог бы вовремя предоставить. Такие иллюзорные оценки всегда были свойственны буржуазно-либеральной историографии, начиная с В.Я. Богучарского или А.А. Корнилова.

В некоторых работах развитие политического террора объясняется и неуклонным падением авторитета самодержавной власти. Причем называются самые разные причины такого падения: и негибкость внутреннего курса, и семейные неурядицы Александра II, и неудачи во внешней политике. Б. Пейрс, например, утверждал, что усилению «экстремизма» содействовал провал царской дипломатии на Берлинском конгрессе¹⁵². Ф. Рэнделл также считал, что террористическая тактика выросла в обстановке глубокого разочарования, охватившего русское общество вскоре после окончания войны с Турцией¹⁵³. Упоминая о всевозможных частностях, буржуазные исследователи уходят от анализа коренных социально-экономических причин нараставшего кризиса во внутренней политике царизма, от выяснения исторических закономерностей классовой борьбы, вызвавшей вторую революционную ситуацию в России.

В последние десятилетия среди историков и политиков Запада имели место попытки представить русских народовольцев в качестве прямых предшественников современных террористов. В работах ряда политологов и российеведов выдвигаются абсурдные утверждения об исторической ответственности «Народной воли» за вандализм пресловутых «красных бригад» и им подобных экстремистов. Такие суждения свидетельствуют о готовности многих буржуазных авторов к прямой политизации исторической науки¹⁵⁴. Терроризм объявляется наиболее существенным проявлением российской революцион-

йости. Его происхождение, утверждал У. Лакер, невозможно объяснить только репрессивной политикой царизма, гораздо важнее то, что русские революционеры увидели в террористических акциях и наиболее эффективный путь к достижению своих целей¹⁵⁵.

Однако «Народная воля» никогда не являлась группой террористов, для которых совершение покушений было единственным занятием. Как в программных документах народовольцев, так и в их практической деятельности террору отводилась роль одного из средств борьбы, призванных облегчить выполнение основной задачи – организации политического переворота. Великой исторической заслугой народовольцев В.И. Ленин считал их стремление «привлечь к своей организации *всех* народовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием»¹⁵⁶.

Русским народникам террор был навязан царским правительством: покушения на официальных лиц были ответом на жестокие полицейские гонения и смертные казни. На то, что террор в России был средством революционной самозащиты, указывал Ф. Энгельс. «Агенты правительства, – писал он в марте 1879 г., – творят там невероятные жестокости. Против таких кровожадных зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пуль. Политическое убийство в России единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима»¹⁵⁷. О вынужденном характере народовольческого террора говорил К. Маркс. Он резко противопоставлял русских революционеров как «простых, деловитых и героических людей» немецкому анархисту И. Мосту и «другим ребячливым крикунам», проповедовавшим цареубийство как «теорию» и «панацею». Народовольцы, писал Маркс, стремятся убедить Европу, что их способ действия «является специфически русским, исторически неизбежным способом действия, по поводу которого так же мало следует морализовать – за или против, как по поводу землетрясения на Хиосе...»¹⁵⁸.

Народовольцы и сами не раз подчеркивали, что их метод борьбы имеет оправдание только в условиях политического деспотизма. В шестом номере «Народной воли» от 23 октября 1881 г. Исполнительный комитет выступил с энергичным протестом против убийства президента США Д. Гарфильда, павшего от руки анархиста Ш. Гито. «В стране, – заявлял ИК, – где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, где свободная народная воля определяет не только закон, но и личность правителей, в такой стране политическое убийство как средство борьбы есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия»¹⁵⁹.

Никакой пресмысльности между борьбой «Народной воли» и итальянскими «красными бригадами», западногерманской группой РАФ или турецкими «серыми волками» не было и быть не может. Дух вандализма, звериной жестокости и политического бессмыслия был абсолютно чужд русским революционерам. С не меньшим основанием А. Улам или Р. Пайпс могли бы поискать традиции терроризма в самих Соединенных Штатах, великий президент которых А. Линкольн пал от руки убийцы почти за два десятка лет до первомартовского покушения в России.

Можно ли говорить о том, что народовольцы преувеличивали значение террора? Да, безусловно. Правда, большинство из них отвергло крайнюю точку зрения Н.А. Морозова, Г.Г. Романенко и Г.Д. Гольденберга, настаивавших на универсальности борьбы «по методу Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ»*. Тем не менее факт остается фактом: подготовка покушений поглощала значительные силы Исполнительного комитета.

Превращение террора в орудие политической борьбы было следствием слабости тех социальных сил, которые поддерживали революционное движение. Тактика террора и политического заговора являлась неизбежным спутником интеллигентской революционности, завершающим аккордом ее развития. «В 70-х и 80-х годах, — писал В.И. Ленин, — когда идея захвата власти культивировалась народовольцами, они представляли из себя группу интеллигентов, а на деле сколько-нибудь широкого, действительно массового революционного движения не было. Захват власти был пожеланием или фразой горсточки интеллигентов, а не неизбежным дальнейшим шагом развивающегося уже массового движения»¹⁶⁰.

Полная драматизма деятельность народовольцев вскрыла бесперспективность тактики террора и политического заговора. С выходом на историческую арену революционного пролетариата освободительное движение в России стало наконец на твердую почву и уверенно пошло к победе. На смену интеллигентской революционности пришла качественно новая революционность рабочего класса, решительно разорвавшая с традициями заговорщичества и террора. Социал-демократы, подчеркивал В.И. Ленин, в присущей народовольцам «узости воззрений неповинны; в заговоры они не верят; думают, что время заговоров давно миновало, что сводить политическую борьбу к заговору значит непомерно ее суживать, с одной стороны, а с другой — выбирать самые неудачные приемы борьбы»¹⁶¹.

Российским большевикам-ленинцам не приходилось краснеть

* В своей речи на процессе первомартовцев А.И. Желябов заявил о решительном несогласии партии с узкой позицией Морозова и Гольденберга, полагавших, что вся их «задача состоит в расчищении пути через частные политические убийства» (Революционное народничество 70-х годов XIX века. Т. II. М.; Л., 1965. С. 254).

за своих предшественников-народовольцев. Героизм и благородство помыслов деятелей «Народной воли» не отрицают и добросовестные западные исследователи, в частности Ф. Вентури, Е. Ламперт. Народовольцы сумели накопить богатый и разнообразный опыт организации революционных сил с целью осуществления политического переворота. Яркий след в истории освободительного движения оставила деятельность военной организации народовольцев, стоявшей в стороне от террора. Большое значение имела народовольческая пропаганда среди рабочих и студенческой молодежи. Игнорировать многообразие форм деятельности народовольцев, сводить ее к одному – только террору – значит преднамеренно или по незнанию искажать характер российского революционного процесса, сводить до примитивного уровня смысл того мучительного поиска путей освободительной борьбы, каким была отмечена история русской демократической интеллигенции.

К сожалению, во многих работах английских и американских авторов история практической деятельности революционных народников освещается с грубыми ошибками. Факты подчас излагаются крайне поверхностно, без какого-либо документального подтверждения. Ощущается очевидный недостаток источниковой основы многих исследований.

Важной задачей исторической науки всегда было и остается выяснение места революционного народничества в российском освободительном движении, его роли как предшественника социал-демократии. В работах советских историков основательно раскрыта политическая несостоенность отождествлений ленинизма с народничеством, доказан антинаучный смысл распространенных в западной историографии аналогий¹⁶². Для создания всевозможных параллелей необходимо препарировать историю исходного момента, в данном случае народничества 1870-х – начала 1880-х годов. Теоретические возможности для своих сопоставлений буржуазные исследователи изыскивают в представлениях об интеллигентской природе российского революционного движения. Они расценивают русский марксизм и народничество как явления социально родственные, как разнонаправленные проявления интеллигентской оппозиционности. Показательна в этом отношении книга Н. Неймарка, рассматривавшего народничество, народовольчество и марксизм лишь в качестве идейного инструментария революционной интеллигенции¹⁶³.

Стремление современных буржуазных историков показать, что большевизм вышел из традиций революционного народничества, является отрицанием историзма и исходит из субъективистского, метафизического метода исторических исследований¹⁶⁴. Западные исследователи бросают порой встречный упрек советской историографии по поводу неразрешенности в ней некоторых спорных вопросов истории революционного движения разночинцев. Действительно, в советской литературе, посвященной истории революционно-демократического движения 1860–

1880 гг., сохраняется немало дискуссионных и слабо разработанных вопросов. Остался, в частности, незавершенным спор о внутренней периодизации разночинского этапа, в ходе которого выявились разные оценки развития революционного народничества¹⁶⁵. Само по себе наличие спорных вопросов не может, конечно, свидетельствовать о слабости позиций советских исследователей; дискуссии, если они носят творческий характер, являются важным стимулом развития научных исследований. Надо признать, однако, что некоторые споры (например, о времени оформления «классического» народничества, о характере его эволюции, об историческом месте народовольчества) приняли излишне затяжной и даже застойный характер. Эффективным ответом буржуазным концепциям может быть лишь плодотворная научная разработка всех ключевых проблем истории революционного народничества.

Глава 5

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ В ОСВЕЩЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Основные усилия современных буржуазных исследователей российского общественного движения 60–80-х годов XIX в. направлены на освещение борьбы революционной демократии. Октябрьская революция обусловила повышенный интерес буржуазных авторов к историческим предшественникам революционного пролетариата. Необходимо также отметить устойчивое и, что более важно, растущее внимание западной историографии к ранней истории российского либерализма.

Либеральный лагерь в России формировался и рос под знаком все более обострявшейся борьбы с революционной демократией за инициативу в проведении социальных и политических преобразований. Являясь оппозиционной силой по отношению к самодержавно-крепостническому режиму, либералы в то же время решительно отвергали революционные методы борьбы с ним.

Интерес буржуазных идеологов к российскому либерализму продиктован в первую очередь стремлением ответить на вопрос о существовании в России альтернативы революции и возможности мирного перехода на путь постепенной модернизации старого строя. Изучение либерального движения, заявлял Г. Фишер, дает возможность, во-первых, выяснить, был ли у России шанс избежать революционных потрясений, во-вторых, глубже понять степень различий в политическом развитии России и Запада и, в-третьих, уяснить смысл социальных процессов, протекавших в странах Азии, Африки и Латинской Америки¹.

Признание важности проблем истории российского либерализма не всегда сопровождается, однако, реальными успехами в их изучении. В англо-американской историографии едва ли можно найти вопросы более запутанные, чем вопросы либерального движения в России.

1. Об особенностях и платформе российского либерализма 1860–1880-х годов

Российский либерализм в понимании буржуазных историков – явление внеклассовое, его носители объявляются поборниками альтруистически-гуманных идей мирного прогресса в направлении к достижению социальных ценностей, уже завоеванных западным обществом. Истоки либерализма в России большинство английских и американских исследователей усмат-

риает в неуклонном развитии духовной «вестернизации» страны. Либерализм, утверждал Р.Пайпс, возник в России под влиянием Запада и стал выражением стремлений преодолеть социально-политическую отсталость русского общества². Попавшие под воздействие идей западных идеологов социальные слои изображаются естественными противниками «старого режима». Различия же внутри российского просвещенного общества объясняются самыми разными причинами (отличиями темперамента, социального происхождения и т.п.). История пореформенной России, писал Дж. Уолкин, являла собой пример столкновения централизованного государства с «вестернизированным» обществом. При всем своем могуществе самодержавие не могло предотвратить рост влияния Запада, поэтому и либерализм находил все более благоприятную почву в среде «просвещенных классов»³. 60-е и 70-е годы XIX в., заявлял Э. Кренкшоу, ознаменовались усилившимся отчуждением образованного общества⁴. Либерализм и социализм представлялись этому российеведу соответственно умеренным и «максималистским» течениями «одного широкого движения против старого режима».

Представление о русских либералах как о поборниках мирной европеизации России чрезвычайно распространено в англо-американской историографии. Западные исследователи, замечал Д. Фильд, склонны называть либералами всех, кто стремился добиться социально-политических изменений с помощью нереволюционных средств. Но такой подход, считал он, страдает неопределенностью и не раскрывает существа реального политического течения в пореформенном русском обществе⁵. Уточняя специфику либерального движения, буржуазные авторы чаще всего исходят из представлений об исключительности исторического процесса в России.

Во многих работах зарубежных исследователей проводится мысль о существенном отличии российского либерализма от либеральных течений буржуазного Запада. Исследование русской либеральной традиции, подчеркивал Д. Тредгольд, не будет иметь успеха, если оценивать ее по меркам западного либерализма, ведущим требованием которого являлось достижение максимума личных свобод и минимума государственного вмешательства⁶. Это мнение разделял и Е. Ламперт. Если на Западе, писал он, либеральные течения были направлены на ограждение прав личности от вмешательства государства, то русский либерализм никогда не бросал вызова власти. В сознании русских людей, указывал Ламперт, слишком укоренилась убежденность в творческой силе государственной власти. Поэтому русский либерализм не столько отстаивал права личности, сколько стремился к видоизменению государственного строя⁷. Все русские либералы, считал Д. Фильд, были твердо убеждены в том, что только государственная власть может служить орудием прогресса. Вот почему многие из них отрицательно относились к борьбе за конституционные учреждения

и за введение экономического принципа *laisser faire, laisser passé* (не мешайте действовать)⁸.

Вопрос о специфике российского либерализма поднимал и Дж. Фишер. По его мнению, либерализм западного типа следовало отличать от реформистских течений отставших в своем развитии стран, в том числе и России. Только в странах Северной Атлантики, заявлял Фишер, сложился либерализм в его классической форме: личные свободы здесь стали такой же обыденной стороной жизни, как право частной собственности и уважение к закону. Оппозиционный же либерализм в России отличался слабостью и непоследовательностью, проявляясь либо в «малых делах», либо в «безумных мечтаниях»⁹. Разделяя такую оценку, Т. Андерсон подчеркивал, что западноевропейский либерализм в пору своего становления отличался гораздо более решительным духом, чем его младший российский собрат. Русские либералы, писал он, начали действовать в ту пору, когда либерализм на Западе уже достиг своих основных целей и превратился в умеренную идеологию «среднего класса», факел радикализма к середине XIX в. перешел в руки социалистов, а либералы «оказались по другую сторону баррикад»¹⁰. Поскольку же русская политическая мысль, по Андерсону, всегда развивалась в зависимости от западноевропейских теорий, постольку и либерализм в России сложился под влиянием поздних доктрин победившей буржуазии Запада.

Зарубежные буржуазные историки, глубоко симпатизирующие реформистским устремлениям русских либералов, предпочитают характеризовать их как носителей общечеловеческих, вечных ценностей, как поборников прогресса, равно заинтересованных в улучшении положения всех слоев общества. Проходя мимо самого существенного в либерализме — его классового содержания, — они дают расплывчатые, крайне неопределенные толкования. Не случайно Д. Балмут, отметив произвольный характер принятых в буржуазной литературе оценок, призывает включить в понятие «либерализм» не только деятелей реформистской оппозиции, но и «просвещенных бюрократов» и даже аристократов, стремившихся ограничить самодержавие¹¹. Как справедливо отметили П.Н. Зырянов и В.В. Шелохаев, тезис о «внеклассовом» характере русского либерализма являлся лейтмотивом всей кадетской публицистики и мемуарной литературы, «который был подхвачен и развит буржуазной английской и американской историографией»¹².

Итак, все формы общественной оппозиции в России буржуазные исследователи объявляют следствием усилившейся «вестернизации». Но если революционность выводится из интеллигентской среды, то либерализм обычно связывается с положением и запросами пореформенного дворянства. Так, американский историк Т. Эмmons в одном из своих трудов настойчиво проводил мысль о том, что после 1861 г. дворянство стало естественным противником бюрократии, которая в свою очередь была главной опорой и инструментом внутренней поли-

тики царизма. Большинство землевладельцев, утверждал автор, «осознало, что возможности, заложенные в Жалованной грамоте дворянству, оказались исчерпанными вместе с крепостным правом, что сохранение классовой исключительности могло бы привести только к социальной и политической изоляции сословия перед лицом растущей бюрократии и что наилучшим выходом для дворян является стремление добиться политического влияния на основе классического либерального принципа частной собственности»¹³.

Как заметил один из рецензентов книги Эммонса, ее основное назначение заключается «в реабилитации дворянства от обвинения в том, что оно стремилось к установлению олигархического правления»¹⁴. Суть воззрений Эммонса заключается не в простой идеализации политического поведения русских дворян. Автор прежде всего не согласен с оценкой русского либерализма как объективно буржуазного течения. Возникновение либерализма, по его мнению, нельзя связывать с ростом капиталистических отношений в России, ибо либеральные взгляды в дворянской среде развились главным образом под влиянием европейской мысли. Автор полностью согласился с П.Н. Милюковым, который в свое время заявил, что русский либерализм был «интеллигентским» и представлял не классовую точку зрения, а все общественное мнение в целом¹⁵.

Несколько конкретизировал такой подход Дж. Фишер, писавший, что вплоть до конца XIX в. основными приверженцами либерализма были дворяне. Русские землевладельцы, считал он, были лишены деловых качеств, необходимых для капиталистического ведения хозяйства, и не могли противостоять аграрным кризисам. Кроме того, они сильно страдали от правительственнои политики поощрения индустриализации. Дж. Фишер отмечал, что оппозиционность дворянского либерализма была направлена не против самодержавия, с сохранением которого на протяжении многих веков помещики связывали все свои привилегии, а против бюрократии, обвинявшейся в конкретных бедствиях переживаемой эпохи¹⁶. О том, что главной причиной дворянского недовольства являлась неспособность правительства справиться с хроническим аграрным кризисом, писал и Дж. Гамбург. По его мнению, дворян особенно возмущало то, что основное внимание властей направлялось на развитие промышленности, а не на оказание помощи аграрному сектору экономики¹⁷.

Конкретные причины дворянско-либеральной оппозиции английские и американские авторы видят прежде всего в политическом курсе самодержавия, в том бюрократическом пренебрежении мнением дворянства, которое особенно проявилось в годы подготовки и проведения крестьянской реформы. Вот почему, с их точки зрения, преобразования, цель которых заключалась в упрочении государства, вызвали как раз обратное – развитие оппозиционных настроений в дворянстве и революционности в среде интеллигенции. Именно реформы, заяв-

ляла Д. Харди, разделили прогрессивную часть русского общества на либералов и радикалов, причем первые стремились к развитию программы преобразований, а вторые отвергали всякие компромиссы и настаивали на всеобъемлющей революции¹⁸.

Определяющим для буржуазных историков является стремление рассматривать либерализм вне связи с интересами капиталистического развития России. Платформа российского либерализма излагается в соответствии с общим подходом того или иного исследователя к данной теме. По мнению Эммонса, например, практическая программа и политические цели либерализма начали определяться еще до отмены крепостного права в дворянских губернских комитетах, вступивших в 1858–1859 гг. в конфронтацию с администрацией. С наибольшей полнотой, отмечал Эммонс, требования либералов были сформулированы тверским дворянством. «Русские либералы, — считал он, — после 1861 г. повернули от борьбы за имущественные интересы к борьбе за политические права, от программы превращения самодержавия в правовое государство (*Rechtstadt liberalism*) к конституционным требованиям». Эммонс стремился доказать, что в период отмены крепостного права либеральная программа выражала по сути дела стремления всех оппозиционных сил России. Прокламации и адреса 1861–1862 гг., замечал он, выдвигали общие требования независимо от того, где они формулировались: в дворянских собраниях Твери или Москвы, в лондонском центре вольной русской прессы или в тайной типографии Петербурга. Все оппозиционные выступления (за исключением «Молодой России»), по мнению российсведа, были направлены на завершение крестьянского освобождения, на установление равенства всех классов перед законом, на введение гражданских свобод, независимого суда, представительного правления и местного самоуправления. Это и есть, по Эммонсу, программа либерализации русской жизни¹⁹.

Легко заметить неоригинальный характер такой «широкой» интерпретации либеральной платформы. К выхолащиванию революционно-демократических требований систематически прибегали русские буржуазные историки конца XIX – начала XX в. Примером тому служат высказывания А.А. Корнилова о якобы имевшем место единодушии передовых общественных сил России в канун «великих реформ»²⁰. Отечественная либеральная историография настойчиво развивала тезис о принципиальном единстве прогрессивного общества пореформенной России.

Концепция Эммонса неубедительна и в оценке характера развернувшейся на рубеже 50–60-х годов XIX в. общественно-политической борьбы, расстановки классовых сил в стране. Ее создатель стремился изобразить либеральное дворянство в качестве основной силы, боровшейся за социальный прогресс России. Очевидная несостоительность этого тезиса отмечена даже в англо-американской историографии. Далеко не все буржуазные историки склонны к защите политических амбиций рус-

ского дворянства. Так, А. Гершенкron резонно замечал, что характер требований дворян определялся прежде всего их экономическими интересами, а не желанием благодетельствовать остальные слои русского общества. В частности, высказывание дворян нечерноземной зоны об обязательном выкупе крестьянских наделов было обусловлено их опасениями потерять доходы в случае замедленной реализации реформы. Рассматривая различия в позиции Эммонса и Гершенкrona, Д.Балмут отметил, что аргументация последнего выглядит явно убедительней²¹.

Вызывает возражения и свойственная работе Эммонса нивелировка общественно-политической оппозиции в пореформенной России. Д.Фильд, например, считал, что о политическом единстве передовых слоев русского общества можно говорить лишь применительно к 30–40-м годам XIX в. Но в пореформенное время положение круто изменилось. Между революционной (радикальной, по выражению Д.Фильда) и либеральной частями общества возник глубокий водораздел. Совершенно нереалистичной выглядит позиция тех деятелей, которые продолжали оставаться во власти настроений 40-х годов и стремились к соединению уже несоединимого, писал Фильд, а потому «кавелинские попытки объединить и мобилизовать образованное общество, перенеся привычки 1840-х годов в политическую жизнь эпохи реформ, противоречили процессу социально-политического размежевания»²². Автор фиксировал внимание читателя на неоднородности либеральных позиций в пореформенной России. Он подчеркивал, что расчеты на союз с самодержавием были характерны для умеренного большинства либеральных деятелей.

Монархизм основной массы русских либералов отмечают многие авторы. Н.Персира, например, считал, что последователи умеренных реформ в России не верили в политическую зрелость народа и боялись, что «демократическая риторика» может спровоцировать крестьянские бунты. Русские либералы полагали, что разговоры о демократии уместны в Англии, в России же они могут вызвать самые ужасные последствия. Вот почему, подчеркивал Персира, они не могли представить развития страны без направляющей воли самодержавия²³. Л.Хаймсон антиконституционные идеи многих русских либералов объяснял укоренившимся в их сознании «идеей авторитаризма». Представление о сильной центральной власти, уверял он, слишком глубоко вошло в политическое мышление русских людей²⁴.

Существенные различия между русскими либералами отмечены и в книге Дж.Фишера. Большинство, писал автор, представляло собой аморфную группу деятелей, веривших в успех эволюционного пути под руководством самого правительства. К правому крылу Фишер относил последователей славянофильских идей (например, А.И. Кошелева, а на рубеже XIX и XX вв.– Д.Н. Шипова), которые настаивали на расширении земской деятельности в рамках самодержавного строя, в частности на создании Земского собора и устранении внесения бюрократов.

Левое же крыло, по оценке автора, было представлено немногочисленными конституционалистами, либералами-максималистами. Как подчеркивал Фишер, в пореформенную эпоху эта группа была наиболее слабой, но с 1890-х годов имело к ней перешло лидерство в либеральном движении²⁵.

Как видим, современные буржуазные авторы охотно отмечают ущербность политической платформы российского реформизма, его отличие от «настоящего», полнокровного либерализма стран капиталистического Запада. Делается это главным образом для того, чтобы ограничить историческое значение российских революций, объяснить их успех слабостью либеральной традиции в общественном движении страны.

Марксистская наука исходит из того, что в самом существенном российский либерализм не отличался от западного: и тот и другой являлись течениями, выражавшими классовые интересы буржуазии. Это родство с западным либерализмом хорошо понимали русские сторонники буржуазного реформизма. Еще в 1875 г. журнал «Вестник Европы» заявил, что стремления либералов в сущности одни и те же: «...либерал повсюду добивается и свободы печати, и независимого суда, и свободы совести, и земского самоуправления»²⁶. При этом всегда и wszde либералы настаивали на упрочении самой важной, с их точки зрения, свободы – свободы владеть и распоряжаться частной собственностью. Без этого, с точки зрения либералов, вообще не может быть решена проблема гражданских прав.

Разумеется, российские поборники умеренного прогресса не были вполне похожими ни на своих предшественников, ни на современных им западных либералов. Последние либеральные идеи эпохи ранних буржуазных революций на Западе вели борьбу со старым строем от имени всего народа и еще не опасались энергии трудящихся масс. Русский же либерализм с самого начала носил гораздо более ограниченный характер. Опыт истории учил идеологов буржуазии осторожности, они уже почувствовали, какая сокрушительная энергия таится в развивающейся борьбе угнетенных классов. В середине XIX в. либерализм стремился уже не только к модернизации существовавших порядков, но и к поиску эффективных средств отвлечения масс от революции.

Следует отметить, что англо-американские историки строят свои концепции на действительном историческом факте: российский либерализм в пореформенное время развивался преимущественно в дворянской среде. Сложилась парадоксальная на первый взгляд ситуация: представители дворянства встали в оппозицию к политике, основной чертой которой являлось сохранение экономических и политических привилегий их класса.

Объяснение такой ситуации следует, конечно, искать не во взрывной силе гуманистических идей Запада и не в альтруизме дворян, загоревшихся якобы желанием обеспечить прогресс своей страны. После поражения в Крымской войне правящие круги России осознали чрезвычайную опасность сохранения

крепостничества; страна во второй половине 50-х годов XIX в. оказалась на грани национальной катастрофы. Кризис феодально-крепостнической системы принял такие грозные очертания, что призрак новой пугачевщины в сочетании с экономическим и висшнеполитическим крахом не мог не побудить царское правительство начать практическую подготовку реформирования социально-политических отношений в стране.

Хорошо известно, однако, что самодержавие не встретило на этом пути сколько-нибудь активной поддержки дворянских кругов. Развернувшаяся со второй половины 1850-х годов либерально-публицистическая деятельность охватывала относительно немногочисленный круг дворянской интеллигенции и отнюдь не выражала стремлений основной массы помещиков. Большинство дворян страшилось последствий утраты своей монопольной власти над крестьянами и не без оснований тревожилось за свое будущее в условиях развития товарно-денежных отношений. Сообщая В.П. Боткину об отношении дворянства к правительенным реформам, Л.Н. Толстой в письме от 4 января 1858 г. писал, что среди помещиков «противников освобождения 90 из 100»²⁷. Это свидетельство полностью подтверждается данными по губерниям о числе дворян, согласившихся на «улучшение быта» своих крестьян²⁸.

Подобную оппозицию нельзя, конечно, отождествлять с либерализмом. Политически близоруко и косное дворянство не обладало достаточным кругозором для понимания потребностей собственного дворянского государства. Оппозиция пореформенного дворянства была прежде всего эгоистической, узко-сословной²⁹. Навязываемые им преобразования помещики зачастую расценивали как произвол бюрократов. В кругах реакционного дворянства возникали планы ограничения администрации олигархическими представительными учреждениями. На это был направлен, в частности, проект государственного преобразования, изложенный в известной записке М.А. Безобразова. Идеализировать, пересоценивать политическую роль российских помещиков нет никаких оснований. Лишь крайне незначительная часть дворянства разделяла либеральные взгляды. А если говорить точнее, то носителями либеральных идей были, во-первых, дворянские публицисты, литераторы, вообще дворянские интеллигенты, остальные других сознававшие причины отсталости России, во-вторых, немногие помещики, начинавшие понимать необходимость перестройки экономических отношений на капиталистических принципах³⁰. Появление таких «обуржуазившихся» дворян свидетельствовало о начавшемся расслаблении самого господствующего класса, что было явным симптомом глубокого кризиса феодализма.

Особенность России заключалась в том, что во времена отмены крепостного права в ней не возникло «третьего сословия», т.е. политически активной и развитой буржуазии. Поэтому не имевший массовой опоры дворянский либерализм был гораздо менее сильным и действенным, чем ранний либерализм

буржуазных стран Запада. Российский либерализм был начисто лишен того социального оптимизма и той классовой уверенности, с которыми в конце XVIII в. выступали английские и французские буржуазные просветители или сторонники Т. Джейфферсона и Дж. Вашингтона в Северо-Американских штатах. Либеральные представители дворянского сословия, утратившего к середине XIX в. исторические перспективы, в массе своей отличались непоследовательностью и были крайне робки в оппозиции³¹. Положение, при котором интересы умеренно-буржуазного развития отстаивали либералы-дворяне, объяснялось не тем, что верхние слои русского общества оказались в плесне идейной «вестернизации», а тем, что буржуазные по своей сути преобразования осуществлялись в стране тогда, когда слишком сильно еще был груз крепостничества, «азиатчины» и «татарщины»³².

Конечно, возникновению либерального движения способствовало и развитие просвещения, наличие сословных организаций, привычка дворян к созданию своих корпоративных учреждений. «Самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс — дворянство, — писал В.И. Ленин, — обнаружил с полной определенностью стремление ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений»³³. О том, что только дворяне располагали возможностями для более или менее организованной политической деятельности, писал и Н.Г. Чернышевский. Дворянство, отмечал он, выступило с заявлением своих требований «даже не потому, чтобы в нем сильно были эти желания, чем в других сословиях, а единственно потому, что оно одно имеет при нынешнем порядке организацию, дающую возможность выражать желания»³⁴. Но подлинные истоки российского либерализма следуют искать в развитии капиталистических отношений, в тех качественных изменениях в состоянии производительных сил страны, которые в конце концов привели к осознанию неотложной необходимости изменить общественные отношения. Поскольку развитие России в ту эпоху могло идти только в направлении к капитализму, поскольку либеральная оппозиция по своему социальному смыслу могла быть только буржуазной. Отрицая это, буржуазные исследователи отказывают России в самостоятельности политического и экономического развития, оценивают историю нашей страны как историю особой цивилизации, стоявшей якобы на качественно более низкой стадии в сравнении с цивилизацией «европейской» или «североатлантической».

Показательно, что, констатируя факт преобладания дворян в либеральном движении, буржуазные историки не дали удовлетворительного объяснения такой ситуации и ограничились мало что говорящими ссылками на бескорыстные настроения, высокие помыслы, заботу о прогрессе страны и иные благородные устремления, охватившие якобы просвещенную часть российского дворянства. Как и русские буржуазные авторы, за-

падные историки охотно говорят о том, что либералы выразили «общенациональные», «надклассовые» интересы и потому заслуживают гораздо более высокой оценки, чем «узкие доктрины» из лагеря революционной демократии.

Современные буржуазные исследователи не дают объективного решения вопроса о соотношении революционно-демократической и либеральной платформ. И та и другая, с их точки зрения, представляли собой лишь разные формы оппозиционности «востернанизированных» слоев русского общества. Но глубокая вражда либералов к представителям революционного лагеря была обусловлена не различием в темпераментах или иными субъективными качествами людей из «образованных классов» России. В ней в конечном счете отразилась непримиримость интересов крепнувшей буржуазии и трудящихся масс. Рост политических притязаний буржуазии проходил в обстановке, когда в роли идеологов угнетенных классов выступила революционная демократия, вооруженная идеями социализма. Общественно-политическая ситуация в преформской России сложилась таким образом, что революционная борьба против царизма непременно соединялась с социализмом. «Не быть для русского социалистом, — вспоминал П.Ф. Николаев, — значит не быть и революционером. В этом лежит характерное отличие истории современной России от истории Европы»³⁵.

Такое своеобразие не было, конечно, случайным. Русская буржуазия не могла играть активной роли в освободительной борьбе. Революционная демократия хорошо уяснила ту непреложную истину, что подлинная ликвидация политического беспредела трудящихся невозможна без осуществления социалистических преобразований. «Либералы 1860-х годов и Чернышевский, — подчеркивал В.И. Ленин, — суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»³⁶.

Однако за общей антиреволюционностью либерализма нельзя не видеть определенные прогрессивные стороны его программы. Особенно наглядно они проявились в деятельности «левых» либералов (А.М. Унковского, И.И. Петрункевича и др.), способных порою идти на сближение с революционерами. Как отмечал видный народоволец Н.А. Морозов, «все они сочувствовали исключительно политической (а не социальной) части нашей деятельности и были готовы помогать нам лишь постольку, поскольку мы способствовали расшатыванию абсолютизма в России»³⁷.

Утверждения некоторых буржуазных историков (А. Улама, А. Глисона и др.) о том, что русское либеральное общество втайне сочувствовало революционерам и этим якобы обесценивало правительство, представляют собой явное преувеличение. Но несомненно, что в периоды обострения внутренней обстановки неоднородность в среде либерального лагеря проявлялась весьма отчетливо. Если умеренно большинство неизменно

поддерживало репрессии против революционеров, то «левым» либералам грубые полицейские гонения казались неприемлемыми. В обстановке нарастания второй революционной ситуации большинство либералов заявило о готовности помочь правительству в искоренении революционной «крамолы». Но И.И. Петрункевич и его сторонники выступали с утверждениями о бесполезности примирения только репрессий в борьбе против демократических идей. Земства, заявившие о безусловной поддержке правительственного курса, считал И.И. Петрункевич, встали на ложный путь. «Какие конституционные блага мы посулим русскому народу, — спрашивал он, — когда наперед обяжемся душить идеи и истреблять людей, ими живущих?»³⁸.

Как известно, в конце 1878 г. Петрункевич и его друзья пошли на контакт с революционерами, вставшими на путь открытой политической борьбы с царизмом. Но делалось это не для создания либерально-революционного союза, а для подчинения освободительного движения либеральной тактике. Не активизировать, а остановить борьбу призывали либералы революционеров, обещая взамен усилить всевозможные ходатайства³⁹. Однако из этих попыток ничего не вышло. Иллюзорность расчетов либералов на силу пестиций была слишком очевидной.

2. Англо-американская историография о причинах слабости российского либерализма 60–80-х годов XIX в.

Вопрос о причинах политического бессилия российского либерализма занимает одно из центральных мест в буржуазных исследованиях общественного движения капиталистической России.

Разумеется, подавляющее большинство английских и американских авторов сочувственно пишет о русском либерализме. Либералы характеризуются как поборники политики, основанной на началах разума и трезвого расчета. И все же, по общему мнению западных историков, либерализм в России влакил незавидное существование и не сумел стать лидером общественного движения. Причины столь печальной судьбы вызывают оживленный интерес у многих россиянцев.

Большая группа авторов пытается убедить читателей, что общественная жизнь России представляла собой явно неподходящую почву для развития политического реформизма. При этом развитие нашей страны решительно противопоставляется развитию капиталистического Запада. На протяжении всей своей истории, заявлял Т. Самуэли, «Россия всегда оставалась страной крайностей: абсолютная власть и тотальное подчинение, безграничный деспотизм и бесконтрольная анархия. Политическая истерпимость была основным принципом общественной жизни»⁴⁰. Аналогичные оценки часто встречаются в огромном

море английской и американской русистики. Политическая слабость российского либерализма объясняется отсталостью социального развития России по сравнению с капиталистической Европой. В русских условиях, считают многие авторы, либерализм имел слишком узкую социальную опору. Требования представительного общества, гражданских свобод и правильного судоустройства, писал Х. Ситон-Уотсон, находили в России очень ограниченный круг последователей. У русских людей не было развитого чувства законности, и само царское правительство должно было исполнять и не уважало собственных постановлений⁴¹. Авторы многих работ утверждают, что подобная ситуация типична для отсталых стран. Развитие России, по И. Рязановскому, было сходно с развитием других стран, вставших на путь модернизации из-за контактов с Западом⁴².

Основной недостаток общественного развития России английские и американские историки усматривают в отсутствии сильных промежуточных социальных слоев, в первую очередь буржуазии, которая часто именуется «средним классом». Русское либеральное движение, подчеркивал Дж. Майер, не имело под собой прочной экономической основы, столь важной для успеха реформизма на Западе⁴³. М.М. Карпович также уверял, что «трагедия» конституционного движения в России была предопределена отсутствием достаточно сильного и активного «среднего класса». Российский либерализм, лишенный соответствующей социальной базы, писал Карпович, не мог наладить правильного взаимодействия с враждовавшими лагерями и поэтому «потерпел неудачу в своих усилиях осуществить мирное преобразование общества»⁴⁴.

Подобные трактовки смыкаются с манихеистскими интерпретациями причин слабости буржуазного реформизма в России. Ф. Дан, например, считал, что главной причиной падения русской «демократии» явилось запоздалое вступление страны на путь капиталистического развития. Искусственно насаждаемая буржуазия не имела полюса притяжения для интеллигентуальных сил. Большинству русских общественных деятелей было свойственно неприятие буржуазного мира, буржуазной идеологии и морали. Революция в России (по логике Ф. Дана) явилась следствием слабости буржуазного развития, в противном случае перед страной открылись бы благоприятные возможности для «демократического» решения назревших проблем⁴⁵.

Со страниц современных буржуазных исследований Россия предстает страной идейных крайностей, политического экстремизма. Русский либерализм, заявлял У. Чемберлен, родился под несчастной звездой: примитивное мышление народных масс, традиционное всевластие царизма, слабость буржуазии резко ограничивали возможности для его развития⁴⁶.

К числу препятствий развитию либерализма буржуазные исследователи относят и особенности духовного облика русской интелигенции. Русским интеллигентам, считал Р. Хейр, было

присущие с почти религиозной верой искать ответы на «абсолютные» вопросы бытия. А это вело их к «авторитарным» пристрастиям и наклонностям⁴⁷. Об органической неспособности массы русских интеллигентов встать на реформистские позиции писал и Дж. Биллингтон. Само рождение интеллигентии, по его трактовке, свидетельствовало о начале «иконоборческой революции»⁴⁸.

Максимализм политического мышления объявляется зарубежными россисведами естественным следствием оторванности интеллигентов от народа и от практической общественной деятельности. Либералы же изображаются нестипичными представителями «вестернизированного» общества, сумевшими преодолеть «доктринерство» и «радикализм» интеллигентского мышления. На подобных интерпретациях сказывается, конечно, сильное влияние идей Н.А. Бердяева, усматривавшего в пренебрежительном отношении к умеренной политической деятельности «характерно русские мотивы», «русскую апокалиптику». «Очень важно отметить, что либеральные идеи были всегда слабы в России и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы моральный авторитет и вдохновение»⁴⁹. Авторы «Всех» в свое время тоже резко обрушились на «идейную узость» и «догматизм» русской интеллигентии. Слабость либеральных традиций в их трактовке выглядела как естественное следствие русской «некультурности»⁵⁰.

Такого рода рассуждения прежде всего направлены на доказательство исключительной самобытности русского революционного движения. «Без уяснения этого, — по словам И. Берлина, — вся позднейшая история России — не только интеллектуальная, но и социальная, экономическая и политическая — не может быть правильно понята»⁵¹.

Было бы, однако, ошибочным полагать, что все буржуазные историки пишут о принципиальной невозможности широкого развития либерализма в портфельной России. Во многих работах можно встретить сожаления по поводу несостоявшегося альянса самодержавия с либералами, что якобы и обусловило революционные потрясения в стране. Б. Пейрс, например, писал о «трагедии взаимного непонимания», которая привела правительство и интеллигенцию к растрате энергии в борьбе друг против друга, «вместо того, чтобы сотрудничать в общем деле вестернизации и просвещения темных масс русского народа»⁵². Основной упрек при этом адресуется царизму, оказавшемуся в столь ответственный момент не на высоте положения. Так, Я. Кухаржевский заявлял, что в условиях сохранившегося деспотизма в русском обществе не могли развиваться чувства политической ответственности и уважения к закону. А в результате немногочисленные «демократы» (читай, «либералы») оказались в стороне от «основной исторической дороги, по которой русская тройка устремилась в ближайшее будущее»⁵³.

Примерно так же рассуждал и Э. Кренкшоу. Еще барон

З. Герберштейн, писал он, не мог разрешить проблему: необузданность русского народа вынуждает его царей становиться тиранами или сам народ стал таким из-за деспотизма своих правителей? Многовековое господство самодержавной системы, по мнению Кренклоу, так деформировало русское общество, что обязанность повиноваться превратилась в потребность. Ошибка самодержавия, полагал он, заключалась в том, что оно так и не осознало необходимости развития в русском народе общественного самосознания и политической ответственности⁵⁴. Царизм, считают буржуазные авторы, стремился сохранить политическую пассивность русского общества, что не могло не сказаться на развитии «экстремистских» (т.е. революционных) настроений. Если, писал Д. Лэнг, считать справедливым утверждение, что каждая нация имеет такое правительство, какое она заслуживает, то русских следует признать народом-исудачником. «Абсолютизм, с одной стороны, и терроризм — с другой — вот что составляло лейтмотив русской политической истории», — заключал Лэнг⁵⁵. Образно говоря, заметил Дж. Мейнард, «русское общество напоминало аудиторию в театре, готовую посмеяться или поплакать над актерами, но даже не мечтавшую, что ей самой надлежит играть собственную роль на сцене»⁵⁶.

Жалобы на пониженный тонус общественной жизни были характерны и для русских либералов. В адрес Черниговского земства (1880 г.) говорилось, в частности, что российское общество не имеет гарантii в законе, не имеет правосознания, не имеет общественного мнения, «обуздывающего всякие личные, несогласные с общественными интересами стремления»⁵⁷. Либералы полагали, что это обстоятельство препятствовало их эффективному противодействию революционерам. Царское правительство они осуждали за непоследовательность, за нежелание довести до логического завершения программу реформ, что открыло бы перед Россией возможности «мирного» прогресса. Почва для революционного движения сужалась, таким образом, до исключительно политической сферы, до конкретной ситуации, сложившейся в России во второй половине XIX в.

Итак, буржуазное россисведчие не дает однозначного ответа на вопрос, была ли слабость российского либерализма безнадежной или у него имелись шансы встать во главе общественно-политического развития страны. По взглядам на эту проблему западные исследователи делятся на «пессимистов» и «оптимистов». С точки зрения первых, нельзя говорить о реальной альтернативе российскому революционному движению. Страна как бы роковым образом шла к невиданным по размаху и глубине революциям, а шансы либералов были безнадежны. На такой позиции стоят Т. Лауз, Л. Хаймсон, Дж. Биллингтон и др. Уточняя свою точку зрения, Т. Лауз заявлял, что русский либерализм был бесперспективен еще и потому, что он с самого начала был «антииндустриальным». В эпоху быстрого разви-

тия капитализма такое течение не могло рассчитывать на успех⁵⁸.

«Оптимисты» представляют собой гораздо более многочисленную группу авторов, считающих, что либерализм в России потерпел поражение лишь в силу конкретных причин, неправильного внутриполитического курса правительства, неудачных войн и т.п. Если бы, по их мнению, эти причины были своевременно устранены, либералы получили бы реальные шансы на политическое лидерство. Трагедия России, по Т. Ставроу, заключалась в неспособности царей установить сотрудничество с наиболее талантливыми деятелями оппозиционного лагеря⁵⁹. Об упущеных возможностях либеральной модернизации писали Дж. Фишер, С. Пушкарев, Я. Уолкин, Д. Тедгольд и многие другие. Теоретическим источником для них служили труды русских либералов, а также историков кадетского лагеря, в частности П.Н. Милюкова, А.А. Корнилова, М.М. Карповича, доказывавших случайный характер революционных событий в России и ставших на историческое невезение либералов.

Позиция «оптимистов», безусловно, больше импонирует буржуазным авторам. Перед лицом бурных освободительных процессов современности идеологи буржуазии гораздо больше заинтересованы доказать не «предопределенность», а случайность победы революции в России. Прозападные, либеральные пути «модернизации» развивающихся стран характеризуются как вполне реальные и наиболее желательные. «Когда мы оцениваем тот факт, — указывал А. Мендель, — что в Азии, Африке и Латинской Америке сегодня сложились такие же условия, какие, по оценке «пессимистов», сделали либеральный конституционализм невозможным в дореволюционной России, нам становится понятен весь потенциальный вред от такой ложной объективности»⁶⁰. «Оптимистическая» позиция в большей степени отвечает основному постулату буржуазной идеологии о «незыблемости» и «вечности» капиталистического строя, который изображается как равнозначный естественному состоянию человека⁶¹.

К «оптимистам» примыкают и те исследователи, которые объясняют слабость либералов их конкретными ошибками и просчетами в практической деятельности. Конечно, писал Т. Андерсон, развитию либерализма в России мешали безграмотность и патриархальные формы жизни основной массы ее населения. Но и самим либералам не хватило единства и целестремленности. Главная ошибка русских реформистов заключалась, по мнению этого автора, в том, что своих целей они рассчитывали достичь, ориентируясь только на самодержавную власть, а не на народные массы. «Либералы, — отмечал Т. Андерсон, — постоянно оставались в положении просителей, умолявших врага уступить, боявшихся, что увеличение требований может обидеть царя или бюрократию». Такое постоянное пресмыкателство, справедливо подчеркивал Т. Андерсон, не

могло не подрывать общественный авторитет либералов⁶², важной ошибкой которых было и то, что в момент отмены крепостного права они не добивались разрушения общины и создания широкого слоя мелких землевладельцев. В результате «психология крестьян осталась общинной, что не способствовало развитию индивидуализма». Кроме того, либералам не удалось преодолеть разобщенности своих рядов: между деятелями типа Б.Н. Чичерина или И.И. Петрункевича сохранились значительные расхождения. Все это привело к тому, по Андерсону, что в конце концов либералы остались без народной поддержки⁶³.

Об ущербности либеральных позиций писал и М. Рэф. Он, в частности, усматривал наивность в расчетах А.И. Кошелева на достижение гармонии интересов между различными группами сельского населения в условиях свободы личной инициативы и конкуренции. Либерал Кошелев, отмечал Рэф, был слишком высокого мнения о способности дворян приспособиться к новым социальным условиям, но «наиболее идиллическим было его представление о возможном сочетании самодержавия с гражданскими свободами». Такая платформа, по мнению автора, не могла иметь серьезного практического влияния на ход общественной жизни России⁶⁴.

Приведенные высказывания свидетельствуют, что «пессимисты» и «оптимисты» преследуют общую цель – отвергнуть закономерность российских революций, локализовать их историческое значение. Буржуазные историки не могут и не хотят признать, что коренная причина бессилия российского либерализма заключалась в несоответствии его платформы объективно нараставшим потребностям развития России.

Половинчатые реформы, о необходимости которых говорили либералы, не могли разрешить острых противоречий развития страны и обеспечить ее действительного продвижения по пути социального и политического прогресса. При этом самодержавный строй вполне обнаружил свою роль гигантского тормоза, а либералы продолжали заявлять о необходимости провести реформы «без потрясения общественного организма» и решительно отвергали мысль о свержении царизма⁶⁵.

Основная масса либералов отличалась политической дряблостью, готовностью подчиниться любым распоряжениям правительства. Так обстояло дело на рубеже 50–60-х годов XIX в. и в период второй революционной ситуации, т.е. даже в те времена, когда самодержавие испытывало существенные затруднения, переживало «кризис верхов», колебалось и шло на частичные уступки. Однако большинство либералов преобразований не требовало, оно их униженно просило и при малейшей опасности немедленно отступало. Российский либерализм оказался «неспособным к практическим действиям, к конструктивным шагам в борьбе с самодержавно-бюрократическим аппаратом власти»⁶⁶. Конечно, бессилие либерализма нельзя объяснить ошибками или недостатками мужества его последователей. Дело

не в отсутствии достойных людей, хотя состав либерального лагеря сам по себе симптоматичен. Слабость позиции либералов была обусловлена страхом буржуазных элементов перед грозным размахом классовой борьбы. Копившиеся в толщах народа силы социального протesta и нараставшая борьба революционной демократии пугали либералов, заставляли их искать у самодержавия защиты против выступлений трудящихся масс. В условиях резкого обострения противоречий в капиталистической России либералы могли быть только попутчиками, а не лидерами освободительного движения. Мужественным и твердым противникам самодержавного деспотизма нечего было делать в их рядах.

Либерализм, как буржуазное по своим целям движение, возник в России в условиях относительно слабо развитой социальной структуры. Во второй половине XIX в. русская буржуазия оставалась малокультурным и политически незрелым классом. Близость к бюрократии, грубые методы эксплуатации трудящихся, низкий уровень культуры и политического мышления не способствовали популярности буржуазии в кругах образованного общества. Русская буржуазия, справедливо отмечал К.Ф. Шацилло, вышедшая из крестьянского сословия, «не могла в один день уподобиться западноевропейскому буржуа, за плечами которого ко времени прихода его к власти уже была многовековая борьба с феодалом за городские вольности и цеховые права»⁶⁷. Отсутствие твердой социальной почвы под ногами в немалой степени способствовало духовной слабости либерализма, его нравственной несостоятельности перед лицом революционной демократии. Это обстоятельство отмечали и сами революционеры. По поводу политического бессилия либералов землевольцы 1870-х годов в «Прибавлении» к четвертому номеру своего органа писали: «Дело в том, что социалисты чувствуют под собой почву: они действуют во имя народных интересов, желаний, идеалов. За ними масса. Если же масса не поняла их сегодня, то поймет их завтра. При таких условиях можно требовать, как это делают социалисты. Но вы, господа, за кого стоите, чьи интересы желаете оградить?»⁶⁸

Узость социальной базы либерального движения мешала его энергии и целеустремленности и порождала постоянные колебания «между крепостниками и демократией». Отмечая этот факт, В.И. Ленин указывал: «...отсюда крайнее, почти невероятное бессилие либерализма во всех сколько-нибудь серьезных вопросах»⁶⁹. Это бессилие способствовало появлению у его идеологов наивных надежд на согласование интересов всех классов под умелым руководством самодержавной власти. Еще К.Д. Кавелин писал, что «интересы государства совершенно совпадают с пользами владельцев и крепостных». Очень важно, заявлял он, чтобы «права и интересы обеих сторон – помещиков и крепостных – были вполне сохранены и уважены»⁷⁰. Объективная цель таких действий заключалась в ограждении

экономических интересов господствовавших классов. Кавелин надеялся, что огромное большинство российского народа будет причастно «благу поземельной собственности. Этим мы заранее навсегда избавляемся от голодного пролетариата и неразрывно с ним связанных мечтательных теорий имущественного равенства, от непримиримой зависти и ненависти к высшим классам и от последнего их результата — социальной революции, самой страшной и неотвратимой из всех, потрясающей народный организм в самых его основаниях и во всяком случае гибельной для высших сословий»⁷¹. Буржуазия, подчеркивал В.И. Ленин, «боится демократии больше, чем реакции»⁷². Эта оценка также верна для пореформенного времени, как и для начала XX в.

От истоков своей истории российский либерализм противодействовал развитию революционно-демократического движения. Это подтасчивало силы либералов и вело их к фактическому разоружению перед самодержавной властью. В периоды подъемов революционной борьбы либералы изъявляли готовность содействовать властям. Вскоре после первомартовских событий 1881 г. Б.Н. Чичерин заявил: «Мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству, — мы не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть признает необходимым наше содействие»⁷³.

Слабость либерального движения проявилась и в широком распространении в нем политических утопий. Вопреки утверждениям буржуазных историков русским либералам менее всего была свойственна реалистическая оценка общественно-политической ситуации в стране. Либералы порой уверяли, что царизму некого и нечего бояться, что в его власти избрать любой курс внутренней политики. Правительству у нас никто не может помешать, провозглашали в 1855 г. К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин: «Бог, история покажут; а люди... русские люди все-таки бунтовать не станут, потому что некому, потому что нет у нас бунтовщиков»⁷⁴. История быстро развеяла эти иллюзии.

Но более всего политический утопизм русских либералов проявился в их расчетах добиться уступок без борьбы. Либералы всерьез надеялись «привить» самодержавному строю принципы правового государства, сохранить царизм и добиться гарантированных законом гражданских прав, гласности и политических свобод. «Как освобождение крестьян, по достославным словам покойного государя, должно было начаться сверху, чтобы оно не началось снизу, так и освобождение государства от административного произвола должно быть сделано верховной властью, чтобы оно не сделалось без нее и вопреки ее», — заявляли либералы⁷⁵.

Принционально отказываясь от борьбы с самодержавием, острие своей критики либералы направляли лишь против наиболее одиозных проявлений административного произвола, против всесилия и бесконтрольности бюрократии. По словам К.Д. Кавелина, Россия оказалась стесненной и опутанной «сановника-

ми и чиновниками, которые делают, что хотят»⁷⁶. Ограничение бюрократического произвола должно было, с точки зрения либералов, укрепить общественный строй без коренного изменения его основ.

На полную несостоятельность подобных расчетов неоднократно указывал В.И. Ленин. «Либеральная утопия, — писал он, — состоит в том, будто можно было бы, миром и ладом, никого не обижая, Пуришкевичей не смешая, без ожесточенной и до конца доведенной классовой борьбы, добиться сколько-нибудь серьезных улучшений в России, в ее политической свободе, в положении масс трудящегося народа. Это — утопия *мира* свободной России с Пуришкевичами»⁷⁷. Вырастают такие утопии на почве страха буржуазии перед движением масс. «Утопия либерализма, — подчеркивал В.И. Ленин, — есть утопия бессилия в деле политического освобождения России, утопия своекорыстного денежного мешка, который желает «мирно» поделить привилегии с Пуришкевичами, выдавая его благородное желание за теорию «мирной» победы русской демократии. Либеральная утопия есть мечтание о том, как бы победить Пуришкевичей, не нанося им поражения, как бы их сломить, не причиняя им боли. Ясно, что эта утопия вредна не только тем, что она — утопия, но и тем, что она *разрывает* демократическое сознание масс»⁷⁸. Называть либеральные ходатайства борьбой с самодержавием — «значит ослаблять и без того бесконечно слабое в русском обывателе сознание своей ответственности, как гражданина, за *есе*, что делает правительство»⁷⁹.

Задача свержения самодержавия стала в пореформенную эпоху исторически неотложной. А многие либералы вплоть до конца XIX в. уверяли, что парламентаризм европейского типа в России преждевременен. Увлечения и «слишком быстрые скачки», писал выразивший их мнение В.П. Петрово-Соловово, так же вредны, как застой или реакция, «не следует забывать, что мы имеем дело с первыми робкими шагами нарождающегося народного самосознания. Этого никогда не следует забывать, и тогда все может пойти хорошо»⁸⁰.

Несостоятельность расчетов либералов на «тихое» изменение самодержавного строя подтверждалась всем опытом исторического развития. «Либералы, — писал В.И. Ленин, — хотят европейской конституции. Но конституции, установившиеся в разных странах Европы, являлись результатом долгой и тяжелой классовой борьбы между феодализмом и абсолютизмом, с одной стороны, буржуазией, крестьянами и рабочими, с другой». Именно борьба, а не вымогательство у власти, приносила успех. «Писаные и неписаные конституции, которыми «стыдят» наших реакционеров либералы, представляют из себя, — по В.И. Ленину, — лишь запись *итогов* борьбы, получившихся после ряда тяжело доставшихся побед нового над старым и ряда поражений, нанесенных новому старым». Либеральная программа и либеральная тактика, подчеркивал В.И. Ленин, «сводится

вот к чему: пусть сложится у нас европейский уклад *без той тяжелой борьбы, которая создала его в Европе!*»⁸¹.

Разумеется, В.И. Ленин меньше всего стремился переубедить либералов. Он указывал, что либеральное смирение было исторически обусловлено, оно являлось следствием политического перерождения буржуазии. В условиях быстрого развития капитализма идеологам буржуазии стало выгодней призывать к умиротворению, нежели звать к активной борьбе с феодально-крепостнической реакцией и ее институтами.

Революционеры прекрасно понимали бессилие и бесперспективность либерального течения. Об этом писали деятели демократического лагеря еще в эпоху первой революционной ситуации в России. Хорошо известно, какой убийственной критике подвергал либеральные идеи Н.Г. Чернышевский. А его последователь Н.И. Утин в 1868 г. указывал, что там, «где существуют противоположность интересов и враждебность стремлений, где новый жизненный строй требует смеси старого безобразия, там идет борьба за взаимное уничтожение и тем ожесточеннее, чем противоположнее интересы борющихся сторон. До сих пор жизнь человечества всегда слагалась так, что никогда еще ни один шаг на пути к свету и свободе не совершался мирно и каждая новая ступень, ведущая в мир новых начал, полита горячей кровью»⁸².

Буржуазные историки разных школ и направлений немало потрудились, чтобы показать утопизм русских революционеров-демократов. Однако опыт истории со всей убедительностью доказал, что именно либералы остались в плену политических иллюзий. Исторический реализм революционного демократизма заключался в том, что он настаивал на наиболее последовательном разрешении назревших проблем социального прогресса России. Как справедливо отмечал Г.В. Плеханов, «нерассудительно отворачившиеся от «политики» социалисты-утописты при всех недостатках своего метода умели, однако, поставить на очередь такие великие общественные задачи, до понимания которых самый либеральный – т.е. наиболее других дороживший политической свободой, – либерал не мог бы, оставаясь либералом, дотянуться, даже если бы поднялся на цыпочки. Так было на Западе, так было и в России!»⁸³.

Современные буржуазные авторы также не сомневаются в слабости российского либерализма. Однако совсем не потому, что считают революционные программы больше отвечающими интересам прогрессивного развития страны. Как раз наоборот: революционные события в России рассматриваются ими как социальное бедствие, которому, к их великому сожалению, не нашлось достаточно сильного либерального противовеса. Буржуазное истолкование исторического опыта России направлено на то, чтобы приуменьшить значение революционных процессов, доказать «разумность» и «истинный демократизм» либерально-буржуазного развития. В конечном счете такие трактовки призваны обеспечить политические интересы современного ка-

питализма. «Историческая наука говорит нам, — писал В.И. Ленин, — что отличие реформистского и нереформистского изменения данного политического уклада состоит, вообще говоря, в том, что при первом — власть остается в руках прежнего правящего класса; при втором — власть переходит из рук прежнего класса в руки нового»⁸⁴. Нормальным, с точки зрения буржуазных историков, остается именно либеральный путь общественного развития, революционное же переустройство характеризуется как аномалия, которую следовало бы избежать.

3. Земство и земское движение в англо-американской исторической литературе

В последние годы определился устойчивый интерес английских и американских исследователей к различным аспектам истории земства и земского движения в России. Возникшие в 1864 г. органы местного самоуправления обычно рассматриваются как своеобразная школа политического воспитания русского общества, как естественное пристанище либералов.

Большинство буржуазных историков характеризует земства как бессословные, чуть ли не демократические учреждения, деятельность которых объединяла интересы населения той или иной местности. Причем особо выделяется период с 1864 по 1905 г., который, по словам современной исследовательницы Р. Мэннинг, «был отмечен ростом политической оппозиции земств и завершился их участием в освободительном движении 1902—1905 гг., когда земства использовали свое влияние в стране для того, чтобы добиться установления представительных учреждений»⁸⁵.

Введение земских учреждений западные авторы рассматривают как логическое звено в цепи преобразований, составивших эпоху «великих реформ». Как правило, выделяются три основные причины создания новых органов: желание правительства компенсировать дворянам утрату их вотчинной власти над крестьянами; забота о расширении социальной опоры самодержавия; необходимость в модернизации системы местного управления⁸⁶. Причем чаще земства расцениваются именно как награда дворянству, преобладание представителей которого в земствах, по мнению Ш. Галая, было предопределено центральной властью, «так как Александр II и его советники надеялись компенсировать помещикам потерю власти над крестьянами»⁸⁷.

Учреждая земства, царизм действительно преследовал противоречивые цели. Он не мог не считаться с настроениями дворянства, значительная часть которого была недовольна бюрократическим характером преобразований. «Дворянство, — писал К.Д. Кавелин, — не может примириться с мыслью, что правительство освободило крестьян, как ему хотелось, а не как

хотели дворянс, что дворянство даже не было порядочно выслушано. Роль первого сословия империи в делс такой важности вышла жалкая и унизительная». Помсщики опасались, что после реформы власть бюрократии и чиновников еще более усиится, «все местное управленис окончательно перейдет в их руки, а дворянство, потеряв всякое значение и всякую власть, сравняется с другими классами народа и исчезнет в их огромной массе»⁸⁸. Правительство, несомненно, учитывало эту оппозицию «справа». Министерство внутренних дел даже заявило, что одной из причин проведения реформы местного управления было желание возместить для дворян – хотя бы частично – утрату вотчинной власти⁸⁹.

Однако стремление вознаградить дворянство не было единственной причиной введения земств. Существенное значение имели объективные потребности буржуазного развития страны.

К началу 1860-х годов правящие круги России пришли к пониманию абсолютной несостоятельности дореформенной системы местного управления. Чисто бюрократическое руководство земскими делами при почти полном равнодушии местного населения довело хозяйственную жизнь, здравоохраненис, просвещение до крайнего расстройства⁹⁰. После отмены крепостного права нельзя было рассчитывать на сколько-нибудь серьезное улучшенис жизни народа без привлечения общественных сил. Вот почему земскую реформу надо рассматривать не только как уступку «обиженному» бюрократии дворянству, но прежде всего как назревшую историческую необходимость, вызванную развитием капиталистических отношений⁹¹. Уже при подготовке земской реформы самодержавие стремилось достичь объединения прямо противоположных целей: удовлетворить политические амбиции крепостнически настроенного дворянства, с одной стороны, и содействовать развитию буржуазной предпринимчивости – с другой.

Важнейшей причиной проведения земской реформы явился революционно-демократический натиск на самодержавие. Этот ключевой фактор буржуазная историография фактически полностью игнорирует. Руководивший подготовкой реформы П.А. Валуев хорошо понимал, что земства – это уступка передовому общественному движению⁹². О том, что организаторы реформы более всего стремились парализовать рост оппозиции, писал и ярый реакционер В.П. Мещерский. «Валуев, – отмечал он, – исходил из мысли, что, создавая в губерниях целую область земских, то есть хозяйственных, забот, он этим давал умам сферу деятельности, которая могла их оживлять, занять и отвлечь от политических мечтаний в общей, так сказать, сфере»⁹³.

Создавая земские учреждения, самодержавие стремилось укрепить собственное положенис и преодолеть последствия «кризиса верхов» с минимальными потерями. «...Земская реформа, – подчеркивал В.И. Ленин, – была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна

общественного возбуждения и революционного натиска»⁹⁴. Впрочем, вопросы о том, в какой мере введение земских учреждений можно считать «уступкой» и насколько правомерно рассматривать его в качестве следствия обеспечения государственной необходимости, требуют дальнейшего изучения.

На протяжении многих десятилетий буржуазные исследователи идеализировали деятельность земских учреждений, расценивали их как средоточие истинно демократических идеалов и гуманистических настроений просвещенных слоев русского общества. Так оценивал деятельность земств и Ш. Галай. Русский конституционализм, по его мнению, вырос в недрах земского движения⁹⁵ и вышел на историческую сцену на рубеже 1870–1880-х годов, когда Муромцев, Скалон и Чупров подготовили соответствующий меморандум и вручили его Лорис-Меликову⁹⁶.

О принципиальной несовместимости земских органов и самодержавного политического строя писал Дж. Уолкин. Он ссылался на исторический опыт многих стран, в которых центральная «автократия» и местное самоуправление не могли долго сосуществовать и в их борьбе между собой одна из сторон непременно брала верх⁹⁷. Создание земских учреждений было, по мнению Уолкина, первым успехом русских конституционалистов, сумевших в обстановке «великих реформ» пробить брешь в политической системе самодержавия. Все последующее развитие России, полагал автор, было отмечено неуклонно нараставшей борьбой земского принципа с традициями автократического правления. «Февральская революция» 1917 г., — писал он, — стала в определенной мере неизбежным следствием дуалистической системы управления, установившейся в России с 1864 г. Как только принцип местного самоуправления и общественной само деятельности укрепился, наилучшее актуальной проблемой стал вопрос о том, будет ли окончательное реформирование самодержавия проведено мирно, или оно осуществится насилием путем⁹⁸. Таким образом, отношения между земствами и администрацией характеризовались как в принципе непримиримы, создававшие в России обстановку постоянной политической нестабильности. Вот почему, по мнению Уолкина, без изучения истории земства нельзя понять природы русской революционности⁹⁹.

Такую позицию разделяют многие авторы. О непрерывном нарастании земской оппозиционности писал и М. Флоринский, тоже признававший значение выступлений 1870–1880-х годов для становления российского конституционализма. Поначалу, отмечал он, в земской деятельности возобладали классовые интересы дворянства, но затем все более отчетливо зазвучали голоса тех, «кто искренне верил, что социальный и экономический прогресс был несовместим с бюрократической регламентацией». И хотя дворяне продолжали прославлять в земствах, «само существование автономных местных учреждений становилось кровоточащей занозой для тех, кто охранял традиции

всесильного полицейского государства»⁹⁹. На активизацию оппозиционных настроений в земствах повлияло, по мнению многих исследователей, усиление в них «третьего элемента», т.е. служившей по наиму интеллигенции. Сливаясь с наиболее активными гласными, представители земской интеллигенции, отмечал Я. Уолкин, существенно усиливали оппозиционность земств, придавали ей наступательный характер¹⁰⁰.

Мнение, что в неуспехе земского движения повинно самодержавие, установилось в западной историографии давно. Его высказывал еще Д.М. Уоллес, а затем Б. Пейрс. «Земства, — писал последний, — были школой представительных учреждений». Однако с самого начала они оказались под стеснительным контролем самодержавия, лишившего их необходимой инициативы¹⁰¹.

Большинство английских и американских историков считает, что земские учреждения были оппозиционными по самой своей сути, поскольку эти выборные органы никак не вписывались в политическую структуру самодержавия. При всех своих недостатках, замечал П. Альстон, «реформа 1864 г. создала для местного образованного класса — дворянства в 1860-е гг. и демократической интеллигенции в 1890-е гг. — постоянную квазиобщественную базу, на основе которой развернулась борьба с бюрократией за лидерство в крестьянской России»¹⁰².

Перечисленные авторы в целом следуют традициям русской либеральной литературы, склонной к идеализации политической роли земств. Так, видный либеральный деятель Д.И. Шипов писал, что земство является «общественным союзом всего населения данной местности и в правильном развитии земской деятельности заинтересовано все население»¹⁰³. А известный исследователь начала XX в. И.П. Белоконский заявлял, что земство в силу роста общественного самосознания получало все большую популярность и «становилось видимым центром открытого, легального, так сказать, освободительного движения». Вокруг земства, утверждал Белоконский, «сгруппировалась почти вся лучшая, наиболее энергичная, демократически настроенная интеллигенция». В результате получилась «громадная сила, прочная организация, если не связанная никакою программою, то проникнутая единым стремлением — вывести народ из тьмы, невежества, бедности и произвола к свету, свободе и материальному обеспечению»¹⁰⁴.

Исследательность такой идеализации очевидна. В пореформенную эпоху проявления земской оппозиционности были крайне редкими и очень редкими. Подавляющее большинство земских деятелей оставалось вполне лояльным правительству и легко мирилось с административными ограничениями своей деятельности. Об отсутствии в земских собраниях интереса к политическим вопросам в течение первых тридцати лет их существования с полным основанием писал видный земский деятель и публицист В.Ю. Скалон¹⁰⁵. Совершенно справедливо поэтому

утверждение "советской исследовательницы Н.М. Пирумовой о том, что политический путь «вообще был уделом далеко не всех земств, начало же его в отдельных земских учреждениях можно отнести лишь к концу 70-х – началу 80-х годов XIX в.»¹⁰⁶. Только Петербургское губернское земство отважилось в 1867 г. поставить вопрос о расширении прав, за что подверглось репрессиям. В целом же «о сознательном политическом направлении – земском либерализме, представлении десятками людей из различных земств, в первое время не могло быть и речи»¹⁰⁷. Появляющиеся в современной английской и американской литературе оценки можно объяснить стремлением снизить значение революционного фактора в социальном развитии России. Буржуазные историки всегда пытались изобразить земско-либеральные организации как «надклассовые», представлявшие общечеловеческие интересы и, следовательно, являвшиеся естественными лидерами народа в его борьбе против самодержавия¹⁰⁸.

Нужно, правда, отсторить, что современные западные исследователи идеализируют скорее политические возможности земств, а не реальные результаты их деятельности. По логике буржуазных авторов земской либерализм мог бы возглавить дело политической модернизации страны, но по тем или иным причинам не сделал этого. Факты, однако, свидетельствуют, что на подобную роль земства не претендовали и претендовать не могли. Не случайно действительные враги самодержавия – революционные демократы – не проявляли значительного интереса к земской реформе. «Новые положения, – писал А.И. Герцен, – до такой степени мизерны, неискренни, скучны, сшиты на живую нитку из французских лохмотьев, сбивчивы, жалки, тощи, пусты, что удивили самого г. Каткова»¹⁰⁹.

Первая более или менее заметная вспышка земской оппозиционности имела место лишь на рубеже 1870–1880-х годов, когда благодаря ожесточенному натиску демократических сил в стране вновь возникла революционная ситуация. В условиях острого политического кризиса самодержавие вынуждено было обратиться к обществу за поддержкой. Но и в такой обстановке на энергичную политическую деятельность оказалась способной лишь очень немногочисленная группа земцев. Основная же масса земских либералов о конституционности и не мечтала, ограничивалась бессильными ходатайствами о «расширении прав» и заявляла о готовности помочь правительству в его усилиях по искоренению революционной «крамолы»¹¹⁰.

И все же несостоенность идеализированных представлений о демократической сущности земского движения некоторые западные авторы признают. Против преувеличенных оценок земской оппозиционности выступила, в частности, американская исследовательница Р. Мэннинг. Вплоть до 1905 г., писала она, земские политические требования «были весьма умеренными и могли быть реализованы без изменения основ политического или социального строя страны»¹¹¹. Оппозицион-

ность земств, отмечала Мэннинг, постепенно нарастала, но причина этого явления коренилась не в абстрактной противоположности выборного начала принципам самодержавно-бюрократического строя, а в изменении положения провинциального дворянства. Западные исследователи, по мнению Мэннинг, склонны рассматривать земство как всенародный, общедемократический институт, однако факты убеждают, что земский либерализм был прежде всего дворянским. Социальное разрушение дворянского сословия — вот что, по словам Мэннинг, прежде всего обусловило «рост политической напряженности между земствами и правительством». А экономическая подоплека такой ситуации заключалась в политике царского правительства, взявшего курс на пресущественное развитие индустриализации в ущерб сельскому хозяйству. «В таких условиях, — писала исследовательница, — значительная часть старого правящего сословия стала смотреть на земства как на политическую основу, с которой она могла попытаться восстановить утраченное влияние на государственные дела»¹¹². Недовольство дворян экономическими мероприятиями царизма, углублявшееся крайне нетерпимым отношением властей ко всяческому своеобразию, стало, по оценке Мэннинг, основной причиной земской оппозиционности. Однако настоящая конфронтация в земско-правительственных отношениях, считала она, началась только с 1890-х годов¹¹³. Мэннинг выразила решительное несогласие со взглядами Дж. Фишера, в книге которого проводилась традиционная для буржуазной историографии мысль об органическом несоответствии земств самодержавию.

Элементы реалистического анализа в работе Р. Мэннинг весьма замечены. Во всяком случае она без колебаний отклонила беспочвенные рассуждения об альтруизме и бескорыстии земской фронды. Тем не менее ее оценки даются в русле методологических принципов англо-американского россисведения. Она игнорировала буржуазную природу земского либерализма и не разделяла вопросы о носителях и о классовой сущности этого течения. Кроме того, Р. Мэннинг явно недооценила значение важнейшего фактора в развитии земско-либеральной активности — роста революционного движения.

Против оценок земств как демократических учреждений выступил и Т. Эммонс. Как и Мэннинг, Эммонс писал о продворянской направленности земской оппозиции. Активность русских помещиков в земствах, считал он, была вызвана ускорением социально-экономического развития в пореформенные годы. Не случайно, замечал Эммонс, роль крестьянства в земствах была столь незначительной, и дело заключалось не в «недостатке политической культуры». Индифферентность крестьянства основывалась на трезвом понимании «действительного характера земских учреждений и того, что они могли сделать для крестьян»¹¹⁴. Автор, однако, преувеличивал уровень оппозиционных настроений дворянства, считая, что представители

этого сословия стали основными поборниками введения парламентского строя в России.

Ряд интересных наблюдений содержит и работа Д. Аткинсон. Всесословное представительство, писала она, еще не означало уравнения роли сословий в органах местного самоуправления; организаторы земской реформы сумели в конце концов удовлетворить политические притязания дворянства. Правительство, по мнению Аткинсон, и в дальнейшем внимательно следило за тем, чтобы доминирующая роль помещиков оставалась в земствах безусловной. Проанализировав состав гласных за 1863–1885 гг., автор отмстила увеличение представительства от крестьян, владевших землей на частном праве. Особенно отчетливо эта тенденция наметилась в центральном промышленном районе, а также в южной степной зоне, т.е. там, где буржуазные отношения затронули сельское хозяйство в наибольшей мере. В то же время здесь несколько снизилась доля гласных от дворянства. Такая тенденция, подчеркивала Аткинсон, была сразу же замечена правящими кругами, и это побудило их провести земскую контрреформу 1890 г., в ходе которой был взят курс на усиление привилегий дворянства¹¹⁵.

Данный вывод представляется убедительным. Действительно, реакционные круги России враждебно относились к тем чертам буржуазной всесословности, которые содержались в положении о земстве 1864 г. Как показала Л.Г. Захарова, у этой враждебности были свои основания. Приведенные этой исследовательницей данные показывают, что в ряде промышленных губерний обозначился процесс вытеснения дворянских гласных¹¹⁶. Наступление «чумазого» элемента угрожало подорвать доминирующее положение дворянства, что и побудило царизм усилить значение сословного принципа при выборах в земства. Хорошо аргументированное исследование Д. Аткинсон еще раз доказывает несостоятельность утверждений об общенародной сущности земского движения. Автор отметила отрицательное отношение массы крестьянства к земским учреждениям и подчеркнула, что такая реакция вполне объяснима. Крестьянские массы несли основное бремя земских повинностей, а их роль в местном самоуправлении оставалась крайне ограниченной.

Реалистическую оценку политическим возможностям земств дал и Е. Ламперт. На земства, писал он, поначалу возлагались большие надежды, которые скоро сменились разочарованием. Только с 80-х годов XIX в., вследствие массового притока лиц интеллигентных профессий, земства становились центрами умеренной оппозиции. Обоснованно возражая Дж. Фишеру, Ламперт призывал не переоценивать степень недовольства дворянства бюрократией¹¹⁷.

Традиционный взгляд на земства как на оплот русского демократического движения подвергается в последние времена основательному пересмотру. Р. Мэннинг, Т. Эммонс, Д. Аткинсон и некоторые другие исследователи склоняются ныне к концепции, которую в начале XX в. отстаивал видный русский исто-

рик Б.Б.Веселовский. Однако и эта позиция остается уязвимой для критики. Ее слабые места отмечал, например, американский историк Т. Фэллоуз. Во-первых, писал он, острый аграрный кризис имел место в России в 80-е годы XIX в., т.е. намного раньше организационного оформления земской оппозиции, а во-вторых, нет никаких оснований расценивать внутреннюю политику царизма как враждебную дворянству. Фэллоуз призывал прислушаться к оценкам советских исследователей и учсть то влияние, какое оказывала на земское движение борьба революционеров. Страх перед нараставшей классовой борьбой, подчеркивал он, играл определяющую роль в повышении земско-либеральной активности. Правительство, по мнению Фэллоуза, потеряло всякую ориентировку и, вместо того чтобы отнести к земскому либерализму как к своему естественному союзнику, стало смотреть на него как на рассадник общественного недовольства. «Ис понимая различия между земскими лидерами и революционными агитаторами, — писал Фэллоуз, — официальные власти начали преследовать земство с усердием, уступающим только атакам против марксистских и народнических радикалов»¹¹⁸.

Взгляд Фэллоуза весьма характерен для современных исследователей. Автор не отрицал очевидного, но тем не менее высказывал совершенно напрасные суждения по поводу недальновидной политики самодержавия, не пожелавшего пойти на союз с либералами. Точка зрения Фэллоуза близка к оценкам И.П. Белоконского, который считал, что мало-мальски дальновидное правительство воспользовалось бы земским движением «для мирного перехода от полицейско-бюрократического строя к земско-парламентарному. Но русская бюрократия, конечно, этого не сделала: она по искони заведенному порядку и этому движению соорудила еще один шлюз, последний уж»¹¹⁹.

Вопрос о буржуазном содержании земского либерализма западные авторы не просто не учитывают, а принципиально отрицают. Свою позицию они подкрепляют давно устаревшими бессодержательными ссылками на «вестернизацию» русского общества, на «интеллигентское отщепенство» и т.п. Т. Эммонс, например, считал, что успеху земского движения помешал колossalный культурный разрыв между «просвещенными классами» и крестьянством России. Этот разрыв, по его мнению, не позволил установить классового согласия в земствах¹²⁰. А в результате так и не удалось преодолеть общей слабости либерального движения¹²¹.

Английские и американские историки, как правило, отмечают большие заслуги земств в хозяйственной и культурно-просветительской деятельности. Земства, писал М.М. Карпович, развернули «ценную работу, которая внесла огромный вклад в экономический и культурный прогресс сельской России»¹²². О «прекрасном эффекте» земской деятельности упоминал и Б. Пейрс¹²³. Такую же мысль отстаивал и Ш. Галай, подчеркнувший, что за 53 года своего существования

ния земства «подняли уровень образования и народного здравоохранения, улучшили дорожную сеть и расширили агрономическую помощь крестьянам в таком масштабе, на который позорно известная своей неэффективностью царская бюрократия была не способна»¹²⁴. Сходные оценки высказывали М. Рэн, М. Слоним, Е. Ламперт и др.

С наибольшей обстоятельностью вопросы практической деятельности земств были рассмотрены авторами уже упоминавшегося специального сборника (1982 г.). В нем освещается работа земских учреждений в области начального образования (Дж. Брукс), медицины (Р. Рамер, Н. Фридсен), статистики (Р. Джонсон). Эти работы создают в целом достоверную картину, основанную на изучении разнообразных, в том числе архивных, источников. Авторы отмечали противоречивый характер земской деятельности, указывали на ее конкретные заслуги в развитии культуры и экономики страны и вместе с тем возражали против широко распространенных на Западе оценок земства как института, служившего всем классам русского общества. При внимательном рассмотрении отношений земства с государством, писал Т. Фэллоуз, становится ясно, «что общепринятая идея о благодетельном земстве, преследуемом злой бюрократией, даст искаженное представление о реальном положении дел»¹²⁵. Нельзя забывать, дополнял его У. Розенберг, что расходы по ведению практической земской работы ложились прежде всего на плечи крестьянства. А это только усиливало напряженность между сословиями, поэтому о сотрудничестве враждебных классов в земствах говорить не приходится¹²⁶.

Надо заметить, однако, что самое существенное в позиции авторов сборника заключается в поиске более четких (в рамках буржуазной историографии) интерпретаций истории Октябрьской революции. Земства, полагали авторы, не стали достаточно эффективным проводником прогрессивных тенденций и не сумели погасить развитие революционных настроений народных масс. Значение выводов авторов сборника, говорится в нем, заключается не только в том, что они пересматривают привычные оценки, а в том, что проливают новый свет на причины краха земств в 1917 г.¹²⁷ Иными словами, стремились доказать, что при более эффективной системе местного самоуправления революции в России можно было бы избежать. Земства, заявил Т. Эммонс, не сумели взять под свой контроль крестьянские массы и предотвратить развитие в их среде революционных устремлений. Подобное же мнение высказывал и Дж. Эйни, считавший, что земства не предотвратили развитие сословной вражды в России. Более того, их деятельность даже усилила социальную отчужденность дворянства и крестьян, и такое положение сохранилось вплоть до падения царского режима¹²⁸. Между тем, по мнению Эммонса, ситуация могла быть совсем иной. Если бы лорис-Меликовские проекты удалось реализовать в 80-е годы XIX в., земство могло бы стать основой «либерально-демократического политического строя». И тогда

могло бы своевременно урегулировать положение крестьянства и избежать «катастрофы» 1917–1918 гг.¹²⁹ Земство не сумело предотвратить революцию, и не за что в таком случае его хвалить. Вот основная позиция составителей сборника. Отсюда негативные оценки узкословных интересов и политического бессилия дворянской оппозиции. Земства, писал Д. Аткинсон, не сумели реализовать редкую возможность для интеграции русского общества и для объединения правительственные и общественные усилий. Дворянско-самодержавный альянс продолжал сохраняться до конца, что усиливало напряженность во внутреннем положении страны¹³⁰. Такая корректировка традиционного (кадетского, по выражению Р. Мэннинг) подхода призвана в конечном счете только подкрепить основной постулат буржуазной историографии о специфически российском характере Октябрьской революции.

Идеализация земств, впрочем, нашла свое место и в рассматриваемом сборнике. На обычных для буржуазной историографии позициях стоял, например, К. Маккензи. В земствах, писал он, доминировали представители дворянства, но свою деятельность они направляли на улучшение положения широких народных масс. Не может быть сомнения, заявлял К. Маккензи, что земство сделало бы еще больше, если бы были своевременно расширены его полномочия. Автор соглашался с суждением А. Леруа-Болье о том, что при всех своих ограничениях земства дали стране «почти все, что могли ожидать от них трезво мыслящие люди»¹³¹.

Западные авторы настойчиво обходят вопрос о буржуазной природе земского либерализма. Тот факт, что именно земства приобрели значение оплота буржуазно-либерального движения, объясняется ими неразвитостью – по меркам капиталистического общества – политической жизни России, отсутствием в по-реформенную эпоху других легальных форм общественной деятельности. Носителями земского либерализма были социально активные представители дворянства. Это активное меньшинство можно назвать «буржуазившимся дворянством, имея, однако, в виду то обстоятельство, что «обуржуазивание» в ту эпоху скорее коснулось политического мышления, нежели экономического положения части помещиков. Нельзя забывать, что основная масса дворянства относилась к земской деятельности равнодушно и предпочитала идти в бюрократию¹³².

В политическом развитии по-реформенной России земский либерализм сыграл ничтожную роль. Большинство земцев вообще стояло на монархических позициях. В самом конце XIX в. один из лидеров земского движения, Д.Н. Шипов, предлагал составить петицию, в которой говорилось бы, что «последовательное проведение формулы: самоуправляющаяся местно земля с самодержавным царем во главе есть единственно, исторически правильный путь государственной жизни и оплот действительно самодержавной царской власти»¹³³. Даже при наиболее значительной активности земских либералы оказывались способны

лишь на подачу адресов и на обращения к правительству с просьбами о разрешении контактов между земствами разных губерний и об «увенчании здания» земского самоуправления для более успешного удовлетворения «местных польз и нужд»¹³⁴. Но и на такие весьма скромные требования земские либералы отваживались лишь при кризисных для самодержавия ситуациях, заслуга в создании которых всецело принадлежала революционной демократии. Даже И.П. Белоконский вынужден был признать: «Весьма возможно, что в 70-х годах земство низведено было бы к нулю, если бы не возникло сильное революционное движение...»¹³⁵

Земские либералы полагали, что свою роль «действительной опоры правительства» они смогут выполнить лишь при условии создания правового государства с центральным представительством. Всякие либеральные посулы правительства встречались ими с полным одобрением и горячей симпатией. Внутренняя политика «диктатуры сердца», проводившаяся М.Т. Лорис-Меликовым, пользовалась в их среде доверием и поддержкой, в результате чего земские либералы полностью отказались от каких-либо нелегальных форм деятельности¹³⁶. Возникшая было идея создания Земского союза так и осталась нереализованной. А после разгрома народовольчества и спада революционной ситуации земско-либеральное движение резко снизило свою активность и вплоть до 90-х годов XIX в. практически ничем о себе не напоминало. Да и в годы революционной ситуации только девять губернских и четыре уездных земства отважились на заявления о необходимости центрального представительства с совещательными полномочиями¹³⁷. Большинство земств полностью сохраняло верноподданныческие позиции.

Только очень небольшая группа «левых» земцев во главе с И.И. Петрункевичем настаивала на необходимости конституционного режима и гарантий прав, считая, что в противном случае все, «что есть живого и мыслящего в обществе, примкнет к революционному движению, и земство как учреждение умрет вместе со смертью старого строя»¹³⁸. Власти, однако, быстро пресекли развитие таких настроений.

Земство никогда не представляло и не могло представлять сколько-нибудь серьезной угрозы самодержавному строю. На протяжении всей своей истории оно оставалось безвластным и фактически бесправным. Земство, подчеркивал В.И. Ленин, «с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством»¹³⁹.

Построенные на буржуазном принципе всесословного представительства, органы местного самоуправления являлись чужеродным элементом в самодержавном государственном строе и стали прибывающим либеральным оппозиции. Вполне естественно,

что, сделав такую безвредную для себя уступку, «правительство на другой же день после введения земства принялось систематически стеснять и ограничивать его: всемогущая чиновничья клика не могла ужиться с выборным всесословным представительством и принялась всячески травить его»¹⁴⁰.

Враждебное отношение администрации к земским учреждениям было обусловлено, конечно, не тем, что царизм боялся реальной силы земской либеральной оппозиции. В известной конфиденциальной записке С.Ю. Витте писал, что земство никакой непосредственной опасности для существующего порядка не представляло. Оно, по мнению царского министра, было опасно только в силу исторической тенденции своего развития. Витте был убежден, что самоуправление в виде всесословного народного представительства «не соответствует самодержавному строю государства, что в этом строе оно или будет плохим средством управления, или правильное и последовательное развитие начал его неизбежно приведет к властному участию выборных представителей населения в законодательстве и в верховном управлении»¹⁴¹.

Однако та историческая тенденция, о которой с тревогой писал С.Ю. Витте, не имела сколько-нибудь благоприятных перспектив. Земская оппозиция была не в силах встать во главе освободительного движения. Более того, находясь во власти политических иллюзий, она фактически выступила против наиболее реалистической программы разрешения внутренних проблем России и оказалась «по ту сторону баррикад». Именно в этом состоит коренная причина политической несостоятельности земской оппозиции. Вопреки построениям западной историографии роль исторического неудачника земскому либерализму принадлежала не потому, что он не сумел предотвратить революционного движения, а потому, что в отличие от революционеров либералы принципиально отказывались от решения главных задач преобразования страны.

4. Оценка исторической роли российского либерализма 1860–1880-х годов в англо-американской историографии

Современная буржуазная историография глубоко симпатизирует русским либералам. Это вполне понятно. Эволюционный путь развития характеризуется буржуазными идеологами как единственно целесообразный, истинно прогрессивный, как антипод революционным «насилиям». Директор Института по изучению СССР и Восточной Европы при Тюбингенском университете Д. Гейсер заявил, что историки-некоммунисты «отвергают аксиому о том, что социалистическая революция является неизбежным результатом развития истории»¹⁴².

Признание слабости русского либерализма буржуазные идео-

логи трактуют как величайшее бедствие страны, как уклонение от проторенных Западом «нормальных» путей исторического развития. Только из-за недостаточного развития либеральных идей, считал Б. Пейрс, в России возникла «гражданская война между крайними силами»¹⁴³.

Многие буржуазные авторы пытаются доказать, что даже слабый русский либерализм очень страшил революционеров. Даже убийство народовольцами Александра II подчас объясняется опасениями революционеров перед возможной либерализацией русского политического строя. Русские революционеры, по мнению некоторых западных историков, потому-то так и ненавидели либералов, что видели в них опасных соперников, способных захватить лидерство в общественном движении. При этом слабые русские либералы объявляются основной силой, побудившей царизм начать преобразования. Пожалуй, наиболее настойчивой идеализацией исторической роли пореформенного либерализма отмечены работы М.М. Карповича. Либералы, писал он, оценивали отмену крепостного права и введение местного самоуправления как начало процесса, который должен завершиться введением в России национального представительства. Царизм же остановился на полпути и исчерпал свою энергию реформами 60-х годов. Реакционный поворот в правительственной политике был, по мнению автора, вовсе не обязателен, но сильно затруднил прогресс России и «сделал мирное решение стоявших перед страной проблем крайне трудным». Избежать столь нежелательного уклонения в сторону реакции было бы вполне возможно, если бы в правительстве нашлось достаточно деятелей, умевших оценить «мудрость политики, предотвращающей революцию с помощью реформ»¹⁴⁴.

У концепции Карповича немало последователей. Очень сочувственно отзывался о либералах 1860–1880-х годов английский историк Х. Ситон-Уотсон, по убеждению которого именно благодаря либералам начало 60-х годов стало временем, когда могли быть заложены основы русской парламентской демократии. «В рамках парламента, основанного на ограниченном избирательном праве, — писал он, — реакционеры и либералы, славянофилы и западники могли бы отставивать свои взгляды, и такая борьба идей принесла бы пользу России». Русское общество приобрело бы политический опыт, «и к концу века Россия могла бы продвинуться к демократии мирным путем»¹⁴⁵.

Примерно так же автор оценивал и значение либеральных выступлений на рубеже 1870–1880-х годов: правительство вновь пренебрело либеральными ходатайствами, лорис-меликовский проект так и остался проектом, хотя мог бы стать серьезным шагом к установлению представительных учреждений¹⁴⁶.

Признание потенциальных, но, к огорчению буржуазных авторов, так и не реализовавшихся возможностей либерального развития сопровождается идеализацией деятельности реформистов в правительственном лагере. Такие взгляды наиболее

отчетливо выражались в книгах В. Леонтьевича, получившей резонанс в англо-американской историографии. Освещая историю России с либерально-консервативных позиций, этот автор утверждал, что начиная с 1860-х годов либеральная бюрократия стремилась к установлению прочной конституционной основы¹⁴⁷. Несомненным преувеличением роли либералов в высших сферах России отличается и работа У. Линкольна. Исследуя деятельность кружка великой княгини Елены Павловны, он пришел к выводу, что шедший в нем обмен идеями между дворянской интеллигенцией и либеральной бюрократией подготовил духовную почву реформам 1860-х годов¹⁴⁸.

Однако откровенная идеализация либеральной бюрократии встречает возражения в самой англо-американской историографии. Довольно резкой критике взгляды Леонтьевича подверг, в частности, Е. Ламперт. Западногерманский историк, писал он, исходит из объективно-идеалистической позиции, «окружающей орсолом совершенства самую возмутительную реальность». Леонтьевич, справедливо указывал Ламперт, по существу лишь воспроизвел концепцию либерального прогресса, которую еще в прошлом веке отстаивали русские умеренные деятели вроде И. Бабста, В. Корша или Б. Чичерина, мечтавшие о свободе только в рамках традиционно сильного самодержавия. В общем, подчеркивал английский историк, для большинства умеренных деятелей как внутри правительенного лагеря, так и вне его основная цель заключалась в том, чтобы «защитить, укрепить и приукрасить основы существовавшего строя»¹⁴⁹. Ни о каком подлинном продвижении России в 60-70-е годы XIX в. в сторону «правовой монархии» говорить не приходится. О способности либералов к проведению самостоятельной политики с сожалением писали Н. Персира, С. Хэркейв и другие авторы.

Таким образом, попытки всячески увеличить историческую роль русского либерализма встречают в западной историографии ощутимое противодействие. Однако признание ограниченных возможностей либералов связано с общей антиреволюционной направленностью буржуазных исследований. Более всего английские и американские историки сожалеют о том, что либерализм не сумел идейализовать развитие революционной демократии. Мало этого, в англо-американской историографии весьма отчетливо звучит мотив осуждения русского либерального общества за его якобы тайное покровство революционерам, за скрытое сочувствие радикальным методам борьбы с правительством. О том, что деятельность революционной интеллигенции в России пользовалась пассивной, а иногда и активной поддержкой либералов, писал еще Т. Масарик¹⁵⁰. Успехи народовольческой деятельности, отмечал Ф. Вентури, были в немалой степени обусловлены содействием либерального общества, стврнувшегося к концу 1870-х годов от правительства из-за его неудачной внутренней и внешней политики¹⁵¹. Как полагал Э. Кренкшоу, главная опасность для самодержавного режима заключалась даже не в борьбе горстки

«фанатиков-революционеров», а в той враждебности, которую проявляли к нему «образованные классы», питавшие скрытые симпатии к террористам¹⁵².

Практическая деятельность русских либералов пореформенного времени излагается английскими и американскими историками весьма конспективно, выражается невысокое мнение о размахе либеральных выступлений. Начало движения связывается обычно с образованием дворянских комитетов конца 1850-х годов¹⁵³. Но в целом, заявлял Дж. Фишер, в XIX в. русский либерализм был не столько движением, сколько состоянием ума (*a state of mind*), «смутным конгломератом политических идеалов и программ, которые вдохновляли несколько рьяных активистов, окруженных пассивной массой сочувствующих»¹⁵⁴. В России, подчеркивал Фишер, государство монополизировало не только власть, но и средства ее осуществления, что лишало либералов возможности вести мало-мальски организованную политическую деятельность. Поэтому основными средствами самовыражения для дворянских либералов долгое время оставались печать, составление различного рода записок, проспектов, адресов и т.п. И лишь после того, как возникли земские учреждения, русский либерализм получил общественную арену для своей деятельности¹⁵⁵. Стесняемый самодержавием либерализм, отмечал Фишер, ограничивался тактикой «малых дел» и только эпизодически поднимался до адресно-птиционных кампаний.

В англо-американской историографии отмечены оба замечательных подъема либеральной активности — в период проведения крестьянской реформы и на рубеже 1870—1880-х годов. Конец 1850-х годов, писал Я. Уолкин, отмечен бурным пробуждением либеральных настроений в дворянской среде: с 1858 по 1862 г. «одно губернское дворянское собрание за другим обращалось к царю с требованиями о крупной реорганизации государственной жизни». По мнению Я. Уолкина, с течением времени дворянские собрания начали эволюционировать влево — и в 1862 г. некоторые из них открыто потребовали созыва национального собрания выборных представителей¹⁵⁶. Этот автор стремился доказать, что либеральное дворянство стало ведущей политической силой, сумевшей добиться «великих реформ». Аналогичной точки зрения придерживались Т. Эммонс и ряд других историков.

Выделяется буржуазными исследователями и оживление либеральной активности в конце 1870-х — начале 1880-х годов, когда, по выражению Фишера, началась «новая эра либерального энтузиазма»¹⁵⁷. Б. Пейрс, Ш. Галай и другие авторы писали о либеральных ходатайствах расширить права земств, создать центральные представительные учреждения, ввести гражданские свободы и т.п. Особо отличается деятельность Черниговского земства и его лидера И.И. Петрункевича, а также выступление группы московских либералов (С. Муромцева, А. Чупрова, В. Скалона) с меморандумом в

адрес М.Т. Лорис-Меликова. В целом сочувственно излагаются замыслы либералов ограничить политический произвол в России и тем самым спасти ее от надвигавшегося социального кризиса. Провал либеральных ходатайств вызывает у английских и американских авторов искреннее сожаление; разумные, с их точки зрения, предложения оказались бессильны перед разыгравшейся драмой столкновения реакционных и революционных сил. Россия вновь оказалась неспособной принять умеренно-либеральные рецепты общественного прогресса. Как отмечал Ш. Галай, правительство упорно шло своим реакционным курсом, а революционеры выдвинули на переговорах с либералами «совершенно иерархистические условия для прекращения террористической кампании»¹⁵⁸.

Обращает на себя внимание тот факт, что вспышки либеральной активности рассматриваются буржуазной историографией вне связи с развитием революционных ситуаций, само существование которых попросту отрицается. Буржуазные авторы игнорируют прямую зависимость либеральной деятельности от развития революционно-демократического движения.

В целом можно констатировать, что в зарубежной буржуазной историографии наблюдается заметный разнобой в оценках значения деятельности российских либералов 1860–1880-х годов. Явное преувеличение роли либеральной бюрократии и либерального дворянства соседствует с признанием откровенной слабости попыток либерализма улучшить перспективы политического развития страны. Но откровенная апология русского парфеформенного либерализма для большинства современных западных исследователей не характерна. Солидаризируясь с целями и тактикой либерального движения, буржуазные историки отмечают, что в России ему пришлось сыграть весьма ограниченную историческую роль и отступить перед натиском «крайних сил». Во многих работах отмечается, что значение либерализма в России начало возрастать только с 90-х годов XIX в., по мере расширения социальной базы движения¹⁵⁹.

Научное определение роли либерализма возможно лишь с учетом защиты интересов буржуазного развития. Нужно учесть, что буржуазное содержание крылось и в программах революционной демократии. Отмечая его, В.И. Ленин указывал на принципиальное отличие объективно буржуазных течений общественно-политической жизни. «Хорош был бы тот марксист, — писал он, — который в эпоху демократического переворота прозевал бы эту разницу между степенями демократизма и между различным характером той или иной формы его... Надо уметь провести разницу между республиканской-революционной и монархически-либеральной буржуазной демократией, не говоря уже о разнице между исполосовательным буржуазным и последовательным пролетарским демократизмом»¹⁶⁰.

Вся история освободительного движения в России характеризовалась борьбой двух буржуазных тенденций. В ходе этой борьбы либералы принципиально отказывались от решительных

действий, стремились убедить или «просветить» правительство, постоянно искали компромисс с правящими кругами. Революционная же демократия реалистически оценивала сущность самодержавия и уже в пореформенное время отчетливо сознавала, что без свержения царизма не может быть успеха в борьбе за новую Россию. Деятельность революционеров приобретала решающее значение в прогрессивном развитии страны. «К счастью, — писал В.И. Ленин, — кроме политических школяров, которые по поводу конституционных заявлений 60-х годов писали: «Пора бросить глупости и начать дело делать, а дело теперь в земских учреждениях и нигде больше», были в России и не удовлетворявшиеся такой «тактичностью» «задиры», которые шли с революционной проповедью в народ»¹⁶¹.

Самодержавное правительство хорошо понимало, откуда грозила ему реальная опасность. Обрушивая на революционный лагерь всю силу своего репрессивного аппарата, оно в то же время начинало лавировать и уступать часть позиций, когда натиск демократического движения становился особенно грозен. Только действия революционных сил вынуждали царизм к отступлению, либералы же всегда оказывались робкими попутчиками освободительной борьбы. «Пока серьезно грозило «согласие мещан и крестьян» с революционерами, — писал В.И. Ленин, — само министерство внутренних дел бормотало о «школе представительных учреждений», а когда «бестактные и самоуверенные» свистуны и «задиры» были удалены, — «школьяров» без церемонии взяли в сковы рукавицы»¹⁶².

Революционная демократия была в пореформенную эпоху еще недостаточно сильна, чтобы сокрушить своего врага. Именно по этой причине не удалось полное разрешение стоявших перед страной проблем. «Реформа 1861 года, — по словам В.И. Ленина, — осталась только реформой в силу крайней слабости, бессознательности, распыленности тех общественных элементов, интересы которых требовали преобразования»¹⁶³.

Конечно, либеральное движение в те годы играло объективно положительную роль, поскольку оказывало определенное влияние на разработку крестьянской и других реформ, «на утверждение буржуазных порядков в экономической и политической жизни страны»¹⁶⁴. Однако исполнение либералами этой роли было убогим. В своих практических действиях они так и не смогли подняться до высоты объективных задач своего движения. В.И. Ленин подчеркивал, что борьба либералов с крестьянами осталась борьбой внутри господствующего класса и велась она «исключительно из-за меры и формы уступок»¹⁶⁵.

Говоря о своеобразии современной англо-американской историографии, нужно подчеркнуть следующее. В русской дореволюционной литературе об общественном движении в России широкое распространение получила так называемая теория двух лагерей. Буржуазные авторы (А.А. Корнилов, П.Н. Милюков и многие другие) отстаивали положение о том, что в общественной жизни России основная борьба шла между сторонниками са-

модержавия (правительственным лагерем) и «прогрессивной оппозиций». Такое положение служило обоснованию притязаний либеральной буржуазии на доминирующее положение в общественной жизни¹⁶⁶. А.А. Корнилов, например, считал выступление тверского дворянства, начала 1860-х годов самым перспективным общественным течением, которое своей политической программой предвосхитило реформы XX в., в частности царский манифест 17 октября 1905 г.¹⁶⁷ Революционно-демократическое движение при этом растворялось в общем потоке «оппозиционности».

Подобный подход сохраняется и в некоторых современных буржуазных исследованиях. О принципиальном единстве революционно-народнических и либеральных целей заявлял, например, Ч. Тимберлейк¹⁶⁸. Но основной массе английских и американских историков такая позиция не свойственна. Нынешние буржуазные историки, как правило, не отрицают различий между революционностью и либерализмом, а в гораздо большей степени озабочены поиском либеральной альтернативы революционному движению. Исторический опыт нашей страны используется ими для вполне конкретных политических целей: признать максимально значение русского революционного движения и представить политическое банкротство либерализма как отклонение от «нормальной», т.е. прозападной, модели развития.

Следует признать, что критический анализ современных буржуазных интерпретаций российского преформенного либерализма затрудняется относительно слабой разработанностью этой проблематики в советской историографии. Исследования В.В. Гармизы, Л.Г. Захаровой, Ш.М. Левина, Ф.А. Петрова, В.Г. Чернухи, Н.М. Пирумовой, Б.С. Итенберга, несомненно, вносят ценный вклад в освещение ранней истории либерального движения в России. Тем не менее в распоряжении советских историков пока еще мало работ, посвященных общественно-политическим проблемам данной темы. Ощущается острый недостаток марксистских исследований деятельности российской буржуазии преформенного времени, идейно-тактических направлений в реформистском движении указанной эпохи. Анализ современной буржуазной историографии убеждает в растущей научной и политической актуальности принципиальных вопросов истории российского либерализма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общественное движение в постсоветской России превратилось в одну из наиболее популярных тем англо-американского буржуазного россииеведения. Объективная основа для формирования обширного историографического комплекса заключается в масштабности и громадной исторической роли той классовой борьбы, которая неуклонно нарастала в нашей стране со временем ее вступления на путь капиталистического развития. С полной определенностью можно сказать, что увеличение числа буржуазных исторических исследований – это признание глубочайшего воздействия нашей революции на судьбы всего человечества. «Трудно пересценить то прямое и косвенное влияние, какое оказали русские социальные и политические идеи, развившиеся за столетие после восстания декабристов, на наш сегодняшний образ жизни и мышления», – писал известный английский историк И. Берлин¹. Российская революция, признают буржуазные авторы, оказала на ход мировой истории сущее более мощное воздействие, чем французская конца XVIII в.

Развернувшись в капиталистической России социально-политические процессы вызывают повышенный интерес идеологов современной буржуазии. Они стремятся не только понять «загадки» российского общественного развития, но и определить возможные перспективы революционных движений нашего времени. Экскурсы в историю России используются для поиска подходящих рецептов противодействия освободительной борьбе в современную эпоху.

В известной мере бурный количественный рост буржуазной историографии свидетельствует о ее противоречивом внутреннем состоянии. Буржуазные историки в последние времена вновь и вновь заявляют о необходимости уяснить наконец природу, характер и значение общественно-политических движений в дореволюционной России.

В понимании современных буржуазных историков постсоветская эпоха была решающей в определении исторических судеб России. Время реформ рассматривается как период интенсивной «модернизации» русского общества и одновременно как рубеж, ознаменовавший начало в нем таких политических сдвигов, которые завершились грандиозными революционными бурями начала XX в. Октябрьский финал российского освободительного движения оказывает огромное влияние на буржуазные исследования практически всех проблем отечественной истории. Многие авторы стремятся «дегуманизировать» Великую Октябрьскую социалистическую революцию, доказать, что магистральной линии российского общественного движения являлось неуклонное нарастание экстремизма, революционного насилия и террора.

Определяющей чертой внутренней жизни России, писал Э. Креншоу, была деградация «мощного движения политических и нравственных идей» в сторону революционной экзальтации и террора².

Буржуазные историки в своем подавляющем большинстве стремятся показать безрезультатность революционных путей социального развития. Суровые реальности современного мира, уверяют западные авторы, никак не соответствуют социальным и политическим утопиям революционных мыслителей. Рассуждая об особенном «идеализме» русских революционеров и чистоте их помыслов, буржуазные исследователи не устают подчеркивать мысль об «иллюзорности» классовой борьбы, ее несоответствии разумным потребностям «нормального» общественного развития.

Определяющей тенденцией англо-американского российеведения остается стремление доказать исторические преимущества либеральных направлений социального развития перед революционными. Именно этим объясняется настойчивый поиск причин поражения российского либерализма. Политическое банкротство либералов в России расценивается буржуазными исследователями как опасная аномалия, как отклонение от естественных путей «гармоничного» развития. Многие из них по-прежнему сетуют по поводу упущеных России возможностей для мирной и современной «модернизации» по образцам стран Северной Атлантики.

Современная буржуазная историография оценивает русское общественное движение как социально однородное явление. Его естественным и единственным носителем объявляется оппозиционная интеллигенция, не связанная ни с «верхами», ни с «низами» русского общества. Под революционные и либеральные выступления подводится единая социальная основа. Все расхождения между боевым демократизмом и умеренным реформизмом сводятся к различиям в темперахтах, уровнях образованности, политической зрелости интеллигентов. Классовое содержание общественно-политических течений решительно отрицается. В результате торжество революции объясняется сугубо специфическими или случайными причинами. Совершенно ясно, что подобные выводы не подтверждаются научными аргументами. Они свидетельствуют о том, что буржуазная историография все больше смыкается с политологией. Сейчас, подчеркивал В.И. Салов, вообще трудно отличить буржуазного историка-профессионала от политолога: их социальные функции полностью совпадают³. Но это значит, что буржуазная историография весьма уязвима перед лицом истории.

Выделяя основные черты буржуазных исследований, следует прежде всего отметить игнорирование их авторами борьбы противостоящих классов, оценку политического курса правящих кругов в качестве решающего фактора общественной жизни, стремление сгладить противоречия между последователями демократических и либеральных взглядов, изображение духовной

жизни страны как следствия интеллектуальной «восторнизации» русского общества. Теми же чертами отличались и русские дореволюционные буржуазные исследования⁴. Многие англо-американские историки по-прежнему используют работы А.А. Корнилова, В.Я. Богучарского, Р.В. Иванова-Разумника, С.С. Татищева в качестве первоисточников при подготовке собственных произведений.

По конечно, современные буржуазные концепции нельзя рассматривать как простое воспроизведение старого идейно-теоретического багажа. Состояние англо-американской историографии не может не отражать задачи современной идеологической ситуации. Если русские буржуазные авторы могли надеяться на перспективы реформистской эволюции страны, то нынешним западным идеологам приходится учитывать реалии современного мира. Многие из них хорошо понимают, что явные фальсификации по существу стоят вне науки. Усложнение идеологических и познавательных задач вынуждает буржуазных историков настойчиво заботиться об эффективности своих исследований. В поисках единственно верных путей изучения истории, объективности и подлинной достоверности, буржуазные авторы все чаще стремятся отойти от вульгарных и примитивных извращений российской истории⁵. Нельзя, разумеется, отрицать и наличие на Западе исследователей, обладающих весьма высоким профессиональным уровнем. Расширение научных контактов и появившаяся возможность работы в советских архивах открывают перед западными специалистами новые перспективы в изучении частных и общих проблем истории России.

Важное значение в развитии современной буржуазной историографии имеют попытки выиграть спор с советской наукой на базе «беспристрастного», «объективного» анализа. Полемизируя с академиком Н.М. Дружининым, итальянский исследователь Ф. Вентури призывал «восстановить истинность факта», «отбросив дискуссии об основополагающих положениях и о монистическом объяснении истории»⁶. Идеологическое противодействие революции и социализму остается важнейшей константой буржуазной историографии, накладывающей свой отпечаток на англо-американские исследования общественно-политической истории дореволюционной России.

Автор настоящей работы далек от наивных расчетов убедить буржуазных исследователей в бесперспективности их классовых и методологических позиций. В современную эпоху историческим исследованиям принадлежит крупнейшая роль в грандиозной борьбе за мировоззрение людей. Столкновение мировоззрений – явление объективное. Но значит ли это, что англо-американские историки не дали ничего нового или полезного в освещение социально-политического развития капиталистической России? Нет, не значит. Проведенный анализ показывает, что западные авторы поставили ряд оригинальных проблем. Это относится и к изучению истоков, формирования и

социальных функций русской демократической интеллигенции. Заслуживают внимания некоторые социально-психологические характеристики русского народничества, данные в работах Ф. Вентури, Р. Уортмана, Ф. Помпера и ряда других авторов. Следует особо подчеркнуть, что в разработке определенной проблематики западные историки весьма умело используют некоторые проблемы в советской историографии. Ощущается очевидный недостаток капитальных марксистских исследований деятельности русской интеллигенции пореформенного периода, в первую очередь ее общественно-политического облика и социальных функций. Успешной критике буржуазной исторической литературы, несомненно, способствовало бы создание марксистских трудов по социальной психологии различных общественных групп и классов капиталистической России. Необходимы энергичные усилия советских исследователей в области отечественной историографии российского общественного движения пореформенной эпохи. Нужно активизировать изучение либеральных, а также реакционных течений русской общественной мысли.

Как уже отмечалось, автор не претендует на исчерпывающую оценку англо-американской историографии общественного движения в дореволюционной России. Необходимы дальнейшие и, по возможности, коллективные усилия по изучению буржуазных интерпретаций истории докабристов, революционного демократизма, деятельности В.Г. Белинского, Д.И. Писарева и М.А. Бакунина, русского анархизма, П.Н. Ткачева, якобинства и других остро актуальных тем.

Весь смысл своей работы автор видел в том, чтобы раскрыть процесс развития буржуазной историографии, показать ее внутреннюю противоречивость, формирование в ней различных тенденций и направлений.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Введение (с. 3-14)

¹ Baron S.H. Plekhanov: The Father of Russian Marxism. Stanford, 1963. P. VII.

² Adler Ch. The Revolutionary Situation 1859-1861: The Uses of Historical Conception//Canadian Slavic Studies. 1969. Vol. 3. N 2. P. 383.

³ Imperial Russia after 1861: Peacful Modernization or Revolution?/Ed. by Adams. Boston, 1965. P. VII.

⁴ Wood A. The Origins of the Russian Revolution. 1916-1917. L., 1987. P. 1-2.

⁵ Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812-1855. Cambr. (Mass.), 1961. P. 1.

⁶ История СССР. 1964. № 5. С. 192.

⁷ Woehrlin W. Chernyshevsky: A Man and a Journalist. N. Y., 1971. P. 11.

⁸ Berlin I. Russian Populism//Encounter. 1960. Vol. 15. N 1. P. 16.

⁹ Hingley R. Nihilists: Russian Radicals and Revolutionists in the Reign of Alexander II. 1855-1881. L., 1969. P. 5.

¹⁰ Populism: Its Meanings and National Characteristics/Ed. by G. Ionescu and E. Gellner. L., 1969. P. 1-2.

¹¹ Pipes R. Struve: Liberal on the Left. 1870-1905. Cambr. (Mass.), 1970. P. 30.

¹² Подробнее см.: Хорос В.Г. Идейные течения народнического типа в развивающихся странах. М., 1980.

¹³ Mendel A.P. Dilemmas of Progress in Tsarist Russia: Legal Marxism and Legal Populism. Cambr. (Mass.), 1961. P. 13.

¹⁴ Ulam A. In the Name of the People: Prophets and Conspirators in Pre=revolutionary Russia. N. Y., 1977. P. VII.

¹⁵ Woehrlin W. Op. cit. P. 1.

¹⁶ См.: Карпачев М.Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979. С. 5-6.

¹⁷ Кон И.С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959; Семенов Ю.Н. Общественный прогресс и социальная философия современной буржуазии: Критический очерк американских и английских теорий. М., 1965; Нечкина М.В., Пашуто В.Т., Черняк Е.Б. Эволюция исторической мысли в середине XX века//Вопросы истории. 1965. № 12; Чесноков Г.Д. Современная буржуазная философия истории: Критический очерк. Горький, 1972; Ашин Г.А. Критика современной философии. М., 1979.

менных буржуазных теорий о роли народных масс и личности в истории. М., 1973; *Он же. Критика современных буржуазных концепций лидерства*. М., 1978.

¹⁸ *Ирибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии. К критике современной идеалистической философии истории*. М., 1972; *Скворцов Л.В. История и антиистория: К критике методологии буржуазной философии истории*. М., 1976; *Салов В.И. Историзм и современная буржуазная историография*. М., 1977; *Вайнштейн О.В. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX–XX веках*. Л., 1979.

¹⁹ *Могильницкий Б.Г.К. характеристика современного этапа кризиса буржуазной историографии ФРГ//Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 14. Томск, 1980; *Он же. Современный этап кризиса буржуазной исторической науки//Вопросы истории. 1980. № 9**

²⁰ *Далин В.М. Историки Франции XIX–XX веков*. М., 1981.

²¹ *Мерцалов А.Н. В поисках исторической истины: Очерк методологии критики буржуазной историографии*. М., 1984. С. 118–213.

²² *Современные буржуазные теории общественного развития*. М., 1984.

²³ *Черняк Е.Г. Маркс и новейшие направления буржуазной историографии//Маркс – историк*. М., 1968.

²⁴ *Филатова Е.М. Русская революционная демократия и ее буржуазные критики: Против искажения экономических идей демократов*. М., 1961.

²⁵ *Тарасевич Л.Е. Критика буржуазной фальсификации народного характера Великой Октябрьской социалистической революции//Борьба большевистской партии за создание политической армии социалистической революции*. М., 1967.

²⁶ *Марушкин Б.И. История и политика: Американская буржуазная историография советского общества*. М., 1979.

²⁷ *Иоффе Г.З. Февральская революция 1917 г. в англо-американской буржуазной историографии*. М., 1970.

²⁸ *Игрицкий Ю.И. Миры буржуазной историографии и реальность истории: Современная американская и английская историография Великой Октябрьской социалистической революции*. М., 1974.

²⁹ *Соболев Г.Л. Октябрьская революция в американской историографии. 1917–1970 годы*. Л., 1979.

³⁰ *Марушкин Б.И., Иоффе Г.З., Романовский Н.В. Три революции в России и буржуазная историография*. М., 1977.

³¹ *Романовский Н.В. Критика фальсификаций роли ленинской партии в трех революциях*. М., 1979. С. 107.

³² *Критика основных концепций современной буржуазной историографии трех российских революций*. М., 1983. С. 286–295.

³³ *Петров А.П. Критика фальсификации аграрно-крестьянского вопроса в трех русских революциях*. М., 1977.

³⁴ *Зырянов П.Н., Шелохаев В.В. Первая русская революция*

в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976.

³⁵ Крупина Т.Д. Теория «модернизации» и некоторые проблемы развития России конца XIX – начала XX в. // История СССР. 1971. № 1.

³⁶ Игрицкий Ю.И. Современная буржуазная историография проблемы «Россия и Запад» // Вопросы истории. 1984. № 1.

³⁷ Сухотина Л.Г. О некоторых новых тенденциях англо-американской буржуазной историографии в освещении исторического места России // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 14. Томск, 1980.

³⁸ Щетинина Г.И. Интеллигенция, революция, самодержавие: Освещение проблемы в американской буржуазной историографии // История СССР. 1970. № 6.

³⁹ Лейкина-Свирская В.Р. Зарубежная историография о довоенной революционной интеллигенции России // Историографический сборник. Вып. IV(7). Саратов, 1978.

⁴⁰ Сухотина Л.Г. Современная англо-американская буржуазная историография об истоках революционного народничества // Труды Томского университета. Т. 246. Томск, 1974; Она же. Проблемы истории русской революционно-демократической интеллигенции в современной англо-американской историографии // История и историки: Историографический ежегодник. 1976. М., 1979; Она же. Русская революционно-демократическая интеллигенция в освещении современной английской и американской буржуазной историографии: 1970-е годы // История СССР. 1981. № 6; Она же. Проблемы русской революционной демократии в современной английской и американской буржуазной историографии. Томск, 1983. В последней работе заслуживает высокой оценки обстоятельный анализ новейших тенденций в освещении буржуазной историографии российской революционной демократии.

⁴¹ Сухотина Л.Г. П.Н. Ткачев в оценке современной англо-американской буржуазной историографии // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975.

⁴² Плимак Е.Г., Хорос В.Г. «Народная воля»: история и современность // Вопросы философии. 1981. № 5.

⁴³ Маслин М.А. Идейное наследие Н.Г. Чернышевского в американской буржуазной историографии // Вестник МГУ. Философия. 1978. № 4; Мелентьев Ю.С. Философские взгляды Н.Г. Чернышевского и некоторые вопросы современной идеологической борьбы // Н.Г. Чернышевский и современность. М., 1980. С. 158–179; Федоров М.Г. Н.Г. Чернышевский. Идейная борьба вокруг духовного наследия великого мыслителя // Н.Г. Чернышевский и его наследие. Новосибирск, 1980. С. 7–24.

⁴⁴ Новиков А.И. Критика буржуазной фальсификации идеино-теоретического наследия Н.Г. Чернышевского: К характеристике историко-философских истоков // Н.Г. Чернышевский и современность. С. 229–235; Шкуринов П.С. Н.Г. Чернышевский и

критика современной буржуазной антропологии//Там же. С. 220–228.

⁴⁵ Новиков А.И. Указ. соч. С. 230.

⁴⁶ Григорьев А.Л. Спор о наследии: О некоторых концепциях русской литературы в современном буржуазном литературоведении//Русская литература. 1967. № 2; Мейлах Б.С. Ленин и проблемы русской литературы XIX – начала XX в. 4 изд. Л., 1970.

⁴⁷ Этлов В.И. Русская литература сквозь призму «психоанализа»; Пустовойт П.Г. Ф.М. Достоевский и его зарубежные истолкователи//Против буржуазных и реформистских концепций истории русской литературы. М., 1963.

⁴⁸ Подробнее см.: Волк С.С. Карл Маркс и русские общественные деятели. Л., 1969; Конюшая Р.П. Карл Маркс и революционная Россия. М., 1975.

⁴⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 67.

Глава 1(с. 15–63)

¹ Сахаров А.М. О предмете историографических исследований//История СССР. 1974. № 3.

² Anderson M.S. Britain's Discovery of Russia. 1553–1815. L., 1958. P. 235.

³ Gleason J.H. The Genesis of Russophobia in Great Britain. Cambr. (Mass.), 1950.

⁴ См.: Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VI. М., 1955. С. 196–198.

⁵ См.: История дипломатии. 2 изд. Т. I. М., 1969. С. 685–688.

⁶ См.: Татищев С.С. Император Александр II: Его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1904. С. 12–13.

⁷ The Land of Tsars from 862 to 1854. London, 1854; The Sketches of Russian Life before and during the Emancipation of the Serfs. L., 1864.

⁸ Haxthausen A. The Russian Empire, Its People, Institutions and Resources. L., 1856.

⁹ Randall F. N.G. Chernyshevskii. N.Y., 1967. P. 19.

¹⁰ См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен: В 15 кн. Кн. IX. М., 1963. С. 541.

¹¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VI. С. 192.

¹² Partridge M. Alexander Herzen. P., 1984. P. 75, 87, 90.

¹³ Ibidem.

¹⁴ См.: Парtridge M. Александр Герцен и его английские связи//Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 368.

¹⁵ Partridge M. Alexander Herzen and the Younger Joseph Cowen, M.P. Some Unpublished Material//The Slavonic and East European Review. Vol. XLII. 1962. N 96. P. 50–63.

¹⁶ The Leader. 1853. 5, 12, 19 November. N 189, 190, 191.

¹⁷ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XXX. М., 1965. С. 582. Речь шла о кн.: Pearson Ch. Russia by a Recent Traveller. Л., 1859.

¹⁸ Герцен и Запад. Литературное наследство. Т. 96. М., 1985. С. 672.

¹⁹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XVIII. М., 1959. С. 44.

²⁰ См.: Попов И.И. Тверское выступление 1862 г. и его место в событиях революционной ситуации//Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1974. С. 276.

²¹ См.: Боборыкин П.Д. Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М., 1965. С. 486.

²² Boborykin P. Nihilism in Russia//The Fortnightly Review. Vol. X. 1868. P. 137.

²³ Ibid. P. 129.

²⁴ См.: Итенберг Б.С. Отклики в западноевропейской печати на революционные события в России конца 70-х годов XIX в.//Исторические записки. Т. 97. М., 1976. С. 106–107; Троцкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866–1895. М., 1979. С. 239–269.

²⁵ Wahl O.W. The Land of the Czar. Л., 1875. P. 317.

²⁶ Edwards H.S. The Russians at Home and the Russians Abroad. Л., 1879. P. 108–109.

²⁷ Ulam A. In the Name of the People: Prophets and Conspirators in Pre-revolutionary Russia. N. Y., 1977. P. 131.

²⁸ Savage and Civilized Russia. Л., 1877.

²⁹ Bergman J. Vera Zasulich: A Biography. Stanford, 1983. P. 54.

³⁰ The Times. 1878. 24 April.

³¹ См.: Завалова Т.А. Кризис российского самодержавия в освещении газеты «Таймс». Февраль 1880 – март 1881 г.//Вторая революционная ситуация в России. Отклики на страницах прессы. М., 1981. С. 100–122.

³² Contemporary Life and Thought in Russia//The Contemporary Review. Vol. 35. 1879. June. P. 580.

³³ North American Review. Vol. 128. 1879. February. P. 174–190.

³⁴ Kaufmann M. Nihilism in Russia//The Contemporary Review. 1880. December. P. 913.

³⁵ Canliss-Owen F. The Russian Nihilism//The Nineteenth Century. Vol. 7. 1880.

³⁶ Hopkins J. Nihilism or the Terror Unmasked. Л., 1881.

³⁷ Революционное народничество 70-х годов XIX в. Т.2. М.; Л., 1965. С. 344.

³⁸ Blind K. The Conspiracies in Russia//The Contemporary Review. Vol. 35. 1879. June. P. 456.

³⁹ Harrison W. MacKenzie Wallace's View of the Russian Revolution of 1905–1907//Oxford Slavonic Papers. New Series. Vol. IV. 1971. P. 73.

⁴⁰ Wallace D.M. Russia. Vol. 1–2. Л., 1877.

⁴¹ Wallace D.M. *Russia: On the Eve of War and Revolution*/Ed. by C.E. Black. N.Y., 1961. P. IX-X.

⁴² См.: *Волк С.С. Народная воля*. М.: Л., 1966. С. 120-133.

⁴³ Collings J. A Radical in Russia//The Fortnightly Review. Vol. 39. 1883. February. P. 218.

⁴⁴ The Times. 1884. 28 May.

⁴⁵ Contemporary Life and Thought in Russia//The Contemporary Review. 1885. May. P. 733.

⁴⁶ The Times. 1890. 14 March.

⁴⁷ The Saturday Review. 1882. March. P. 251.

⁴⁸ Joubert C. The Coming Revolution in Russia//The Nineteenth Century. Vol. 56. 1904. N 331. P. 365.

⁴⁹ Blind K. Conspiracies in Russia//The Contemporary Review. Vol. 35. 1879. August. P. 901-902.

⁵⁰ Wallace D.M. Secret Societies in Russia//The Fortnightly Review. Vol. 28. 1879. August. P. 151-156.

⁵¹ Oxley T.L. *A Glance at the Character and Reign of Alexander the Second, Late Emperor of Russia*. L., 1881. P. 13, 19-20.

⁵² Foulke W. *Slav or Saxon? A Study of the Growth and Tendencies of Russian Civilization*. N.Y.; L. P. 101, 139.

⁵³ Law E.F. The Present Condition of Russia//The Fortnightly Review. Vol. 37. 1892. April. P. 466-467.

⁵⁴ Canliff-Owen F. Op. cit. P. 12.

⁵⁵ Kaufman M. Op. cit. P. 917.

⁵⁶ Johnston Ch. *Nihilism and Anarchy*//The North American Review. Vol. 171. 1900. N 3. P. 304, 316.

⁵⁷ Fraser J. *Red Russia* L., 1907. P. 27.

⁵⁸ Kimball A. The Harassment of Russian Revolutionaries Abroad: The London Trial of Vladimir Burtsev in 1898//Oxford Slavonic Papers. Vol. 6. 1973. P. 50.

⁵⁹ Hollingsworth B. The Society of Friends of Russian Freedom. English Liberals and Russian Socialists. 1890-1917//Oxford Slavonic Papers. Vol. 3. 1970. P. 47.

⁶⁰ См.: Стахевич С.Г. Среди политических преступников//Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 297.

⁶¹ См.: Революционное народничество 70-х годов XIX в. Т.2. С. 183.

⁶² Карл Маркс, Фридрих Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 428.

⁶³ Miller M. Kropotkin. Chicago; L., 1976. P. 165.

⁶⁴ Kropotkin P. The Revolutionary Party of Russia//Newcastle Daily Chronicle. 1881. 19 October; The Fortnightly Review. 1882. N 5.

⁶⁵ ЦГАОР, ф. 102, 3-е дел-во, 1881 г., д. 1333, л. 138.

⁶⁶ Там же, л. 108.

⁶⁷ Там же, д. 1574, л. 78.

⁶⁸ Фишер А. В России и в Англии: Наблюдения и воспо-

минания петербургского рабочего (1890–1921 гг.). М., 1922. С. 57.

⁶⁹ Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1990. С. 416.

⁷⁰ Майский И.М. Путешествие в прошлое: Воспоминания о русской политической эмиграции в Лондоне. 1912–1917. М., 1960. С. 120.

⁷¹ См.: Таратута Е.А. С.М. Степняк-Кравчинский – революционер и писатель. М., 1973. С. 308, 322.

⁷² Hulse J.W. Revolutionists in London: A Study of Five Unorthodox Socialists. Oxford, 1970. P. 9.

⁷³ Московские ведомости. 1885. 17 авг.

⁷⁴ Mosse G.L. Police Force in History. L., 1975. P. 17–18.

⁷⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 197.

⁷⁶ The M.P. for Russia: Reminiscences and Correspondence of Madam Olga Novikoff/Ed. by W.T. Stead. Vol. 1. L., 1909. P. 176, 301.

⁷⁷ The Break-up Nihilism in Russia: Female Nihilists. L., 1885.

⁷⁸ Noble E. The Russian Revolt: Its Causes, Conditions and Prospects. Boston, 1885. P. 230.

⁷⁹ См.: Степняк-Кравчинский С.М. В Лондонской эмиграции. М., 1968. С. 71.

⁸⁰ Лазарев Е.Е. Моя жизнь. Прага, 1935. С. 22.

⁸¹ Brandes G. Impressions of Russia. N. Y., 1889. P. 49.

⁸² Hogson E. A Night with a Nihilist. L., 1886.

⁸³ Armstrong W. Siberia and the Nihilists: Why Kennan Went to Siberia. N.Y., 1890. P. 79–80.

⁸⁴ Buel G.W. Russian Nihilism and Exile Life in Siberia. St. Louis, 1884.

⁸⁵ Подробнее об этом см.: Меламед Е.И. Джордж Кеннан против царизма. М., 1981.

⁸⁶ Kennan G. Siberia and Exile System. Vol. I–II. N. Y., 1891.

⁸⁷ Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. СПб., 1906. С. 61–62.

⁸⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 317–318.

⁸⁹ Плеханов Г.В. Соч. Т. XXIV. С. 84.

⁹⁰ ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, д. 299, л. 40.

⁹¹ ЦГАОР, ф. 102, 00 ДП, 1898 г., д. 15, ч. 46, л. 10.

⁹² См.: Колесниченко Д.А. Джордж Кеннан и царская охранка//Прометей. Т. 7. М., 1969. С. 229.

⁹³ Good J. America and the Russian Revolutionary movement, 1888–1905//The Russian Review. Vol. 41. 1982. N 3. P. 273.

⁹⁴ De Windt H. Siberia as It Is. L., 1892.

⁹⁵ Morfill W.R. A History of Russia: From the Birth of Peter the Great to the Death of Alexander II. L., 1892. P. 440.

⁹⁶ Leroy-Beailliue A. The Empire of the Tsars and the

Russians. Pt. I. N.Y.; L. 1893. P. VIII-IX.

⁹⁷ Ibid. P. 489-491.

⁹⁸ Lowe Ch. Alexander III of Russia. L. 1895. P. 312.

⁹⁹ Степняк-Кравчинский С.М. В Лондонской эмиграции.

С. 191.

¹⁰⁰ См. там же. С. 246.

¹⁰¹ См. там же. С. 259.

¹⁰² См.: Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. М., 1979. С. 74-75.

¹⁰³ The Times. 1890. 25 February.

¹⁰⁴ The Times. 1890. 10 March.

¹⁰⁵ АВПР, ф. 133 (канцелярии), оп. 470, 1890 г., д. 64, л. 392.

¹⁰⁶ Free Russia. 1890. June.

¹⁰⁷ Saunders D. Stepniak and the London Emigration: Letters to Robert Spence-Watson//Oxford Slavonic Papers. Vol. 13. 1980. P. 80-84.

¹⁰⁸ Corder P. The Life of Robert Spence-Watson. L. 1914. P. 191-196.

¹⁰⁹ Free Russia. 1890. June.

¹¹⁰ House of Lords Record Office: Historical Collection. Papers of R. Spence-Watson. N 136. D. 33. P. 1.

¹¹¹ Spence-Watson R. Friends of Russian Freedom//The Westminster Review. Vol. 133. 1890. N 5. P. 476.

¹¹² The Society of Friends of Russian Freedom: Second Annual Report of the Executive Committee (1891-1892). L. 1892. P. 1-2.

¹¹³ The Times. 1890. 12 June.

¹¹⁴ Free Russia. 1891. December.

¹¹⁵ Hollingsworth B. Op. cit. P. 50.

¹¹⁶ ЦГАОР, ф. 102, 3-е дел-во, 1890 г., д. 332, т. 1, л. 626, 62в.

¹¹⁷ Corder P. Op. cit. P. 193.

¹¹⁸ Randall F. N.G. Chernyshevskii. P. 152.

¹¹⁹ См.: Ефремова Н.П. М.К. Цебрикова - деятель революционной демократии//Вопросы истории. 1986. № 2. С. 120.

¹²⁰ АВПР, ф. 133 (канцелярии), оп. 470, 1890 г., д. 104, л. 31. См. также: Free Russia. 1890. September.

¹²¹ См.: Степняк-Кравчинский С.М. В Лондонской эмиграции. С. 427.

¹²² Nihilism as It Is. P. 56.

¹²³ См.: Степняк-Кравчинский С.М. В Лондонской эмиграции. С. 410-411.

¹²⁴ ЦГАОР, ф. 102, 3-е дел-во, 1890 г., д. 332, т. 1, л. 65-66.

¹²⁵ АВПР, ф. 133 (канцелярии), оп. 470, 1891 г., д. 100, л. 84.

¹²⁶ АВПР, ф. 133 (канцелярии), оп. 470, 1893 г., д. 101, л. 203-205.

¹²⁷ Free Russia. 1891. January.

¹²⁸ Nihilism as It Is. L. P. X.
¹²⁹ The Saturday Review. 1895. 9 February.
¹³⁰ ЦГАОР, ф. 102, СО ДН, 1898 г., д. 15, ч. 46, л. 12.
¹³¹ Public Record Office, F.O., 65, 1543, A 59 222/4.
¹³² Senese D. «Le Vil Melville»: Evidence from the Okhrana File on the Trial of Vladimir Burtsev//Oxford Slavonic Papers. Vol. 14. 1981. P. 150–151.
¹³³ Public Record Office, F.O., 65, 1544.
¹³⁴ Ibidem.
¹³⁵ The Times. 1897. 17 December.
¹³⁶ См.: Бурцев В. В погоне за провокаторами. М.; Л., 1928. С. 28.
¹³⁷ Free Russia. 1914. January–April.
¹³⁸ Free Russia. 1910. July.
¹³⁹ The Society of Friends of Russian Freedom: Eight Annual Report of the Executive Committee (1898–1899). L., 1899. P. 9.
¹⁴⁰ ЦГАОР, ф. 102, 00 ДП, 1898 г., д. 497, л. 7.
¹⁴¹ Journal of the Parliamentary Russian Committee. 1909. N 1. P. 2.
¹⁴² Hollingsworth B. Op. cit. P. 63.
¹⁴³ Free Russia. 1914. January–April.
¹⁴⁴ См.: Краснов И.М., Кравченко И.Н. Прогрессивная Америка и революционные события в России//Новая и новейшая история. 1986. № 1. С. 76.
¹⁴⁵ Free Russia. 1890. June.
¹⁴⁶ См.: Степняк-Кравчинский С.М. В Лондонской эмиграции. С. 360.
¹⁴⁷ Independent Review. 1906. February.
¹⁴⁸ См.: Перрис Дж. Пионеры русской революции. СПб., 1906. С. 152.
¹⁴⁹ Fraser J.F. The Real Siberia. L., 1902.
¹⁵⁰ Fraser J.F. Red Russia. L., 1907. P. 23, 27.
¹⁵¹ Hume G. Thirty Five Years in Russia. L., 1914. P. 219.
¹⁵² Sarolea Ch. Europe's Debt to Russia. L., 1916. P. 56–61, 65–68.
¹⁵³ Lasch Ch. The American Liberals and the Russian Revolution. N.Y., 1962. P. 5. См. также: Ганелин Р.Ш. Россия и США. 1914–1917: очерки истории русско-американских отношений. Л., 1969. С. 158.
¹⁵⁴ См.: Соболев Г.Л. Октябрьская революция в американской историографии. 1917–1970-е годы. Я., 1979. С. 8.
¹⁵⁵ Hecker J. Russian Sociology: A Contribution to the History of Sociological Thought and Theory. N.Y., 1915. P. 19, 87, 118, 155.
¹⁵⁶ Milukov P. Russia and Its Crisis. Chicago, 1905; Klyuchevskij V.O. A History of Russia. Vol. 1–5. N.Y., 1911–1928; Kornilov A. Modern Russian History. Vol. 1–2. N.Y., 1916

¹⁵⁷ Baddley J. Russia in the «Eighties». L., 1921.
 P. 108.

¹⁵⁸ Long R. Russian Revolution Aspects. N.Y., 1919.
 P. 103-105.

¹⁵⁹ Эренбург И.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М., 1966.
 С. 111.

¹⁶⁰ Об этом подробно см.: Краснов И.М. Отклики американской общественности на победу Октября//Вопросы истории КПСС. 1967. № 11; Березкин А.В. Октябрьская революция и США. 1917-1922. М., 1967.

¹⁶¹ Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1957.
 С. 12.

¹⁶² Pares B. Russia: Between Reform and Revolution. N.Y., 1962. P. 60.

¹⁶³ Ibid. P. IX-X.

¹⁶⁴ Masaryk T. The Spirit of Russia. Vol. 1-2. L., 1919.

¹⁶⁵ Cheshire H.T. The Radicals of the Sixties and Their Leaders//The Slavonic Review. Vol. 1. 1922. N 1. P. 112-120.

¹⁶⁶ American Research on Russia/ Ed. by G. Fisher. Bloomington, 1959. P. 29.

¹⁶⁷ Rodichev F. The Liberal Movement in Russia//The Slavonic Review. Vol. 2. 1923. N 4. P. 1-12; Idem. The Veteran of Russian Liberalism - Ivan Petrunkevich//The Slavonic and East European Review. Vol. 7. 1929. P. 317-326.

¹⁶⁸ История СССР. 1961. № 5.

¹⁶⁹ Karpovich M. Imperial Russia. 1801-1917. N.Y., 1932. P. 49.

¹⁷⁰ Karpovich M. A Forerunner of Lenin P.N. Tkachev//The Review of Politics. Vol. 6. 1944. N 3.

¹⁷¹ См.: Соболев Г.Л. Указ. соч. С. 118. См. также: Warth R.D. On the Historiography of the Russian Revolution//The Slavic Review. Vol. 26. 1967. N 2.

¹⁷² Carr E. Michael Bakunin. L., 1937.

¹⁷³ Carr E. The Romantic Exiles. L., 1933. P. 226.

¹⁷⁴ Sumner B. A Short History of Russia. N.Y., 1943. P. 309-310.

¹⁷⁵ Robinson G. Rural Russia under the Old Regime. Berkeley, 1967.

¹⁷⁶ Graham S. The Tsar of Freedom: The Life and Reign of Alexander II. New Haven, 1935. P. 100.

¹⁷⁷ Footman D. Red Prelude: The Life of the Russian Terrorist Zhelyabov. L., 1944. P. 7.

¹⁷⁸ Barghoorn F. The Russian Radicals of the 1860's and the Problem of the Industrial Proletariat//The Slavonic and East European Review. Vol. 21. 1943. N 56.

¹⁷⁹ Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia. L., 1952. P. X.

¹⁸⁰ См.: Генри Э. Кто платит антикоммунистам//Проблемы мира и социализма. 1962. № 2.

¹⁸¹ См.: Тицков В.А. История и историки в США. М., 1985. С. 44.

¹⁸² Randall F. N.G. Chernyshevskii. Р. 154.

¹⁸³ Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. N.Y., 1970. Р. 200.

¹⁸⁴ Kurharzewsky J. The Origins of Modern Russia. P. 103.

¹⁸⁵ Таковы, например, работы Г. Кона, искавшего в «русском духе» объяснения причин мощного размаха революционной борьбы в России//Карякин Ю., Плимак Е. Мистер Кон исследует «русский дух». М., 1961.

¹⁸⁶ Payne R. The Terrorists: The Story of the Forerunners of Stalin. N.Y., 1957. Р. XIII–XIV.

¹⁸⁷ Подробнее см.: Карпачев М.Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979. С. 34–37.

¹⁸⁸ Meijer J. Knowledge and Revolution: The Russian Colony in Zuerich (1870–1873). Assen, 1955; Lampert E. Studies in Rebellion. L., 1957.

¹⁸⁹ Blum J. Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. Princeton, 1961. Р. 4–5.

¹⁹⁰ Venturi F. Roots of Revolution. N.Y., 1960.

¹⁹¹ Dossick J. Doctoral Research of Russia and the Soviet Union. 1960–1975. N.Y.; L., 1976. Р. IX.

¹⁹² Imperial Russia After 1861: Peaceful Modernization or Revolution?/Ed. by A. Adams. Boston, 1965. Р. VII.

¹⁹³ The Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change since 1961/Ed. by C. Black. Cambr. (Mass.), 1960. Р. 7.

¹⁹⁴ Blum J. Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. Р. 618–620.

¹⁹⁵ Walkin J. The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia. L., 1963. Р. 17, 106.

¹⁹⁶ Billington J. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. N.Y., 1966. Р. 361.

¹⁹⁷ Gleason A. Op. cit. Р. X.

¹⁹⁸ Naimark N. Terrorists and Social Democrats: The Russian Revolutionary Movement under Alexander III. Cambr. (Mass.), 1983. Р. 2.

¹⁹⁹ См.: Марушкин Б.И., Иоффе Г.З., Романовский Н.В. Три революции в России и буржуазная историография. М., 1977. С. 17.

²⁰⁰ Пушкирев С. Обзор русской истории. Нью-Йорк, 1952. С. 7.

²⁰¹ Seton-Watson H. The Russian Empire. L., 1967. Р. IX–X.

²⁰² Beloff M. Before the Flood//Encounter. Vol. 30. 1968. N 6. Р. 72.

²⁰³ Использование психоанализа – явление для буржуазной науки не новое. Еще П. Сорокин опирался на бихевиоризм при объяснении механизма социальных революций (Sorokin P. The

Sociology of Revolution. Philadelphia, 1925).

²⁰⁴ Gross F. The Seizure of Political Power in a Century of Revolutions. N.Y., 1958. P. 88-89.

²⁰⁵ Seth R. The Russian Terrorists: The Study of the Narodniki. L., 1966.

²⁰⁶ Szamuely T. The Russian Tradition. L., 1974.

²⁰⁷ The Russian Review. Vol. 35. 1976. N 3. P. 336.

²⁰⁸ Szeftel M. Two Negative Appraisals of Russian Pre-revolutionary Development//Canadian-American Slavic Studies. Vol. 14. 1980. N 1. P. 82.

²⁰⁹ Seton-Watson H. The Russian Empire. P. VIII.

²¹⁰ The Russian Review. Vol. 17. 1960. N 1. P. 70.

²¹¹ Riasanovsky N. A History of Russia. N.Y., 1977. P. 502.

²¹² Lampert E. Sons Against Fathers: Studies in Russian Radicalism and Revolution. L., 1965. P. 44.

²¹³ Miller M. Kropotkin. P. 81.

²¹⁴ Brower D. Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia. L., 1975; Venturi F. Op. cit.

²¹⁵ Woehrlin W. Chernyshevsky: A Man and a Journalist. N.Y., 1971.

²¹⁶ Offord D. The Russian Revolutionary Movement in the 1880's. Cambr., 1986.

²¹⁷ Brower D. Op. cit. P. 33-34.

²¹⁸ История СССР. 1964. № 5. С. 200.

²¹⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 39-40.

²²⁰ Sapir B. Unknown Chapters in the History of «Вперед»//International Review of Social History. Vol. 2. Assen, 1957; «Вперед!» 1873-1877. Материалы из архива Валериана Николаевича Смирнова. Открыл, снабдил примечаниями и очерком истории «Вперед!» Б. Сапир (Vol. 1-2. Dordrecht, Holland, 1970). Обстоятельный анализ этих материалов дан в статье В.Ф. Антонова и И.С. Вахрушева «Новый источник по истории революционного движения 70-х годов XIX века» (Историография и источниковедение: Труды Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Т. 72. Вып. 5. М., 1974).

²²¹ Лавров - годы эмиграции. Т. 1-2. Dordrecht; Boston, 1974. См. обстоятельную рецензию М.Г. Седова на это издание (Вопросы истории. 1977. № 7).

²²² Archives Bakounine: Textes établis et annotés pur Arthur Lehning. Vol. 1-3. Leiden, 1961-1967.

²²³ Kohn H. The Mind of Modern Russia. New Jersey, 1957; Dmytryshin B. Imperial Russia: A Source Book. 1700-1917. N.Y., 1958; Raeff M. Russian Intellectual History: An Anthology. N.Y., 1966.

Глава 2 (с. 64–108)

¹ Szamuely T. *The Russian Tradition*. L., 1974. P.143.

² Malia M. *Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism*. Cambr. (Mass.), 1961. P. 5.

³ Walkin J. *The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia*. L., 1963. P. 74–79.

⁴ Ленинизм и борьба против буржуазной идеологии и антикоммунизма на современном этапе. М., 1970.

⁵ Wren M. *The Western Impact on Russia*. N.Y., 1976. P. 229.

⁶ Пайес Р. *Россия при старом режиме*. Нью-Йорк, 1974. С. 37.

⁷ Там же. С. 66.

⁸ Там же. С. XIX.

⁹ Wortman R. *The Development of a Russian Legal Consciousness*. Chicago, 1976. P. 285.

¹⁰ Seton-Watson H. *The Russian Empire. 1801–1917*. L., 1967. P.11–12.

¹¹ См., например: Миронов Б.Н. Американская буржуазная историография русского феодального города // Вопросы истории. 1984. № 7. С.36.

¹² Nolte H. *Periodizing Russian History and Russia's Relationship to Western Europe* // Russian and East European History / Ed. by R. Elwood. Berkeley, 1984. P. 65–66.

¹³ См.: Дементьев Н.П. Теория американской исключительности в исторической мысли США / Вопросы истории. 1986. С. 81.

¹⁴ Karpovich M. *The Imperial Russia. 1801–1917*. N.Y., 1932. P.12–14.

¹⁵ Grey J. *Peter the Great: Emperor of All Russia*. Philadelphia, 1960. P. 27.

¹⁶ Masaryk T. *The Spirit of Russia*. Vol. 1. L., 1919. P. 1–2.

¹⁷ Gleason A. *Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1860's*. N.Y., 1980. P. 3–4.

¹⁸ Barghoorn F.D. Pisarev: A Representative of Russian Nihilism // The Review of Politics. Vol. 10. 1948. N 2. P. 190.

¹⁹ Randall F.N.G. Chernyshevskii. N. Y., 1967. P. 27.

²⁰ Broido V. *Apostles into Terrorists: Women and the Revolutionary Movement in the Russia of Alexander II*. N.Y., 1977. P. 8.

²¹ Gross F. *The Seizure of Political Power in a Century of Revolutions*. N.Y., 1958. P. 95.

²² Wren M. *The Western Impact on Russia*. P. 109.

²³ Ibid. P. 146.

²⁴ Malia M. *What Is Intelligentsia? The Russian Intelligentsia* / Ed. by R. Pipes. N.Y., 1961. P. 9–10.

²⁵ Пайпс Р. Указ. соч. С. 341.

²⁶ Kelly A. Mikhail Bakunin. Oxford, 1982. P. 5.

²⁷ Tikhomiroff L. Russia: Political and Social. L., 1888. P. 15.

²⁸ Riasanovsky N. A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia. 1801-1855. Oxford, 1976. P. 248-249.

²⁹ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Нью-Йорк, 1955. С. 21.

³⁰ Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia. L., 1952. P. 18.

³¹ Fisher G. The Intelligentsia and Russia // The Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change since 1861 / Ed. by C. Black. Cambr. (Mass.), 1960. P. 253.

³² Billington J. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. N.Y., 1966. P. 288.

³³ Szamuely T. Op. cit. P. 161.

³⁴ Wren M. Op. cit. P. 191.

³⁵ Nahirny V. The Russian Intelligentsia: From Torment to Silence. New Brunswick; L., 1983. P. 35.

³⁶ Daniels R. Intellectuals and the Russian Revolution // The American Slavic and East European Review. Vol. 20. 1961. N 2. P. 270, 272.

³⁷ Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia // The Russian Intelligentsia. P. 48.

³⁸ McConnel A. The Origins of the Russian Intelligentsia // The Slavonic and East European Journal. Vol. VIII. 1964. N 2. P. 6.

³⁹ Brower D. Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia. L., 1975. P. 44.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Crankshaw E. The Shadow of the Winter Palace: The Drift to Revolution. 1825-1917. L., 1976. P. 221.

⁴² Confino M. On Intellectuals and Intellectual Traditions in Eighteenth and Nineteenth Century // Daedalus. Vol. 101. 1972. N 2. P. 149.

⁴³ Ibid. P. 142.

⁴⁴ Confino M. Op. cit. P. 128-129, 137.

⁴⁵ Emmons T. The Russian Landed Gentry and Politics // The Russian Review. Vol. 33. 1974. II 3. P. 269-270.

⁴⁶ Gleason A. Op. cit. P. 121.

⁴⁷ Pomper Ph. Russian Revolutionary Intelligentsia. N.Y., 1970. P. 114.

⁴⁸ Manning R. The Crisis of the Old Order in Russia: Gentry and Government. Princeton, 1982. P. 32.

⁴⁹ Pushkin M. Rasnochintsy in University: Government Policy and Social Change in Nineteenth Century Russia // International Review of Social History. Vol. 26. 1981. Pt 1. P. 36.

⁵⁰ Nahirny V. Op. cit. P. 154-157.

⁵¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 309.

⁵² Там же. Т.4. С. 209.

⁵³ Чуковский К.И. Живой как жизнь: Разговор о русском языке. М., 1969. С. 51.

⁵⁴ Любимов Л. На чужбине. М., 1963. С. 43.

⁵⁵ Там же. С. 44.

⁵⁶ См.: Бимме С.Ю. Воспоминания: В 3 т. Т. 2. М., 1960. С. 328.

⁵⁷ Цит. по: Глинский Б.Б. Очерки русского прогресса. СПб., 1900, С. 544.

⁵⁸ Рашин А.Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале XX века // Исторические записки. Т. 37. М., 1951. С. 32, 37.

⁵⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 127.

⁶⁰ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 92.

⁶¹ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 14.

⁶² Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978. С. 176.

⁶³ Лейкина-Смирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С. 70.

⁶⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 441-442.

⁶⁵ Там же. Т. 14. С. 191.

⁶⁶ Там же. Т. 7. С. 343.

⁶⁷ Воровский В.В. Соч. Т. II. М., 1931. С. 14.

⁶⁸ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 302-303.

⁶⁹ Daniels R. Russia. New Jersey, 1964. P. 60.

⁷⁰ Пайпс Р. Указ. соч. С. 147, 170.

⁷¹ Barghoorn F.D. Pisarev: A Representative of Russian Nihilism // Review of Politics. Vol. 10. 1948. N 2. P. 190-191.

⁷² The Transformation of Russian Society. P. 661.

⁷³ Nahirny V. Op. cit. P. 157.

⁷⁴ Пайпс Р. Указ. соч. С. 336-337.

⁷⁵ Kudryavtsev A. The Past and Present of the Intelligentsia // Studies in Soviet Thought. Vol. 17. 1977. N 4. P. 333-334.

⁷⁶ См.: Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. Ч. II. М., 1918. С. 2.

⁷⁷ Harcave S. Russia: A History. N.Y., 1956. P. 218.

⁷⁸ Szamuely T. Op. cit. P. 151-154.

⁷⁹ Pereira N. The Thought and Teachings of N.G. Chernyshevskii. The Hague; P., 1975. P. 60.

⁸⁰ Fisher G. Russian Liberalism: From Gentry to Intelligentsia. Cambr. (Mass.), 1958. P. 50.

⁸¹ Florinsky M. A History and Interpretation. Vol. 2. N.Y., 1953. P. 1031.

⁸² Brower D. Training the Nihilists. P. 230.

⁸³ Feuer L. The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements. N.Y.; L., 1969. P. 89.

⁸⁴ Ibid. P. 97-98.

⁸⁵ Gleason A. Young Russia. P. 129.

⁸⁶ См.: США: Студенты и политика. Американское студенчество в демократической борьбе в 60-70-х гг. М., 1974. С. 18, 293.

⁸⁷ Мещерский В.П. Воспоминания. Ч. 1. СПб., 1896. С. 152-153, 155.

⁸⁸ Alston P. Education and the State in Tsarist Russia. Stanford, 1969. P. 114.

⁸⁹ См.: Розенталь В.Н. Русский либерал 50-х годов XIX в.: Общественно-политические взгляды К.Д. Кавелина в 50-х - начале 60-х годов // Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. М., 1974. С. 242.

⁹⁰ Пайпс Р. Указ. соч. С. 196-197.

⁹¹ Там же. С. 17-18.

⁹² Blum J. Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. Princeton, 1961; The Peasant in Nineteenth Century Russia / Ed. by W. Vucinich. Stanford, 1968.

⁹³ Гиндин И.Ф. Концепция капиталистической индустриализации России в работах Теодора фон Лауэ//История СССР. 1971. № 4. С. 204, 212.

⁹⁴ Пайпс Р. Указ. соч. С. 213.

⁹⁵ Там же. С. 203.

⁹⁶ Walkin J. The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia. P. 100.

⁹⁷ Avrich P. Russian Rebels. 1600-1800. N.Y., 1972. P. 270-271.

⁹⁸ Lampert E. Sons against Fathers: Studies in Russian Radicalism and Revolution. L, 1965. P. 91.

⁹⁹ Zelnik R. Labour and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St.Petersburg. 1855-1870. Stanford, 1971. P. 2.

¹⁰⁰ Bowman H. Vissarion Belinskii. 1811-1848: A Study in the Origins of Social Criticism in Russia. Cambr. (Mass.), 1954. P. 7-8.

¹⁰¹ Seton-Watson H. The Russian Empire. P. 538.

¹⁰² Пайпс Р. Указ. соч. С. 254, 293.

¹⁰³ Там же. С. 334.

¹⁰⁴ Keep J. The Rise of Social Democracy in Russia. Oxford, 1963. P. 11.

¹⁰⁵ Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. L, 1967. P. 184.

¹⁰⁶ Gerschenkron A. Franco Venturi on Russian Populism//The American Historical Review. Vol. 78. 1973. N 4. P. 972-974.

¹⁰⁷ Berlin I. Russian Populism//Encounter. Vol. 25. 1960. N 1. P. 16.

¹⁰⁸ См. предисловие И. Берлина к кн.: Raeff M. Russian Intellectual History. N.Y., 1966. P. 8.

¹⁰⁹ Kohn H. The Mind of Modern Russia. New Jersey, 1957.
 Р. 10.

¹¹⁰ Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия. Берлин, 1900. С. 19.

¹¹¹ Bergman J. Vera Zasulich: A Biography. Stanford, 1983. P. 11.

¹¹² Malia M. What Is the Intelligentsia?//The Russian Intelligentsia. P. 15.

¹¹³ Овсянко-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1913. С. V.

¹¹⁴ Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 81.

¹¹⁵ См.: Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 518, 542.

¹¹⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 140.

¹¹⁷ Дружинин Н.М. Конфликт между производительными силами и феодальными производственными отношениями накануне реформы 1861 года//Вопросы истории. 1954. № 7. С. 76.

¹¹⁸ Ляшенко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.1. 4 изд. М., 1956. С. 573.

¹¹⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 141.

¹²⁰ Вульфсон Г.Н. Разночинно-демократическое движение в Поволжье и на Урале в годы первой революционной ситуации. Казань, 1974. С. 137.

¹²¹ Щапов А.П. Соч. Т. 2. СПб., 1908. С. 557-558.

¹²² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 130.

¹²³ Подробнее см.: Пантин И.К., Плиман Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. 1783-1883 гг. М., 1986.

¹²⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 117.

¹²⁵ Там же. Т. 9. С. 192.

¹²⁶ Малаховский В. На два фронта. М., 1930. С. 46.

¹²⁷ Степняк-Кравчинский С.М. В Лондонской эмиграции. М., 1968. С. 292.

¹²⁸ Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. М., 1954. С. 460.

¹²⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 351.

¹³⁰ Там же. Т. 13. С. 356.

¹³¹ Там же. Т. 23. С. 399.

¹³² Там же. Т. 7. С. 62.

¹³³ Nahirny V. Op. cit. P. 16.

¹³⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 316.

¹³⁵ Там же. Т. 6. С. 30-31.

¹³⁶ Там же. Т. 4. С. 365.

¹³⁷ Плеханов Г.В. Соч. Т. II. С. 81-82.

¹³⁸ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 335.

¹³⁹ Lampert E. Op. cit. P. 1-2.

¹⁴⁰ Mazour A. Russia: Tsarist and Communist. Princeton, 1962. P. 253.

¹⁴¹ Crankshaw E. The Shadow of the Winter Palace. P. 25.

¹⁴² Wortman R. The Development of a Russian Legal Consciousness. Chicago, 1976. P. 2.

¹⁴³ Yarmolinsky A. Road to Revolution: A Century of Russian Radicalism. L., 1957. P. 57.

¹⁴⁴ Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. СПб., 1907. С. 8.

¹⁴⁵ Riasanovsky N. A Parting of Ways. P. 256.

¹⁴⁶ Пайне Р. Указ. соч. С. 214.

¹⁴⁷ Blum J. Lord and Peasant in Russia. P. 614, 617.

¹⁴⁸ Ibid. P. 617.

¹⁴⁹ Field D. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia. 1855-1861. Cambr. (Mass.), 1976. P. 52-53, 54, 56.

¹⁵⁰ Riasanovsky N. A Parting of Ways. P. 260-262.

¹⁵¹ Almedingen E. The Emperor Alexander II. L., 1962. P. 186.

¹⁵² Wren M. The Course of Russian History. N.Y., 1958. P. 416.

¹⁵³ Shapiro L. Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth Century Political Thought. New Haven; L., 1967. P. 48.

¹⁵⁴ Mosse W. Alexander II and the Modernization of Russia. N.Y., 1962. P. 106.

¹⁵⁵ Ibid. P. 69.

¹⁵⁶ Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. Oxford, 1958. P. 12.

¹⁵⁷ Pares B. Russia: Between Reform and Revolution. N.Y., 1962. P. 59.

¹⁵⁸ Tompkins S. The Russian Intelligentsia: Makers of the Revolutionary State. Norman, 1957. P. 233.

¹⁵⁹ Wallace D.M. Russia. Vol. 2. L., 1905. P. 109.

¹⁶⁰ Maynard J. Russia in Flux: Before October. N.Y., 1962. P. 29.

¹⁶¹ Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 11.

¹⁶² Корнилов А.А. Общественное движение при Александре II. 1855-1881. М., 1909. С. 20.

¹⁶³ Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1990. С. 171-172.

¹⁶⁴ Almedingen E. Op. cit. P. 311.

¹⁶⁵ Kohn H. The Mind of Modern Russia. New Jersey, 1957. P. 150.

¹⁶⁶ Crankshaw E. Op. cit. P. 175-176.

¹⁶⁷ Чичерин Б.Н. Воспоминания. Московский университет. М., 1929. С. 13-14.

¹⁶⁸ Зайончковский П.А. Записка К.Д. Кавелина о нигилизме // Исторический архив. Т. V. 1950. С. 327.

¹⁶⁹ Baron S. Plekhanov: The Father of Russian Marxism. Stanford, 1963. P. 1.

¹⁷⁰ Walsh W. Russia and the Soviet Union: A Modern History. N.Y., 1952. P. 260.

¹⁷¹ Crankshaw E. Op. cit. P. 254.

¹⁷² Seton-Watson H. The Russian Empire. P. 347.

¹⁷³ Wren M. Op. cit. P. 411–412.

¹⁷⁴ Blum J. Op. cit. P. 3.

¹⁷⁵ Robinson G. *Rural Russia under the Old Regime*. Berkeley, 1967.

¹⁷⁶ Masaryk T. *The Spirit of Russia*. Vol. 1. P. 195.

¹⁷⁷ Emancipation of Russian Serfs/ Ed. by T. Emmons. N.Y., 1970. P. 72.

¹⁷⁸ The City in Russian History. Lexington, 1976. P. 306.

¹⁷⁹ Crankshaw E. Op. cit. P. 183.

¹⁸⁰ Wood A. *The Origins of the Russian Revolution. 1861–1917*. L., 1987. P. 14.

¹⁸¹ Walkin J. *The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia*. P. 83–84.

¹⁸² Zenkovsky S. *The Emancipation in Retrospect// The Russian Review*. Vol. 20. 1961. N 4. P. 287.

¹⁸³ Riasanovsky N. *A History of Russia*. N.Y., 1977. P. 420.

¹⁸⁴ Crankshaw E. Op. cit. P. 180.

¹⁸⁵ Bruce P. *The Making of Modern World: From the Renaissance to the Present*. N.Y., 1956. P. 568.

¹⁸⁶ Глинский Б.Б. *Борьба за конституцию. 1612–1861*. СПб., 1908. С. 514.

¹⁸⁷ Laue Th. *Why Lenin? Why Stalin? A Reappraisal of the Russian Revolution. 1900–1930*. N.Y., 1964. P. 93.

¹⁸⁸ Wortman R. *The Development of a Russian Legal Consciousness*. P. 286–287.

¹⁸⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 61–62.

¹⁹⁰ Подробнее об этом см.: Алпатов М.А. *Политические идеи буржуазной историографии*. М.; Л., 1949. С. 158.

¹⁹¹ См.: Токвиль А. *Старый порядок и революция*. Пг., 1918. С. 3.

¹⁹² Пайпс Р. Указ. соч. С. 219.

¹⁹³ Tompkins S. Op. cit. P. 99.

¹⁹⁴ Kohn H. *Basic History of Modern Russia*. N.Y., 1957. P. 18.

¹⁹⁵ Russia under the Last Tsar/ Ed. by T. Stavrou. Minneapolis, 1969. P. 41.

¹⁹⁶ Нечкина М.В. *Встреча двух поколений: Из истории русского революционного движения конца 50-х – начала 60-х годов XIX века*. М., 1980. С. 402.

Глава 3 (с. 109–153)

¹ Ulam A. *In the Name of the People: Prophets and Conspirators in Pre-revolutionary Russia*. N.Y., 1977. P. 18.

² Ibid. P. 53.

³ Katz M. Mikhail N. Katkov: A Political Biography. 1818–1887. The Hague, 1966. P. 45.

⁴ Clarkson J. A History of Russia. N.Y., 1961. P. 367.

⁵ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 29–30.

⁶ Billington J. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. N.Y., 1966. P. 385.

⁷ Cole G. Socialist Thought: Marxism and Anarchism. 1850–1890. L., 1957. P. 47.

⁸ Heier E. Tolstoy and Nihilism//Canadian Slavic Papers. Vol. 11. 1969. N 4. P. 454.

⁹ Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1990. С. 266.

¹⁰ Степняк-Кравчинский С.М. Соч. Т. 1. М., 1958. С. 367.

¹¹ Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. N.Y., 1970. P. 93, 102–103.

¹² Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1860's. N.Y., 1980. P. 71–72.

¹³ Broido V. Apostles into Terrorists: Women and the Revolutionary Movement in the Russia of Alexander II. N.Y., 1977. P. 17–18.

¹⁴ Venturi F. Roots of Revolution. N. Y., 1960. P. 316.

¹⁵ Confino M. On Intellectuals and Intellectual Traditions in Eighteenth and Nineteenth Century Russia//Daedalus. 1972. Vol. 101. N 2. P. 130–134.

¹⁶ Степняк-Кравчинский С.М. Соч. Т. 1. С. 368.

¹⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 32. С. 364.

¹⁸ См.: Прибылева-Корба А.П., Фигнер В.Н. Народоволец А.Д. Михайлов. Л., 1925. С. 62.

¹⁹ Дебогорий-Мокриевич Вл. Воспоминания. СПб., 1906. С. 34.

²⁰ Дейч Л. Социалистическое движение начала 70-х годов в России. Ростов н/Д, 1925. С. 19–20.

²¹ См.: Седов М.Г. Современники и историки о русском нигилизме//История СССР. 1984. № 5. С. 65. Понятие «нигилизм» многозначно и его использование зависит от позиции исследователя (см.: Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты: Опыт критической характеристики. М., 1972. С. 16–17). В данном случае речь идет о нигилизме как о социально-нравственном явлении, в котором нашли выражение некоторые психологические черты разночинной интеллигенции 60-х годов XIX в.

²² См.: Кузнецов Ф.Ф. «Нигилизм» и нигилизм: О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева//Новый мир. 1982. № 4.

²³ Венгеров С.А. Очерки по истории русской литературы. СПб., 1907. С. 73.

²⁴ Hecht D. Russian Radicals Look to America. 1825–1894. Cambr. (Mass.), 1947. P. 5.

²⁵ Riasanovsky N. A History of Russia. N.Y., 1977. P. 423.

²⁶ Slonim M. The Epic of Russian Literature. Oxford, 1950. P. 206.

²⁷ См.: Вандалковская М.Г. История изучения русского революционного движения середины XIX века. 1890-1917 гг. М., 1982. С. 20.

²⁸ Gleason A. Op. cit. P. 122.

²⁹ Pushkarev S. The Emergence of Modern Russia. 1801-1917. N.Y., 1963. P. 177.

³⁰ Kohn H. The Mind of Modern Russia. New Brunswick, 1955. P. 138.

³¹ Kohn H. Basic History of Modern Russia. Princeton, 1957. P. 18.

³² Пайпс Р. Русский консерватизм во второй половине XIX века: Доклад на XIII Международном конгрессе исторических наук. М., 1970. С. 4.

³³ Barghoorn F. Pisarev: A Representative of Russian Nihilism//The Review of Politics. Vol. 10. 1948. N 2. P. 211.

³⁴ Wren M. The Western Impact upon Russia. N.Y., 1976. P. 101.

³⁵ Masaryk T. The Spirit of Russia. Vol. 2. L., 1919. P. 59-60.

³⁶ Clarkson J. A History of Russia. P. 374.

³⁷ Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1956. С. 68.

³⁸ Там же. С. 105.

³⁹ Там же. Т. 2. С. 393.

⁴⁰ Писарев Д.И. Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 6. СПб., 1905. С. 129.

⁴¹ Lampert E. Sons against Fathers: Studies in Russian Radicalism and Revolution. L., 1965. P. 327-328.

⁴² Barghoorn F. Pisarev: A Representative of Russian Nihilism. P. 194.

⁴³ Hecht D. Op. cit. P. 9-10.

⁴⁴ Pares B. A History of Russia. L., 1937. P. 371.

⁴⁵ Pomper Ph. Peter Lavrov and the Russian Revolutionary Movement. Chicago; L., 1972. P. 93.

⁴⁶ Venturi F. Op. cit. P. 1-19.

⁴⁷ Ibid. P. VII.

⁴⁸ Walicki A. The Controversy over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists. L., 1969. P. 74.

⁴⁹ Masaryk T. The Spirit of Russia. Vol. 2. P. 73-74.

⁵⁰ Billington J. The Icon and the Axe. P. 402.

⁵¹ Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. P. 120, 186.

⁵² Berdyaev N. The Origin of Russian Communism. N.Y., 1960. P. 9, 12, 48.

⁵³ Мережковский Д.С. Полн. собр. соч. Т. XI. СПб., 1912. С. 27-28.

⁵⁴ Sumner B. A Short of Russia. N.Y., 1943. P. 310.

⁵⁵ Seton-Watson H. Nationalism and Communism: Essays. 1946-1963. L., 1964. P. 70.

⁵⁶ Heier E. Tolstoy and Nihilism//Canadian Slavic Papers. Vol. 11. 1969. N 4. P. 456.

⁵⁷ Майский И.М. Путешествие в прошлое: Воспоминания о русской политической эмиграции в Лондоне. 1912-1917. М., 1960. С. 144.

⁵⁸ Архив А.М. Горького. Т. 1: История русской литературы. М., 1939. С. 140-141.

⁵⁹ Sapir B. Unknown Chapters in the History of «Vpered»//International Review of Social History. Assen. Vol. 2. Pt. 1. 1957. P. 64.

⁶⁰ Булгаков С. Интеллигенция и религия//Русская мысль. 1908. № 3. Ч. 2. С. 74.

⁶¹ Майский И.М. Указ. соч. С. 242.

⁶² The Slavonic and East European Review. Vol. 37. 1958. N 88. P. 296.

⁶³ Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia. L., 1952. P. 58.

⁶⁴ Dan Th. The Origins of Russian Bolshevism. L., 1964. P. 90.

⁶⁵ Lampert E. Op. cit. P. 28; Venturi F. Op. cit. P. 208.

⁶⁶ Ulam A. Op. cit. P. 73.

⁶⁷ Seton-Watson H. The Russian Empire. L., 1967. P. 366.

⁶⁸ Randall F. N.G. Chernyshevskii. N.Y., 1967. P. 99.

⁶⁹ Pereira N. The Thought and Teaching of N.G. Chernyshevskii. The Hague, 1975. P. 6.

⁷⁰ Lampert E. Op. cit. P. 241.

⁷¹ Gleason A. Op. cit. P. 172.

⁷² Woehrlin W. Chernyshevsky: A Man and a Journalist. N.Y., 1971.

⁷³ Crankshaw E. The Shadow of the Winter Palace: The Drift to Revolution. 1905-1917. L., 1976. P. 177.

⁷⁴ Anderson T. Russian Political Thought: An Introduction. N.Y., 1967. P. 250; Gleason A. Op. cit. P. 113.

⁷⁵ См.: Линков Я.И. Революционная борьба А.И. Герцена и Н.П. Огарева и тайное общество «Земля и воля» 1860-х годов. М., 1964; Нечкина М.В. «Земля и воля» 1860-х годов: По следственным материалам//История СССР. 1957. № 1. С. 105-134, и др.

⁷⁶ Florinsky M. Russia: A History and Interpretation. Vol. 2. N.Y., 1953. P. 1074.

⁷⁷ Ulam A. Op. cit. P. 104.

⁷⁸ Ibid. P. 9-10, 138.

⁷⁹ Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. P. 45.

⁸⁰ Gleason A. Op. cit. P. 310.

⁸¹ Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia. P. 65.

⁸² Broido V. Op. cit. P. 43.

⁸³ Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. P. 91.

⁸⁴ Левин Ш.М. очерки по истории русской общественной мысли: Вторая половина XIX – начало XX в. Л., 1974. С. 29–30.

⁸⁵ Pares B. Russia: Between Reform and Revolution. N.Y., 1962. P. 181.

⁸⁶ Crankshaw E. Op. cit. P. 177.

⁸⁷ Литературное наследство. Т. 87: Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1880-х годов. М., 1977. С. 414.

⁸⁸ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 403.

⁸⁹ Там же. Т. 16. С. 216.

⁹⁰ Там же. Т. 20. С. 168.

⁹¹ Там же. С. 179.

⁹² Там же. Т. 25. С. 94.

⁹³ Venturi F. Op. cit. P. 35.

⁹⁴ Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism: 1812–1855. Cambr. (Mass.), 1961. P. 415.

⁹⁵ Utechin S. Russian Political Thought. London, 1963. P. 242.

⁹⁶ Gleason A. Op. cit. P. 52–53.

⁹⁷ Szamuely T. Russian Tradition P. 197.

⁹⁸ Hingley R. Russian Writers and Society. 1825–1904. L., 1967. P. 242.

⁹⁹ Malia M. Op. cit. P. 103.

¹⁰⁰ Ulam A. Op. cit. P. 35.

¹⁰¹ Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. Cambridge, 1979. P. 29.

Глава 4 (с. 154–191)

¹ См.: Карпачев М.Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979. С. 3–4, 6–7.

² Лесинский сборник XIX. С. 237.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 176.

⁴ Pipes R. Russian Marxism and its Populist Background//The Russian Review. Vol. 19. 1960. N 4. P. 319.

⁵ Berlin I. Russian Populism//Encounter. Vol. 15. 1960. N 1. P. 13.

⁶ Hardy D. Peter Tkachev: The Critic as Jacobin. Seattle; L., 1977.

⁷ Rogger H. Russia in the Age of Modernization. 1881–1917. L., 1983. P. 135.

⁸ Fishman G. Peter Nikitich Tkachev Tutor of Bolshevism. 1844–1886//History today. Vol. 15. 1965. N 2. P. 118.

⁹ Billington J. The Icon and the Axe: An Interpretation

tive History of Russian Culture. N.Y., 1966. P. 365, 745.

¹⁰ Ibid. P. 45.

¹¹ Gross F. The Seizure of Political Power in a Century of Revolutions. N.Y., 1958. P. 57.

¹² Yarmolinsky A. Road to Revolution. L., 1957. P. 173.

¹³ Russian Philosophy. Vol. 11. 1969. P. 111.

¹⁴ Venturi F. Roots of Revolution. N.Y., 1960. P. 35.

¹⁵ Wren M. Western Impact on Russia. N.Y., 1976. P. 197.

¹⁶ Karpovich M. Imperial Russia. 1801-1917. N.Y., 1932. P. 47.

¹⁷ Gerschenkron A. Franco Venturi on Russian Populism // The American Historical Review. Vol. 78. 1973. P. 973.

¹⁸ Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. Cambr. (Mass.), 1961. P. 104-105.

¹⁹ Ibid. P. 109-110.

²⁰ Lampert E. Sons against Fathers. Oxford, 1965. P. 50-54.

²¹ Meijer J. Knowledge and Revolution: The Russian Colony in Zuerich. Assen, 1955. P. 3.

²² Anderson T. Russian Political Thought. N.Y., 1967. P. 271.

²³ Offord D. The Russian Revolutionary Movement in the 1880's. Cambr., 1986. P. 2.

²⁴ Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia: The Quest of a General Science of Society. 1861-1917. Chicago, 1976. P. 33.

²⁵ Billington J. The Icon and the Axe. P. 393.

²⁶ Berlin I. Russian Populism//Encounter. Vol. 15. 1960. N. 1. P. 20.

²⁷ Wortman R. The Crisis of Russian Populism. L., 1967. P. IX.

²⁸ Ibid. P. IX-X, 10.

²⁹ Radkey O. The Agrarian Foes of Bolshevism. N.Y., 1958. P. 3.

³⁰ Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. N.Y., 1970. P. 101.

³¹ Harcave S. Russia: A History. Chicago, 1952. P. 219; Russian Philosophy. Vol. 2. P. IX-X.

³² Laue T. Why Lenin? Why Stalin? N.Y., 1964. P. 27.

³³ Billington J. The Icon and the Axe. P. 380.

³⁴ Bergman J. Vera Zasulich: A Biography. Stanford, 1983. P. VIII.

³⁵ Rowe E. Hamlet: A Window on Russia. N.Y., 1976. P. 175.

³⁶ Raeff M. Origins of the Russian Intelligentsia. N.Y., 1960. P. 166.

³⁷ Kindersley R. The First Russian Revisionists: A Study of Legal Marxism in Russia. Oxford, 1962. P. 6.

³⁸ *Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism.* P. 421, 445.

³⁹ *Овсянко-Куликовский Д.Н. Психология русской интелигенции//Интеллигентия в России.* СПб., 1910; *Тун А. История революционных движений в России.* Пг., 1920. С. 83.

⁴⁰ *Михайловский Н.К. Соч.* Т. 2. СПб., 1896. С. 648.

⁴¹ *Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.* С. 48.

⁴² *Козьмин Б.П. От «девятнадцатого февраля» к «первому марта».* М., 1933. С. 144.

⁴³ Подробно см.: *Крамник В.В. К вопросу о психологическом аспекте истории политических движений//История и психология.* М., 1971. С. 218.

⁴⁴ *The Slavic Review.* Vol. 26. 1967. N 3. P. 484.

⁴⁵ *Riasanovsky N. A History of Russia.* N.Y., 1969. P. 424.

⁴⁶ *Berlin I. The Populist Moral Condemnation of Russia's Political and Social Systems—Imperial Russia after 1861: Peaceful Modernization of Revolution?//* Ed. by A. Adams. Boston, 1965. P. 6; *Barghoorn F. The Russian Radicals of the 1860's and the Problem of the Industrial Proletariat//The Slavonic and East European Review.* Vol. 21. 1943. March. P. 57-59.

⁴⁷ *Schwarz S. Populism and Early Russian Marxism on Ways of Economic Development of Russia (the 1880's and 1890's)//Continuity and Change in Russian and Soviet Thought.* Cambr. (Mass.), 1955. P. 43.

⁴⁸ *Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20.* С. 165.

⁴⁹ *Итенберг Б.С. Народничество//Советская историческая энциклопедия.* Т. 9. М., 1966. Стб. 922.

⁵⁰ *Леснинский сборник XIX.* С. 237.

⁵¹ *Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16.* С. 213.

⁵² *Szamuely T. The Russian Tradition.* P. 179.

⁵³ *Berlin I. Russian Thought and the Slavophile Controversy//The Slavonic and East European Review.* Vol. 59. 1981. N 4. P. 573.

⁵⁴ *Яковенко Б. Очерки русской философии.* Берлин, 1922. С. 5.

⁵⁵ *Yarmolinsky A. Road to Revolution.* P. 59.

⁵⁶ *Byrnes R. Russia and the West: The Views of Pobedonostsev//Journal of Modern History.* Vol. 40. 1968. N 2. P. 237.

⁵⁷ *Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism.* P. 9.

⁵⁸ *Kelly A. Mikhail Bakunin.* Oxford, 1982. P. 6.

⁵⁹ *The Peasant in Nineteenth Century Russia/Ed. by A. Vucinich.* Stanford, 1968. P. XV.

⁶⁰ *Pipes R. Op. cit.* P. 319-320.

⁶¹ *Pogers J. The Russian Populist's Response to Darwin//The Slavic Review.* Vol. 22. 1963. N 3. P. 458.

⁶² Berlin I. Op. cit. P. 15.

⁶³ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VIII. С.138; Т. XII. С. 111.

⁶⁴ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. V. С. 362.

⁶⁵ Бакунин М.А. Государственность и анархия: Прибавление «А». Цюрих, 1873. С. 10.

⁶⁶ Революционное народничество 70-х годов XIX в.: Сб. док. и матер. Т. 1. М., 1964. С. 128-129.

⁶⁷ Революционная журналистика сорока-семидесятых годов. С. 152.

⁶⁸ См.: Ленин В.И. Тетради по аграрному вопросу. 1900-1916. М., 1969. С. 21.

⁶⁹ См.: Мейлах Б. Ленин и проблемы русской литературы. Л., 1970. С. 295.

⁷⁰ Овсянко-Куликовский Д.Н. Указ. соч. С. 211.

⁷¹ Wallace D.M. Russia. Vol. 2. P. 292-293.

⁷² Woehrlin W. Chernyshevsky. P. 7.

⁷³ Andrew J. Russian Writers and Society in the Second Half of the Nineteenth Century. L. 1982. P. 194.

⁷⁴ История философии в СССР. Т. 3. М., 1968. С. 247.

⁷⁵ Venturi F. Op. cit. P. 429.

⁷⁶ Walicki A. A History of Russian Thought. Stanford, 1979. P. XIV.

⁷⁷ Szamuely T. Op. cit. P. 170.

⁷⁸ Laue T. The Fate of Capitalism in Russia: The Narodnik Version//The American Slavic and East European Review. Vol. 13. 1954. N 1. P. 11.

⁷⁹ Shapiro L. Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth Century Political Thought. New Haven; L. 1967. P. 68.

⁸⁰ Lawrin J. Populists and Slavophiles//The Russian Review. Vol. 21. 1962. N 4. P. 308.

⁸¹ Riasanovsky N. Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles. N.Y., 1952. P. 189-190.

⁸² Toker R. The Image of Dual Russia//The Transformation of Russian Society. P. 594.

⁸³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 422.

⁸⁴ См.: Смирнова З.В. Социальная философия А.И. Герцена. М., 1973. С. 218.

⁸⁵ См. об этом: Дмитриев С.С. Подход должен быть конкретно-исторический//Вопросы литературы. 1969. № 12.

⁸⁶ Starr F. August von Haxthausen and Russia//The Slavonic and East European Review. Vol. 46. 1968. N 107. P. 242; Blum J. Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. P. 509.

⁸⁷ Venturi F. Op. cit. P. 20, 22.

⁸⁸ Radkey O. The Agrarian Foci of Bolshevism. New York, 1958. P. 4.

⁸⁹ Yarmolinsky A. Op. cit. P. 97, 146, 155, 173.

⁹⁰ Ellison H. History of Russia. New York, 1965. P. 204.

⁹¹ Utechin S. Op. cit. P. 128-129.

⁹² Kimball A. The Russian Past and Socialist Future in the Thought of Petr Lavrov//The Slavic Review. 1971. Vol. 30. N 1. P. 28.

⁹³ Walker T. The Morality of Revolution in Petr Lavrovich Lavrov//The Slavonic and East European Review. 1962. Vol. 40. N 96. P. 196.

⁹⁴ Anderson T. Op. cit. P. 252.

⁹⁵ Лавров П.Л. Народники-пропагандисты. 1873-1878. Л., 1925. С. 75.

⁹⁶ Sapir B. Unknown Chapters in the History of «Vpered». P. 52.

⁹⁷ Meier J. Knowledge and Revolution. P. 161.

⁹⁸ Masaryk T. The Spirit of Russia. Vol. 1. P. 469-470.

⁹⁹ Carr E. Michael Bakunin. New York, 1961. P. 181-188.

¹⁰⁰ Hardy D. Consciousness and Spontaneity: The Peasant Revolution seen by Tkachev, Lavrov and Bakunin//Canadian Slavic Studies. 1970. Vol. 4. N 4. P. 719.

¹⁰¹ Подробнее см.: Джангириан В.Г. Критика англо-американской историографии М.А. Бакунина и бакунизма. М., 1978. С. 10.

¹⁰² Kelly A. Mikhail Bakunin: A Study of the Psychology and Politics of Utopianism. Oxford, 1982. P. 3-4.

¹⁰³ Clarkson J.A. History of Russia from the Ninth Century. P. 377-378.

¹⁰⁴ Carr E. Op. cit. P. 455.

¹⁰⁵ Фроленко М.Ф. Собр. соч. Т. 1. М., 1932. С. 176.

¹⁰⁶ Коллинский Н.Ю., Твардовская В.А. Бакунин в русском и международном освободительном движении//Вопросы истории. 1964. № 10. С. 83.

¹⁰⁷ Venturi F. Op. cit. P. 413-416.

¹⁰⁸ Dan Th. The Origin of Bolshevism. P. 87-89, 146.

¹⁰⁹ Weeks A. The First Bolshevik: A Political Biography of Peter Tkachev. New York, 1968. P. 76-77.

¹¹⁰ Anderson T. Russian Political Thought. New York, 1967. P. 255-256.

¹¹¹ Hardy D. Peter Tkachev: The Critic as Jacobin. Seattle; London, 1977. P. 217.

¹¹² Baron S. Plekhanov: The Father of Russian Marxism. Stanford, 1963. P. 14.

¹¹³ Hardy D. Op. cit. P. 42, 57, 135.

¹¹⁴ Yarmolinsky A. Op. cit. P. 185.

¹¹⁵ Halliday E.M. Russia in Revolution. London, 1967. P. 32-33; Crankshaw E. Op. cit. P. 258-259; Billington J. The Icon and the Axe. P. 397.

¹¹⁶ Maynard J. Op. cit. P. 226; Haimson L. The Parties and the State: The Evolution of Political Attitude//The Transformation of Russian Society. Harvard U.P., 1960. P. 117.

¹¹⁷ См.: Каракин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Нечасвщина и ее со-

временные буржуазные «исследователи»//История СССР. 1960. № 5.

¹¹⁸ Pomper Ph. Sergei Nechaev. New Jersey, 1979. P. 216–220.

¹¹⁹ Prawdin M. The Unmentionable Nechaev: A Key to Bolshevism. L., 1961.

¹²⁰ Pomper Ph. Nechaev, Lenin and Stalin: The Psychology of Leadership//Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1979. N 26. P. 11–30.

¹²¹ Kelly A. Op. cit. P. 285.

¹²² Joll J. The Anarchists. L., 1964. P. 96; Pomper Ph. Sergei Nechaev. P. 93–94.

¹²³ Lampert E. Studies in Rebellion. P. 154.

¹²⁴ Hardy D. Peter Tkachev. P. 153–154.

¹²⁵ Чарушин Н.А. О далеком прошлом. М., 1973. С. 100.

¹²⁶ См.: Володин А.И., Калякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев? М., 1976. С. 272–274.

¹²⁷ Miller M. Ideological Conflicts in Russian Populism: The Revolutionary Manifestoes of the Chaykovsky Circle. 1869–1874//The Slavic Review. Vol. 29. 1970. N 1. P. 1.

¹²⁸ Miller M. Kropotkin. Chicago; L., 1976. P. 87.

¹²⁹ Knowles A.V. The Book Affair of the Chaykovsky Circle//The Slavonic and East European Review. Vol. LI. 1973. N 125. P. 554–555.

¹³⁰ Venturi F. Op. cit. P. 471.

¹³¹ См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 272.

¹³² Shapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. N.Y., 1960. P. 5.

¹³³ Berlin I. Russian Populism// Encounter. Paris. Vol. 15. 1960. N 1. P. 16.

¹³⁴ Pomper Ph. Russian Revolutionary Intelligentsia. P. 122.

¹³⁵ McKenney P. From City to Peasantry: The Beginning of the Russian Movement «To the People»//The Slavic Review. Vol. 38. 1979. N 4. P. 629–632; Venturi F. Op. cit. P. 514; Otto R. A Note on the Speech of Peter Alekseev//The Slavic Review. Vol. 38. 1979. N 4.

¹³⁶ Ulam A. Op. cit. P. 249.

¹³⁷ Ibid. P. 251.

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 135.

¹⁴⁰ Borke A. Violence and Terror in Russian Revolutionary Populism: The Narodnaya Volya. 1879–83//Social Protest, Violence and Terror in Nineteenth and Twentieth Century Europe/Ed. by W. Mommsen and G. Hirschfeld. London, 1982. P. 49, 55.

¹⁴¹ Плимак Е.Г., Хорос В.Г. «Народная воля»: История и современность//Вопросы философии. 1981. № 5.

¹⁴² Billington J. The Icon and the Axe. P. 397–400.

¹⁴³ Пайес Р. Россия при старом режиме. С. 399.

¹⁴⁴ Radkey O. Op. cit. P. 4.

¹⁴⁵ Florinsky M. Russia: A History and Interpretation. Vol. 2. P. 1084.

¹⁴⁶ Ulam A. Op. cit. P. 277.

¹⁴⁷ Ibid. P. 335, 347.

¹⁴⁸ Pomper Ph. Nечаев and Tsaricide: The Conspiracy within the Conspiracy//The Russian Review. Vol. 33. 1974. N 2. P. 137.

¹⁴⁹ Good J. America and the Russian Revolutionary Movement, 1888-1905//The Russian Review. Vol. 41. 1982. N 3. P. 276-278.

¹⁵⁰ Walsh W. Russia and the Soviet Union. N.Y., 1958. P. 123.

¹⁵¹ Anderson T. Op. cit. P. 263.

¹⁵² Pares B. A History of Russia. P. 383.

¹⁵³ Randall F. Chernyshevsky. P. 139.

¹⁵⁴ Вишневский С. Внимание: Пайпс! Международные заметки//«Правда». 1981. 18 февр.

¹⁵⁵ Laqueur W. Terrorism. L., 1977. P. 33-34.

¹⁵⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 135.

¹⁵⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 158.

¹⁵⁸ Там же. Т. 35. С. 147-148.

¹⁵⁹ Литература партии «Народная воля». М., 1930. С. 127.

¹⁶⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 365.

¹⁶¹ Там же. Т. 2. С. 459.

¹⁶² См.: Марушкин Б.И., Йоффе Г.З., Романовский Н.В. Три революции в России и буржуазная историография. М., 1977; Петров А.П. Критика фальсификации аграрно-крестьянского вопроса в трех русских революциях. М., 1977; Салов В.И. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977, и др.

¹⁶³ Naimark N. Terrorists and Social Democrats: The Russian Revolutionary Movement under Alexander III. Cambr. (Mass.), 1983. P. 1-2.

¹⁶⁴ См.: Карпачев М.Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. С. 153-182.

¹⁶⁵ См.: Вандалковская М.Г., Колесниченко Д.А. Дискуссия о внутренней периодизации разночинского этапа русского революционного движения//История СССР. 1966. № 4.

Глава 5 (с. 192-229)

¹ Fischer G. Russian Liberalism: From Gentry to Intelligentsia. Cambr. (Mass.), 1958. P. VII.

² Пайнс Р. Россия при старом режиме. Нью-Йорк, 1974. С. 355-357.

³ Walkin J. The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia. L., 1963. P. 105.

⁴ Crankshaw E. The Shadow of the Winter Palace: The Drift to Revolution. 1905–1917. L., 1976. P. 253.

⁵ Field D. Kavelin and Russian Liberalism//The Slavic Review. Vol. 32. 1973. N 1. P. 59.

⁶ Treadgold D. The Constitutional Democrats and the Russian Liberal Tradition//The American Slavic and East European Review. Vol. 10. 1951. N 2. P. 85.

⁷ Lampert E. Sons against Fathers: Studies in Russian Radicalism and Revolution. L., 1965. P. 73–74.

⁸ Field D. Op. cit. P. 60.

⁹ Fischer G. Op. cit. P. VIII.

¹⁰ Anderson Th. Russian Political Thought. N.Y., 1967. P. 272–273.

¹¹ Balmuth D. Liberals and Radicals in the Era of Reforms//Canadien Slavic Studies. Vol. 3. 1969. P. 466–467.

¹² Зырянов П.Н., Шелохов В.В. Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976. С. 126.

¹³ Emmons T. The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambr. (Mass.), 1967. P. 381.

¹⁴ Balmuth D. Op. cit. P. 415–416.

¹⁵ Emmons T. Op. cit. P. 204.

¹⁶ Fischer G. Op. cit. P. 6–7.

¹⁷ Hamburg G. The Russian Nobility on the Eve of the 1905 Revolution//The Russian Review. Vol. 38. 1979. P. 324–325.

¹⁸ Hardy D. Peter Tkachev: The Critic as Jacobin. Seattle; L., 1977. P. 14.

¹⁹ Emmons T. Op. cit. P. 420.

²⁰ См.: Корнилов А.А. Общественное движение при Александре II (1855–1881): Исторические очерки. М., 1909. С. 19–22.

²¹ Balmuth D. Op. cit. P. 418–419.

²² Field D. Op. cit. P. 77–78.

²³ Pereira N. The Thought and Teachings of N.G. Chernyshevskii. P. 62.

²⁴ Haimson L. The Parties and the State: The Evolution of Political Attitudes//The Transformation of Russian Society. Harvard U.P., 1960. P. 119.

²⁵ Fischer G. Op. cit. P. 27.

²⁶ См.: Революционная ситуация в России в середине XIX века. М., 1978. С. 363.

²⁷ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949. С. 246.

²⁸ См.: Орлов В.С. Отмена крепостного права в Смоленской губернии. Смоленск, 1947. С. 13.

²⁹ См.: Корелин А.П. Дворянство в преформенной России. 1861–1904 гг. М., 1979. С. 237.

³⁰ Сладкович Н.Г. Оппозиционное дворянство в годы революционной ситуации//Революционная ситуация в России в

1859—1861 гг. М., 1962. С. 65.

³¹ Шацилло К.Ф. Русский либерализм на рубеже двух веков//В.И. Ленин о социальной структуре и политическом строе капиталистической России. М., 1970. С. 170.

³² См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 134.

³³ Там же. Т. 5. С. 26.

³⁴ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 101.

³⁵ Литературное наследство. Т. 87. С. 416.

³⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 174—175.

³⁷ Морозов Н.А. Повести моей жизни. Т. 2. М., 1965. С. 375.

³⁸ См.: Богучарский В.Я. Из истории политической борьбы 70—80-х годов XIX в.: Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912. С. 432—433.

³⁹ См.: Петрушевич И.И. Из записок общественного деятеля. Прага, 1934. С. 101—102.

⁴⁰ Szamuely T. The Russian Tradition. P. 157.

⁴¹ Seton-Watson H. The Russian Empire: 1801—1917. Oxford, 1967. P. 733.

⁴² Riasanovsky N. A History of Russia. N.Y., 1977. P. 355.

⁴³ Meijer J. Knowledge and Revolution. P. 8.

⁴⁴ Karpovich M. Imperial Russia: 1801—1917. N.Y., 1932. P. 50.

⁴⁵ Dan Th. The Origins of Bolshevism. P. 25—26.

⁴⁶ Chamberlin W. The Short Life of Russian Liberalism // The Russian Review. Vol. 26. 1967. N 2. P. 144.

⁴⁷ Hare R. Pioneers of Russian Social Thought. P. VI.

⁴⁸ Billington J. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. N.Y., 1966. P. 401.

⁴⁹ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 30.

⁵⁰ См.: Вандалковская М.Г. История изучения русского революционного движения середины XIX века. 1890—1917. М., 1982. С. 114.

⁵¹ См. предисловие И. Берлина к кн.: Raeff M. Russian Intellectual History. N.Y., 1966. P. 9—10.

⁵² Pares B. Russia: Between Reform and Revolution. N.Y., 1962. P. IX.

⁵³ Kucharzhevsky J. The Origins of Modern Russia. N.Y., 1948. P. XV.

⁵⁴ Crankshaw E. The Shadow of the Winter Palace. P. 37—40.

⁵⁵ Lang D. Alexander Radischev: The First Russian Radical. 1749—1802. L., 1977. P. 13.

⁵⁶ Maynard J. Russia in Flux. N.Y., 1948. P. 27.

⁵⁷ См.: Белоконский И.П. Земство и конституция. М., 1910. С. 15.

⁵⁸ Laue Th. The Chances for Liberal Constitutionalism // The Slavic Review. Vol. 24. 1965. N 1.

⁵⁹ Russia under the Last Tsar / Ed. by Th. Stavrou. Minneapolis, 1963. P. 6-7.

⁶⁰ Mendel A. On Interpreting the Fate of Imperial Russia//Russia under the Last Tsar. Minneapolis, 1969. P. 41.

⁶¹ См.: Марушкин Б.И., Иоффе Г.З., Романовский Н.В. Три революции в России и буржуазная историография. М., 1977. С. 20.

⁶² Anderson T. Russian Political Thought. P. 248-249, 275.

⁶³ Ibid. P. 291-292.

⁶⁴ Raess M. Russia after the Emancipation: Views of a Gentleman-Farmer (A. Koshelev). The Slavonic and East European Review. Vol. 29. 1951. N 73. P. 483-484.

⁶⁵ См.: Голоса из России. Кн. I. Лондон, 1956. С. 20-22.

⁶⁶ Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1983. С. 372, 376.

⁶⁷ Шацилло К.Ф. Русский либерализм на рубеже двух веков. С. 167.

⁶⁸ Революционное народничество 70-х годов XIX в. Т. 2. С. 80.

⁶⁹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 48.

⁷⁰ Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 41.

⁷¹ Там же. С. 128.

⁷² См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 378.

⁷³ См.: Богучарский В.Я. Указ. соч. С. 213.

⁷⁴ Голоса из России. Кн. I. Лондон, 1956. С. 19.

⁷⁵ Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х гг. С. 377.

⁷⁶ Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 107.

⁷⁷ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 117.

⁷⁸ Там же. С. 118.

⁷⁹ Там же. Т. 5. С. 58.

⁸⁰ См.: Пирумова Н.М. Земское либеральное движение в России. М., 1977. С. 109.

⁸¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 372.

⁸² Литературное наследство. Т. 87: Из истории русской литературы и общественной мысли 1860-1880-х годов. М., 1977. С. 366.

⁸³ Плеханов Г.В. Соч. Т. XXIV. С. 134.

⁸⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 374.

⁸⁵ Manning R. The Zemstvo and Politics//The Zemstvo in Russia: An Experiment in Local Self-government/Ed. by T. Emmons and A. Vucinich. Cambr. (Mass.), 1982. P. 133.

⁸⁶ Atkinson D. The Zemstvo and the Peasantry Logical//The Zemstvo in Russia. P. 80.

⁸⁷ Galai S. The Liberation Movement in Russia. 1900-1905. Cambr. (Mass.), 1975. P. 7.

⁸⁸ Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 107-108.

⁸⁹ См.: Корелин А.П. Дворянство в портфельной России. С. 209.

⁹⁰ См.: Иорданский Н. Земский либерализм. СПб., 1906.
 С. 9–10.

⁹¹ См.: Гармиза В.В. Подготовка земской реформы. М., 1957. С. 23.

⁹² Чернуха В.Г. В.И. Ленин о земстве//В.И. Ленин и проблемы истории. М., 1970. С.291.

⁹³ Мещерский В.П. Мои воспоминания. Ч.1. СПб., 1897. С. 292.

⁹⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 33.

⁹⁵ Galai S. Op. cit. P. 18–19.

⁹⁶ Walkin J. The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia. P. 175.

⁹⁷ Ibid. P. 174.

⁹⁸ Ibid. P. 153.

⁹⁹ Florinsky M. Russia: A History and an Interpretation. Vol. 2. P. 896, 899–900.

¹⁰⁰ Walkin J. Op. cit. P. 162.

¹⁰¹ Pares B. A History of Russia. L., 1926. P. 362.

¹⁰² Alston P. Education and the State in Tsarist Russia. Stanford, 1969. P. 60.

¹⁰³ Шипов Д. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С. 28.

¹⁰⁴ Белоконский И.П. Земство и конституция. С. 32, 38.

¹⁰⁵ См.: Захарова Л.Г. Земская контреформа 1890 г. М., 1968. С. 30.

¹⁰⁶ Пиরумова Н.М. Указ. соч. С. 71.

¹⁰⁷ Там же. С.74.

¹⁰⁸ Черменский Е.Д. Земско-либеральное движение накануне революции 1905–1907 гг.//История СССР. 1965. № 5. С.41.

¹⁰⁹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XVIII. М., 1959. С. 52.

¹¹⁰ Россия в революционной ситуации на рубеже 1870–1880-х гг. С. 377.

¹¹¹ Manning R. Op. cit. P. 139.

¹¹² Ibid. P. 144–146.

¹¹³ Ibid. P. 142.

¹¹⁴ Emmons T. The Russian Landed Gentry and Politics// The Russian Review. 1974. Vol. 33. P. 277.

¹¹⁵ Atkinson D. Op. cit. P. 87.

¹¹⁶ См.: Захарова Л.Г. Указ. соч. С. 23.

¹¹⁷ Lampert E. Sons against Fathers. P. 81.

¹¹⁸ Fallows Th. The Zemstvo and the Bureaucracy. 1890–1904//The Zemstvo in Russia. P. 215–216.

¹¹⁹ Белоконский И.П. Земство и конституция. С.38.

¹²⁰ Emmons T. The Zemstvo in Historical Perspective // The Zemstvo in Russia. P. 427.

¹²¹ Ibid. P. 440.

¹²² Karpovich M. Imperial Russia. P. 38.

¹²³ Pares B. Op. cit. P. 401–402.

¹²⁴ Galai S. Op. cit. P. 6.

125 *Fallows Th.* Op. cit. P. 178.

126 *Rosenberg W.* The *Zemstvo* in 1917 and Its Fate under Bolshevik Rule // *The Zemstvo in Russia*. P. 414.

127 *Ibid.* P. 414-415.

128 *Yaney G.* The Systematization of Russian Government: Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia. 1711-1905. Urbana, 1973. P.231-232.

129 *Emmons T.* Op. cit. P. 442.

130 *Atkinson T.* Op. cit. P. 125.

131 *McKenzie K.E.* *Zemstvo* organization and role within the administrative structure//*The Zemstvo in Russia*. P. 64-65.

132 См.: *Черменский Е.Д.* Указ. соч. С. 45.

133 Там же. С. 44.

134 См.: *Петров Ф.А.* Нелегальные общеземельские совещания и съезды конца 70-х - начала 80-х годов XIX века // *Вопросы истории*. 1974. № 4. С. 33.

135 *Белоконский И.П.* Указ. соч. С. 11.

136 См.: *Петров Ф.А.* Указ. соч. С. 43.

137 См.:*Захарова Л.Г.* Указ. соч. С. 41.

138 *Петрункевич И.И.* Ближайшие задачи земства // *Юбилейный земский сборник*. Пг., 1914. С. 434.

139 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 35.

140 Там же.

141 *Витте С.Ю.* Самодержавие и земство. СПб., 1908. С. 4.

142 См.: *Соболев Г.Л.* Октябрьская революция в американской историографии. 1917-1970-е годы. Л., 1979. С. 4.

143 *Pares B.* Russia: Between Reform and Revolution. P. 59.

144 *Karpovich M.* Imperial Russia. P. 49.

145 *Seton-Watson H.* The Decline of Imperial Russia. London; New York, 1952. P. 48.

146 *Seton-Watson H.* The Russian Empire: 1801-1917. Oxford, 1967. P. 426-429.

147 *Leontovich V.* Geschichte des Liberalismus in Rußland. Frankfurt am Main, 1957.

148 *Lincoln W.B.* The Circle of the Grand Duchess Yelena Pavlovna. 1847-1861 // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 48. 1970. N 2. P. 383-384.

149 *Lampert E.* Sons against Fathers. P. 76-79.

150 *Masaryk T.* The Spirit of Russia. Vol. 1. L., 1919. P. 427.

151 *Venturi F.* Roots of Revolution. P. 639.

152 *Crankshaw E.* The Shadow of the Winter Palace. P. 195.

153 Essays on Russian Liberalism / Ed. by Ch. Timberlake. Columbia, 1972. P. 6.

154 *Fischer G.* Op. cit. P. 119.

155 *Ibid.* P. 4, 14.

156 *Walkin J.* Op. cit. P. 157.

¹⁵⁷ Fischer J. Op. cit. P. 14.

¹⁵⁸ Galai S. Op. cit. P. 10-12.

¹⁵⁹ Fischer G. Op. cit. P. 16.

¹⁶⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 40.

¹⁶¹ Там же. Т. 5. С. 39.

¹⁶² Там же. С. 36.

¹⁶³ Там же. Т. 20. С. 167.

¹⁶⁴ Будаев Д.И. Из истории либерального движения в период революционной ситуации 1859-1861 годов в провинции // Общественное движение в центральных губерниях России во 2-й половине XIX - начале XX в. Рязань, 1981. С. 25.

¹⁶⁵ См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 174.

¹⁶⁶ См.: Большакова Н.А. Российский либерализм начала XX века. М., 1981. С. 4.

¹⁶⁷ Вандалковская М.Г. Указ. соч. С. 63.

¹⁶⁸ Essays on Russian Liberalism. Р. 7.

Заключение (с. 230-233)

¹ Berlin I. Russian Thought and Slavophile Controversy // The Slavonic and East European Review. Vol. 59. 1981. N 4. P. 572.

² Crankshaw E. The Shadow of the Winter Palace. L., 1976. P. 152.

³ См.: Соловьев В.И. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977. С. 4-5.

⁴ См.: Сладкович Н.Г. Очерки истории общественной мысли России в конце 50-х - начале 60-х гг. XIX в. Л., 1962. С. 3.

⁵ Zelnik R. Labor and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St. Petersburg, 1855-1870. Stanford, 1971. P. 3-4.

⁶ История СССР. 1964. № 5. С. 192.

Содержание

Введение	3
Глава 1. История изучения российского общественного движения в Англии и США	15
1. Зарождение историографических концепций в литературе конца XIX – начала XX в.	—
2. Общественное движение в капиталистической России в английской и американской литературе с 1917 г. до конца 1940-х годов	45
3. Современная англо-американская литература. Ее основные направления и методология исследований	51
Глава 2. Англо-американская историография о социальных истоках и причинах общественного движения в постформенной России	64
1. Буржуазные концепции формирования и развития русской интелигенции	—
2. О причинах оппозиционности российской интелигенции постформенного времени	80
3. Оценка конкретных причин подъема общественного движения в 60–80-е годы XIX в.	98
Глава 3. Англо-американская буржуазная историография о русской революционной демократии 1860-х годов	109
1. Английские и американские историки об особенностях идеологической и практической деятельности русских революционеров 1860-х годов	—
2. А.И. Герцен в англо-американской историографии	129
3. Интерпретация исторической роли Н.Г. Чернышевского в англо-американской буржуазной историографии	138

Глава 4.	Революционное народничество 1870-х – начала 1880-х годов в освещении англо-американской историографии	154
1.	Идеология революционного народничества в англо-американской историографии	155
2.	Освещение практической деятельности революционных народников 1870-х – начала 1880-х годов	179
Глава 5.	Российский либерализм портсформенной эпохи в освещении английской и американской историографии	192
1.	Об особенностях и платформе российского либерализма 1860–1880-х годов	–
2.	Англо-американская историография о причинах слабости российского либерализма 60–80-х годов XIX в.	202
3.	Земство и земское движение в англо-американской исторической литературе	212
4.	Оценка исторической роли российского либерализма 1860–1880-х годов в англо-американской историографии	223
Заключение	230	
Источники и литература	234	

Карпачев М.Д.
К26 Истоки российской революции: легенды и реальность.— М.: Мысль, 1990.— 269, [1] с.
ISBN 5-244-00408-5

В работе дан обстоятельный анализ английской и американской литературы о А.И. Герцене, Н.Г. Чернышевском, народниках и народовольцах, вскрывается смысл буржуазных трактовок российского либерализма. Книга отличает комплексный подход к объекту изучения: основные направления буржуазной историографии исследуются в их развитии с 80-х годов XIX в. до наших дней.

Книга рассчитана на всех изучающих историю СССР.

К 0503020000-090
004 (01)-91

ББК 63

Научная

Михаил Дмитриевич Карпачев

ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ:
ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Редактор Т. В. Мальчикова
Оформление художника А. Я. Толмачева
Художественный редактор И. А. Дутов
Технический редактор О. А. Барабанова
Корректор Б. Г. Прилипко

ИБ № 3155

Сдано в набор 10.05.90. Подписано в печать 25.01.91. Формат 84 × 108 $\frac{1}{32}$. Бумага газетная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печатных листов 14,28. Усл. кр.-отт. 14,28. Учено-издательских листов 19,54. Тираж 20 000 экз. Заказ № 313. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Московская типография № 11
Государственного комитета СССР по печати
113105. Москва, Нагатинская, 1.

THE
LITERARY
MAGAZINE
AND
JOURNAL
OF
SCIENCE,
ART,
LITERATURE,
AND
POLITICS.
EDITED
BY
JOHN
LAMBERT,
AND
PUBLISHED
AT
LONDON,
BY
T. DODS,
1800.
Price
12s.
Vol. I.